

Джордж Оруэлл

George Orwell

1984
Скотный двор
Эссе

1984. Скотный двор. Эссе

Джордж Оруэлл

Аннотация
Джордж Оруэлл. 1984; Скотный двор; Эссе
1984. роман
  Часть первая
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    VIII
  Часть вторая
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
    VII
    VIII
    IX

Часть третья
I
II
III
IV
V
VI
Приложение
Основные принципы Новослова
Скотный двор
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
«Весь мир насилья мы разрушим до основанья...», или Несколько слов от переводчика
Эссе
Литература и тоталитаризм
Писатели и Левиафан
Политика против литературы: размышление

над «Путешествиями Гулливера»
Уэллс, Гитлер и Всемирное государство
Заметки о национализме
Позитивный национализм
Перенесенный национализм
Негативный национализм
Рецензия на книгу Юджина Лайонса «Командировка в утопию»
Рецензия на книгу Ф. Дж. Шида «Коммунизм и человек»
Рецензия на книгу Франца Боркенау «Тоталитарный враг»
Рецензия на книгу Уинстона Черчилля «Их самый славный час»

Аннотация

Роман «1984» – литературный приговор самому страшному опыту XX столетия, исследование технологии и психологии тоталитаризма со всеми его изощренными приемами, предназначенными подавить инакомыслие, перемолоть человеческую личность и превратить индивида в винтик государственного механизма. Это «генеральная репетиция» ада, его убедительный земной вариант, где «ВОЙНА – ЕСТЬ МИР. СВОБОДА – ЕСТЬ РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ – ЕСТЬ СИЛА». Повесть-притча «Скотный двор», рассказывающая об обитателях фермы, замкнутого мирка со своими заповедями и порядками, также разворачивается в политическую сатиру. Животные здесь перенимают самые отвратительные пороки людей, прежде всего – стремление к власти, а сама ферма становится символом беспощадного тоталитарного общества. В сборнике также представлены эссе разных лет – «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие, где

Оруэлл поднимает острейшие проблемы политической и культурной жизни, актуальные и по сей день.
 В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Джордж Оруэлл
1984; Скотный двор; Эссе

George Orwell
1984
ANIMAL FARM
ESSAYS

© Школа перевода В. Баканова, 2022
© Перевод. В. Голышев, 2019
© Перевод. И. Доронина, 2017
© Перевод. А. Зверев, наследники, 2017
© Перевод. С. Таск, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2022

1984
роман

Часть первая
I

Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.

В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромадное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас, в светлое время суток, электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная

язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромадное лицо. Изображение было из тех портретов, взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».

Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и раскрасневшееся лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бритья тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.

Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо

взирало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась надпись: «Большой Брат следит за тобой» — и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «ангсоц». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов…

За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае могли подключиться когда угодно. Приходилось жить… да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом… исходя из предположения,

что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.

Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды — его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он, Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые деревянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисадов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.

Здание министерства правды (миниправ на

новослове[1]) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высотки отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:

Война есть мир
Свобода есть рабство
Незнание есть сила

Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояло еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия

[1] Примечания: 1

Новослов — официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении.*(Примеч. авт.)*

решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.

Самое жуткое — министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.

Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь — будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.

По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон, — вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высовываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.

Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени

книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине захудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.

Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли из употребления — их даже

для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не карябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причинам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

Откинулся на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.

Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общать-

ся с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.

Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась. Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.

Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:

4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. На носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним малышом на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться, а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. И тут дивный кадр: детская рука летит вверх вверх вверх прямо в небо

наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для пролов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети нипочем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что пролы говорят типичная реакция пролов они никогда…

Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.

Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.

Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и

тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.

Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и гаечным ключом: скорее всего занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил девушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и ярой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся

Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.

За нею следовал член Центра Партии по имени О'Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О'Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на брутальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О'Брайена с десяток раз. Его тянуло к О'Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил — точнее, надеялся, — что политические взгляды О'Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на

его лице проступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае О'Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался… да и как это сделать?

О'Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.

Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зубы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.

Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканья. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда,

занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминуток ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.

У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная бородка… — лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очочки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и блеющий голос был ему под стать. Как

обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы, — и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном блеянию Гольдштейна.

С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла

сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия или Востазия, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если

вообще отваживались заговорить об этом, так и называли — Книга. Кроме неясных слухов, мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.

На второй минуте ненависть вылилась в исступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их блеяние с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо О'Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздрагивала, словно он пытался устоять в полосе прибоя. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» — и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать… В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.

Самое ужасное в Двухминутке ненависти не то что приходится играть навязанную роль, а наоборот, то, что не играть ее невозможно. Уже через полминуты надобность в притворстве

отпадает сама собой. Присутствующих охватывает чудовищное упоение страхом и жаждой мести, желание убивать, пытать, лупить по головам кувалдой — словно через них пропустили электрический разряд, и они против своей воли обратились в оскаленных, визжащих психов. И эту ярость, чувство отвлеченное, ненаправленное, можно переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Внезапно ненависть Уинстона перекинулась с Гольдштейна на Большого Брата, на Партию и полицию помыслов: в такие моменты он чувствовал, что сердце его на стороне одинокого, осмеянного еретика на экране, единственного хранителя истины и здравомыслия в мире лжи. И все же в следующий миг он снова был заодно со всеми и верил всему, что говорили про Гольдштейна. В такие моменты тайная ненависть к Большому Брату обращалась в обожание, а фигура его, бесстрашного защитника, несокрушимого оплота, скалы на пути азиатских орд, возносилась ввысь. Гольдштейн же, несмотря на свою отверженность, беспомощность и сомнения в самом его существовании, представал гнусным чародеем, способным силой своего голоса погубить всю державу.

В иные моменты усилием воли удавалось переключить ненависть с одного объекта на другой. Резко, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон направил свою ненависть с лица на экране на сидевшую позади него темноволосую девушку. Перед мысленным взором замелькали яркие, дивные видения. Можно забить ее до смерти резиновой дубинкой, привязать голой к столбу и утыкать стрелами, как святого Себастьяна, совратить и перерезать горло на пике экстаза… Уинстон наконец понял, почему так ее ненавидит: потому что она юная, красивая и холодная, потому что он хочет с ней переспать, но из этого ничего не выйдет, потому что вокруг ее изящной, гибкой талии — словно созданной для объятий — алеет гнусный пояс, фанатичный символ целомудрия.

Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в блеяние, лицо — в овечью морду, затем плавно перетекло в исполинскую фигуру евразийского солдата с ревущим автоматом, который двигался навстречу зрителям, грозя прорваться сквозь экран. Первые ряды в ужасе отшатнулись, и тут раздался всеобщий вздох облегчения: сквозь фигуру врага постепенно проступило лицо Большого Брата: черноволосое,

с густыми усами, полное силы и таинственного спокойствия, такое огромное, что заняло почти весь экран. Голоса Большого Брата не было слышно. Скорее всего он сказал что-то ободрительное, вроде тех слов, которые произносят в пылу битвы: по отдельности их не разобрать, но боевой дух они поднимают. Затем лицо Большого Брата снова поблекло, и на экране появились три лозунга Партии, набранные жирным шрифтом:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Лицо Большого Брата зависло на экране, словно отпечаталось на сетчатке так ярко, что не могло исчезнуть сразу. Маленькая блондинка перевесилась через спинку стула перед собой, простерла руки к экрану и страстно воскликнула: «О, мой спаситель!» Затем закрыла лицо ладонями и зашептала молитву.

И тут все присутствующие начали ритмично скандировать «Бэ-Бэ! Бэ-Бэ!» — снова и снова, очень медленно, с большой паузой между первой и второй «бэ» — тяжелый, вибрирующий звук, на фоне которого чудился топот босых ног и бой тамтамов. Продолжалось это с полминуты. Такой

рефрен рождался сам собой в моменты наивысшего накала эмоций. Отчасти он был гимном мужеству и величию Большого Брата, но в значительной степени самогипнозом, нарочитым вхождением в транс с помощью ритмической кричалки. Уинстон похолодел от ужаса. В течение Двухминутки ненависти он и сам поддавался всеобщему безумию, но этот дикарский ритм всегда вгонял его в дрожь. Конечно же, он скандировал вместе со всеми. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что все, — реакция инстинктивная. И в этот миг случилось нечто важное… если только ему не померещилось.

Он поймал на себе взгляд О'Брайена. Тот уже поднялся, протер очки и широким жестом устраивал их на носу. На долю секунды, когда их глаза встретились, Уинстон понял: О'Брайен думает то же самое, что и он. Ошибиться невозможно: их разумы открылись друг другу и мысли хлынули потоком. «Я с вами, — говорили глаза О'Брайена. — Я знаю, что вы чувствуете. Я вижу ваше презрение, ненависть, отвращение. Но не бойтесь, я на вашей стороне!» Потом глаза О'Брайена погасли, и лицо стало таким же невозмутимым, как и у всех остальных.

Непонятно, показалось Уинстону или нет. Продолжения такие инциденты никогда не имели, зато помогали верить или хотя бы надеяться, что помимо него у Партии есть и другие враги. Возможно, слухи о подпольных заговорах — правда и Братство действительно существует! Впрочем, несмотря на бесчисленные аресты, признания и казни, не исключено, что Братство — просто миф. Иногда Уинстон в него верил, иногда нет. Доказательств не было никаких, лишь мимолетные проблески: обрывки чужих разговоров, каракули на стенах уборных, едва уловимый жест, похожий на условный сигнал, при встрече двух незнакомцев. Оставалось только гадать. Даже не взглянув на О'Брайена, Уинстон вернулся в свою кабинку. Закрепить их мимолетную связь он не рискнул, да и не представлял как. За секунду или две они обменялись двусмысленным взглядом, и все. Но для человека настолько одинокого и замкнутого, как он, даже это — целое событие.

Уинстон встрепенулся, сел прямо и рыгнул — джин подкатил к горлу.

Его взгляд упал на страницу. Пока он беспомощно размышлял, рука машинально продолжала писать. И почерк уже не был таким корявым и неуклюжим, как раньше. Перо самозабвенно

скользило по гладкой бумаге, выводя аккуратными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

— и еще раз, и еще, и так на полстраницы.

Уинстон против воли ощутил приступ паники. Глупость по сути: написать именно эти слова было ничуть не опаснее, чем взяться вести дневник, — но в тот миг его так и подмывало вырвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи.

Впрочем, этого он не сделал, потому как понимал: бесполезно. Без разницы, написал ли он: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» — или сумел сдержать себя. Без разницы, продолжит он вести дневник или нет. Полиция помыслов все равно до него доберется. Он уже совершил… и совершил бы, даже никогда не коснувшись пером бумаги… главное преступление, которое вбирало в себя все прочие.*Помыслокриминал*, так это называлось. Скрывать помыслокриминал вечно не выйдет. Какое-то время, даже несколько лет, может, и

повезет, но рано или поздно им просто суждено тебя взять.

И всегда ночью: аресты неизменно производились ночью. Внезапный толчок вырывает из сна, чья-то грубая лапа трясет за плечо, свет, бьющий прямо в глаза, кольцо суровых лиц вокруг кровати. В большинстве случаев не бывало ни суда, ни сообщения об аресте. Люди просто исчезали — всегда за время ночи. Имя убиралось из документов, сведения обо всем, тобой содеянном в жизни, вымарывались, сам факт твоего былого существования отрицался, и вскоре тебя забывали. Тебя отменяли, аннулировали: ты*испарялся*, так обычно говорили.

На мгновение Уинстона охватило нечто вроде истерии. Он принялся торопливо писать корявыми каракулями:

> *меня пристрелят мне плевать застрелят меня в затылок мне плевать долой большого брата они всегда стреляют в затылок мне плевать долой большого брата…*

Он откинулся на стуле, слегка устыдившись себя, и отложил перо. В следующий миг его будто током дернуло. Раздался стук в дверь.

Уже! Он сидел тихо, как мышка, отчаянно надеясь, что незваный гость уйдет, не дождавшись ответа. Увы, стук повторился. Хуже всего было тянуть время. Сердце стучало, как барабан, но лицо Уинстона не выражало ровным счетом ничего — сказывалась многолетняя привычка. Он встал и через силу двинулся к двери.

II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон вспомнил, что оставил дневник открытым на странице, сплошь исписанной фразой: «Долой Большого Брата», — причем буквами довольно крупными, чтоб и издалека разобрать. Ничего глупее нельзя было сделать. Однако даже паникуя, он не хотел марать красивую бумагу, захлопнув книгу с непросохшими чернилами.

Набрав в грудь воздуху, Уинстон открыл дверь. И тут же его окатила теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, затравленная женщина с редкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

— Вы все-таки дома, товарищ, — заныла она тоскливым, жалобным голосом. — Не заглянете к нам на минутку? Раковина на кухне засори-

лась…

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Вроде бы слово «миссис» осуждалось Партией — теперь всех следовало называть «товарищ», но к некоторым женщинам оно липло само собой. Ей было около тридцати, хотя на вид гораздо больше: такое чувство, что в морщинки на лице въелась пыль. Уинстон зашагал по коридору, проклиная про себя нескончаемые мелкие поломки. «Дворец Победы» построили когда-то в тридцатых, и он буквально разваливался на части. С потолка и стен сыпалась штукатурка, в мороз лопались трубы, стоило выпасть снегу, как текла крыша, вдобавок из-за постоянной экономии топили редко и вполсилы. С чем могли, жильцы справлялись сами, остальными ремонтными работами распоряжались какие-то сомнительные комитеты, которые по два года тянули с банальной заменой разбитого стекла.

— Понимаете, будь мой Том дома… — бормотала миссис Парсонс.

Соседская квартира была больше, чем у Уинстона, и выглядела так, словно в ней бушевал крупный дикий зверь. На полу валялся спортивный инвентарь: хоккейные клюшки, боксерские перчатки, рваный футбольный мяч, вывернутые

наизнанку трусы. На столе громоздились грязная посуда и растрепанные школьные тетрадки. Стены украшали красные знамена Юношеской лиги и Разведчиков, огромный плакат изображал Большого Брата во весь рост. Стоял обычный для всего дома варено-капустный аромат, сквозь который едко шибал в нос запах (он распознавался сразу, хотя и не очень понятно как) пота человека, кого сейчас рядом нет. В другой комнате кто-то выдувал на расческе, обернутой в клок туалетной бумаги, военный марш, пытаясь попасть в такт все еще льющейся с телеэкрана музыке.

— Дети… — молвила миссис Парсонс, с опаской покосившись на дверь.

У нее была привычка обрывать фразы, недоговорив. В кухонной раковине почти у краев плескалась зеленоватая жижа, вонявшая похуже вареной капусты. Уинстон опустился на колени и изучил угловой стык сливной трубы. Он терпеть не мог работать руками, он терпеть не мог нагибаться, потому что сразу начинал надсадно кашлять. Миссис Парсонс смотрела на него с мольбой.

— Конечно, будь Том дома, вмиг бы управился. Он обожает все чинить! Том у меня малый рукастый.

Парсонс работал, как и Уинстон, в министерстве правды. Шустрый толстяк, он ошарашивал всех своей глупостью, сгусток идиотского энтузиазма, он был из тех ретивых, безоговорочно преданных делу работяг, от которых стабильность Партии зависела чуть ли не больше, чем от полиции помыслов. Из Юношеской лиги его выпихнули в тридцать пять, а перед вступлением в Лигу он умудрился засидеться в Разведчиках на год дольше положенного возраста. В министерстве Парсонса держали на подчиненных должностях, где особого ума не требовалось, зато он стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и всех других комитетах, которые организовывали пешие походы, спонтанные демонстрации, кампании за экономию и прочие добровольные мероприятия. Попыхивая трубкой, он со сдержанной гордостью сообщал, что за последние четыре года не пропустил ни единого вечера в Доме культуры. Парсонса повсюду сопровождал одуряющий едкий запах пота, своего рода свидетельство напряженной общественной жизни, висел в воздухе, даже когда мужчина уходил.

— Гаечный ключ есть? — спросил Уинстон, возясь с гайкой на стыке.

— Гаечный? — растерянно повторила миссис

Парсонс. — Не знаю… Может, дети…

Громко топая и трубя в расчески, в гостиную ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон слил воду и с отвращением извлек забившие трубу волосы. Кое-как сполоснув руки холодной водой, он вышел из кухни.

— Руки вверх! — раздался дикий крик.

Из-за стола выскочил симпатичный, крепкий мальчуган лет девяти и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, на пару лет младше, подражая брату, вскинула палку. Дети были в форме Разведчиков: синие шорты, серые рубашки и красные галстуки. Уинстон послушно поднял руки над головой, но ему стало нехорошо: в окрике ребенка звучала такая злоба, что игрой тут и не пахло.

— Ты предатель! — орал мальчишка. — Помыслокриминал! Евразийский шпион! Я тебя застрелю, сотру в порошок, пошлю на соляные копи!

И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались

расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.

— Вот ведь расшумелись, — пробормотала женщина. — Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.

— Почему мы не пошли на казнь?! — проревел мальчик во все горло.

— Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! — скандировала его сестрица, пританцовывая.

Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попрощавшись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в

квартиру сына, сующего в карман рогатку.

— Гольдштейн! — рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.

В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавучей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины — сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату — для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против

иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об очередных мелких пронырах (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.

Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О'Брайен.

Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в кромешной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О'Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О'Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О'Брайен.

Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О'Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», — пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.

Телеэкран умолк. В спертом воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил:

— Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку…

Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: следом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался,

после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.

«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскатисто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.

На улице ветер судорожно трепал рваный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться *вечно?* Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте — голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек — отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели — от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.

Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромадной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Такую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого — ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого — в испарение. Лишь полиция

помыслов прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже невесть кем написанного словца на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и надо выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.

Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:

> *Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переиначить!*

Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось,

что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:

Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.

Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина — вроде той тощей блондинки или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.

Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато по крайней мере можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли,

Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.

III

Уинстону снилась мама.

Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятых годов.

А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы — и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они

неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг — и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине,*потому что* он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.

Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продолжают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память

о матери рвала ему сердце, потому как она гибла, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.

И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, стоит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

Через поле к нему шла темноволосая девуш-

ка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов — одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.

Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схватил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и, чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.

— Группа от тридцати до сорока! — пронзительно выкрикнул женский голос. — Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!

Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась моложавая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастерке и спортивных тапках.

— Руки согнули и потянулись! — командовала она. — Повторяйте за мной! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!..

Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Помнишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они

происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.

Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний — воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его сестренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение — на станцию метро, как он теперь догадывался.

Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскали себе место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон по-детски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается… Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.

Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить исто-

рию тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984-й), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.

Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь если Партия способна наложить свои лапы на прошлое

и заявить, что того или иного события *не было вовсе,* такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?

Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, — гласит лозунг Партии, — контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось никогда. То, что правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Контролем над реальностью» называлось это: *«двоемыслие»* на новослове.

— Вольно! — гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать,

сознавать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия — столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.

Инструктор вновь поставила их по стойке смирно.

— А теперь посмотрим, кто из нас может дотянуться до кончиков пальцев на ногах! — с живостью воскликнула она. — Колени не сгибаем, товарищи! Раз-два! Раз-два!..

Уинстон терпеть не мог это упражнение, от него боль пронзала от пяток до ягодиц и зачастую вызывала приступ надсадного кашля. Хоть какое-то удовольствие от раздумий пропало. Прошлое, решил он, не просто изменено, оно на самом

деле уничтожено. Ведь как установить даже самый очевидный факт, если вне твоей памяти нет никаких иных свидетельств? Он попытался вспомнить год, когда услышал о Большом Брате впервые. Вроде бы это случилось в шестидесятые, хотя сказать точнее невозможно. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурирует в качестве лидера и стража Революции с самых первых ее дней. Его свершения постепенно отодвигались назад во времени до тех пор, пока не забрались в мифический мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в причудливых цилиндрах разъезжали по Лондону в сверкающих автомобилях или в конных экипажах со стеклянными окнами. Неизвестно, сколько в этих мифах правды и сколько вымысла. Уинстон не помнил даже, когда появилась сама Партия, он вряд ли слышал слово «ангсоц» до шестидесятого года, хотя вполне возможно, что его старая форма, то есть «английский социализм», уже была на слуху. Прошлое терялось в тумане. Иногда, безусловно, ложь удавалось распознать сразу. К примеру, учебники истории утверждали, что аэропланы изобрела Партия. Уинстон помнил, что они летали еще в его детстве, но доказать этого не смог бы — доказательств не осталось

никаких. Лишь раз в жизни ему в руки попало письменное свидетельство фальсификации исторического факта. И тогда он…

— Смит! — раздался с экрана негодующий вопль. — 6079 Смит У.! Да,*вы!* Наклон глубже! Вы не стараетесь. Еще глубже! Во-о-от! Так-то лучше, товарищ. Теперь всем вольно и смотреть на меня.

Уинстона прошиб холодный пот. Лицо же его осталось совершенно невозмутимым. Не показывать смятения! Не показывать недовольства! Выдать может все, даже едва заметное движение глаз. Он стоял и смотрел, как инструктор подняла руки над головой и… не сказать, чтоб уж очень изящно, зато аккуратно и четко… согнулась пополам и сунула первые фаланги пальцев под носки тапок.

— Вот так, товарищи! Вот чего я от вас хочу. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. Смотрите снова! — Она наклонилась опять. — Видите, колени прямые. Вы тоже сможете, если захотите, — добавила она, выпрямившись. — Любой, кто моложе сорока пяти, вполне способен коснуться кончиков пальцев на ногах. Не всем нам выпадает честь сражаться на передовой, но мы можем хотя бы держать себя в форме. Вспомните

наших ребят на Малабарском фронте и моряков в Плавучих крепостях! Представьте, каково им приходится. Теперь попробуйте еще раз. Так-то лучше, товарищ, гораздо лучше, — одобрительно добавила она, когда Уинстон, стиснув зубы, коснулся концов пальцев, совершенно не подгибая колен, — впервые за несколько лет.

IV

Начиная рабочий день, Уинстон, невзирая на близость телеэкрана, тяжко вздохнул, придвинул к себе речеписец, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул четыре маленькие бумажные трубочки, выпавшие из пневматической трубы с правой стороны стола, и скрепил бумажки вместе.

В стенах рабочей кабинки было три отверстия. Справа от речеписца — небольшая пневматическая труба для служебных уведомлений, слева — труба побольше, для газет, на боковой стене на расстоянии вытянутой руки — широкая щель с проволочной решеткой, предназначенная для утилизации бумажных отходов. Таких щелей по всему зданию министерства были тысячи или даже десятки тысяч, причем не только в каби-

нетах и кабинках, но и в коридорах. Почему-то их прозвали дырами памяти. Если требовалось уничтожить любой документ или просто клочок бумаги, валявшийся на полу, работник машинально открывал ближайшую заслонку и совал мусор внутрь; поток теплого воздуха его подхватывал и уносил к громадным топкам, скрытым глубоко внизу.

Уинстон изучил четыре развернутые бумажки. На каждой было поручение в одну-две строчки, написанное на специальном жаргоне, который применялся в министерстве сугубо для внутреннего пользования: еще не новослов, но очень похоже. В них значилось:

таймс 17.3.84 речь бб извратт африка скоррект

таймс 19.12.83 прогнозы 3 гп 4-й квартал 83 опечат сверка с текущим выпуском

таймс 14.2.84 миниблаг извратцит шоколад скоррект

таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюснедобр отсыл безличности полная перепись доархив утвервышинст

Не без легкого удовольствия Уинстон отложил

четвертую бумажку в сторону. Тут требовалась тонкая и ответственная работа, и он оставил ее напоследок. Другие три поручения были рутинными, хотя со вторым придется повозиться из-за обилия цифр.

Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и заказал соответствующие выпуски «Таймс», которые вскоре выскользнули из пневматической трубы. Рабочие поручения относились к статьям и информациям, которые требовалось изменить или, выражаясь официально языком, скорректировать. К примеру, «Таймс» от семнадцатого марта сообщила, что шестнадцатого марта Большой Брат в своей речи предсказал, что обстановка на Южноиндийском фронте останется без перемен, а в Северной Африке вскоре начнется наступление евразийской армии. Получилось так, что Высшее командование Евразии развернуло наступление в Южной Индии, а Северную Африку оставило в покое. В связи с чем возникла необходимость переписать абзац речи Большого Брата таким образом, чтобы он предвидел реальные события. Или та же «Таймс» девятнадцатого декабря опубликовала официальные прогнозы выпуска различных промтоваров на четвертый квартал 1983 года, он же шестой квартал Девятой

трехлетки. В сегодняшнем номере газеты указан фактический выпуск, из которого следует, что прогнозы ошибочны по всем пунктам. Работа Уинстона заключалась в том, чтобы скорректировать первоначальные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Третье поручение касалось очень простой ошибки, которую можно устранить за пару минут. Не далее как в феврале министерство благоденствия обещало (точнее, «решительно заявило»), что в 1984 году норму шоколада на душу населения не уменьшат. На самом деле, как знал Уинстон, в конце прошлой недели пайка сократилась с тридцати до двадцати граммов. Требовалось лишь заменить прежнее обещание предупреждением, что в апреле норму, вероятно, придется сократить.

Выполнив первые три поручения, Уинстон прикрепил к соответствующим выпускам «Таймс» надиктованные на речеписец поправки и сунул их в пневматическую трубу. Затем почти машинально смял бумажки с заданиями и сделанными для себя записями и бросил все в дыру памяти.

Подробностей о происходящем в невидимом лабиринте пневматических труб Уинстон не знал, имел об этом лишь общее представление. Едва необходимые коррективы к конкретному

номеру «Таймс» готовы, газету перепечатывают, старый экземпляр уничтожают и заменяют исправленной версией. Непрерывному изменению подвергаются не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, буклеты, фильмы, звуковые дорожки, мультфильмы, фотографии — любые публикации и документы, способные иметь политическое или идеологическое значение. Прошлое обновляется день за днем, минута за минутой. При таком подходе сбывается любой прогноз Партии, чему есть документальное подтверждение, а любая новость или мнение, противоречащее нуждам текущего момента, исчезает без следа. История как палимпсест, древний пергамент, надписи на котором соскабливают и переписывают столько, сколько нужно. Едва дело сделано, ты уже ничего не докажешь. Самый большой отдел департамента документации (гораздо крупнее того, где трудился Уинстон) состоял из служащих, в чьи обязанности входило отслеживать и собирать все копии книг, газет и прочих источников, подлежащих замене и уничтожению. Номер «Таймс», дюжину раз перепечатанный из-за перемен политического курса или ошибочных прогнозов Большого Брата, все еще значился в подшивке под прежней

датой, и других экземпляров не существовало. Книги также изымали и переиздавали без каких-либо упоминаний о том, что в них внесены соответствующие изменения. Даже письменные указания, которые Уинстон получал и от которых избавлялся сразу после завершения работы, никогда не называли вещи своими именами: не подделка, а корректировка оговорок, опечаток, неверных цитат с целью устранения неточности.

Вообще-то, думал Уинстон, корректируя данные министерства благоденствия, это даже не подделка, а всего лишь замена одной галиматьи на другую. Бóльшая часть материала, с каким приходилось иметь дело, никак не связана с реальным миром. Статистика — всего лишь фантазия, как в оригинальной, так и в исправленной версии. Частенько цифры приходилось придумывать самому. К примеру, прогноз министерства благоденствия предрекал на текущий квартал выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви. Фактический объем производства составил шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переделывая прогноз, позволил себе сократить его до пятидесяти семи миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполнен. В любом слу-

чае шестьдесят два миллиона ничуть не ближе к реальным цифрам, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Вероятнее всего, обувь не изготовили вовсе. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и никому до этого нет дела. Зато каждый квартал якобы производят рекордное количество ботинок, даром что половина Океании ходит босиком. И так везде, с любым документально подтвержденным фактом. Все пропадало в этом мире теней, в котором в конце концов нельзя было быть уверенным даже в том, какой именно год считается текущим.

Уинстон бросил взгляд через проход между кабинками. По ту сторону усердно трудился, положив газету на колено и прильнув губами к речеписцу его коллега Тиллотсон, тощий педант с темным подбородком. У него был такой вид, словно все, что он надиктовывает, должно остаться между ним и телеэкраном. Тиллотсон покосился на Уинстона и недобро сверкнул очками.

Уинстон едва его знал и понятия не имел, чем тот занимается. Сотрудники департамента документации неохотно делились сведениями о своей работе. В длинном зале без окон, с двумя рядами клетушек постоянно шуршала бумага и голоса бубнили в речеписцы, здесь сидела не одна дюжи-

на людей, даже имен которых Уинстон не знал, хотя каждый день сталкивался с ними в коридорах или на Двухминутках ненависти. Маленькая песочная блондинка в соседней кабинке день-деньской занималась лишь тем, что выискивала и удаляла из газет имена тех, кто испарился, а следовательно, как бы и не должен был никогда существовать. Занятие для нее вполне подходящее, если учесть, что пару лет назад испарился ее муж. Еще через несколько кабинок сидел безобидный мечтатель по фамилии Эмплфорт, его отличали лезшие из ушей лохмы волос и поразительный талант звонко играть словами, увязывая их рифмами и любым стихотворным размером. Его удел — искажение (считалось: создание канонических текстов) стихов, которые были сочтены идеологически вредными, но по тем или иным причинам подлежали сохранению в поэтических антологиях. И этот зал с его пятьюдесятью (или около того) работниками был всего лишь подразделением, одною клеточкой в сложной структуре громадины департамента документации, что тянулся и в ширь, и в глубь здания и выполнял невообразимое множество различных задач. Имелись в нем и огромные типографии со своими редакторами, оформителями, верстальщиками,

и прекрасно оборудованные студии, где трудились мастера подделки фотографий. Имелся и отдел телепрограмм с инженерами-механиками, режиссерами-постановщиками и актерами, умеющими искусно имитировать чужие голоса. Целые армии клерков занимались исключительно составлением списков книг и журналов, подлежащих изъятию. В обширных хранилищах содержали исправленные документы, а в скрытых топках уничтожали оригиналы. И во главе всего этого тайно, неизвестно где заседал управляющий мозг департамента, который согласовывал все действия и гнул генеральную линию, определявшую, какой фрагмент прошлого требуется сохранить, какой фальсифицировать, а какой уничтожить без следа.

Департамент документации был лишь одним из структурных подразделений министерства правды, чья главная задача состояла вовсе не в переписывании прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, учебниками, фильмами, телепрограммами, пьесами, романами — всевозможными видами информации: от служебных инструкций до легкого чтения, от статуй до лозунгов, от лирических стихов до научных трудов, от детских прописей до словников но-

вослова. Министерству приходилось не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и создавать аналогичную продукцию на более низком уровне, заботясь о благе пролетариев. Литературой, музыкой, драмой и зрелищами для пролов занималась целая сеть отдельных департаментов. Там производили дрянные газеты, где не печаталось ничего, кроме новостей спорта, криминальной хроники и астрологических прогнозов, пятицентовые бульварные романы, фильмы с постельными сценами и сентиментальные песенки, которые механически создавались на специальном калейдоскопе, известном как версификатор. Существовал даже особый сектор (на новослове он звался *порносек*), выпускавший самую низкопробную порнографию, которая рассылалась в запечатанных пакетах, и ни единому члену Партии, помимо создавших эту продукцию, смотреть ее не позволялось.

Из пневматической трубы выпало еще три поручения, довольно простых, и Уинстон успел управиться с ними до Двухминутки. После Ненависти он вернулся к себе в кабинку, взял с полки «Словник новослова», отвел в сторону речеписец, протер очки и взялся за основную сегодняшнюю работу.

Величайшим удовольствием в жизни Уинстона была работа. По большей части приходилось иметь дело с нудной текучкой, зато иногда попадались задания столь сложные и замысловатые, что он уходил в них с головой, как в математическую задачку: виртуозная манипуляция фактами, основанная исключительно на знании принципов ангсоца и предчувствии того, что́ именно угодно Партии. Такое Уинстону удавалось хорошо. Иногда ему даже доверяли корректировать передовицы «Таймс», написанные целиком на новослове. Он развернул ранее отложенное поручение и прочел:

таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюснедобр отсыл безличности полная перепись доархив утвервышинст

В переводе на старослов (или обычный английский) это означало:

В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года дневная хроника Большого Брата изложена чрезвычайно неудовлетворительно, в ней упомянуты несуществующие лица. Переписать целиком и до архивации подать черновик на утверждение выше-

стоящей инстанцией.

Уинстон прочел забракованную заметку. В хронике воздавалась похвала организации, известной как ССПК, снабжавшей моряков плавучих крепостей папиросами и прочими предметами хозяйственно-бытового обихода. Большой Брат особо отметил некоего товарища Уизерса, видного деятеля Центра Партии, и наградил орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Три месяца спустя ССПК неожиданно распустили без объяснения причин. Предположительно Уизерс с подручными впали в немилость, но ни газеты, ни телеэкран о том не сообщали. Ничего удивительного, ведь политические преступники редко представали перед судом. Массовые многотысячные чистки с публичными процессами над изменниками и помыслокриминалами, с громкими униженными признаниями и казнями, были особыми зрелищами и проводились раз в несколько лет. Чаще всего те, кто навлек на себя немилость Партии, просто исчезали, и никто о них не слышал. Не появлялось ни малейшего представления, куда они девались. В иных случаях их даже оставляли в живых. Уинстон лично знал человек тридцать, не считая своих

родителей, которые исчезли в разное время.

Уинстон задумчиво почесал нос скрепкой. В кабинке через проход от него товарищ Тиллотсон украдкой наговаривал что-то в речеписец. Он поднял голову — очки снова злобно сверкнули. Уинстон заподозрил, что коллега вполне мог корпеть над тем же поручением, что и он. Такую тонкую работу никогда не доверяли одному служащему, впрочем, созвать ради нее особую группу значило бы признать факт подделки. Вероятнее всего, над альтернативными версиями директивы Большого Брата трудилась по меньшей мере дюжина сотрудников. В скором времени какая-нибудь партийная шишка выберет тот или иной вариант, подредактирует, запустит сложный, многоэтапный процесс оформления перекрестных ссылок, и тогда ложь приобретет статус официального документа и станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс впал в немилость. Может, из-за коррупции или некомпетентности. Может, Большой Брат просто избавился от ставшего слишком популярным подчиненного. Может, Уизерса или кого-нибудь из его окружения заподозрили в отклонении от генеральной линии Партии. Или же, что наиболее

вероятно, это случилось просто потому, что чистки и испарения неугодных — необходимые детали государственной машины. Единственная подсказка крылась в выражении *«отсыл безличности»* — то есть Уизерс уже мертв. Просто арест такой уверенности не гарантировал: иногда арестованных отпускали, давали пожить на свободе годик-другой и потом казнили. Изредка тот, кого считали давно умершим, внезапно всплывал на каком-нибудь публичном процессе и своими признательными показаниями тянул за собой сотни других, прежде чем исчезнуть навсегда. Уизерс, напротив, уже считается безличностью. Его нет — его никогда не существовало. Уинстон решил, что изменить смысл речи Большого Брата на противоположный недостаточно. Лучше пусть она утратит всякую связь с первоначальной темой.

Он, конечно, мог бы превратить хвалебную речь в обличение изменников и помыслокриминалов, только это чересчур очевидно. Если придумать победу на фронте или объявить о перевыполнении плана производства в Девятой трехлетке, то потребуется слишком много переделок других источников. Нужна какая-нибудь чистой воды фантазия. И тут перед мысленным взором вспыхнула готовая картинка: некий това-

рищ Огилви, недавно павший смертью храбрых в бою. Случалось, в хрониках Большой Брат отдавал дань памяти какому-нибудь скромному, рядовому члену Партии, чья жизнь и смерть могли послужить хорошим примером для подражания. Сегодня ему следует почтить память товарища Огилви. Разумеется, такого человека не было и в помине, но это исправимо: нужны лишь небольшой текст и пара поддельных фотографий.

Уинстон подумал с минуту, придвинул к себе речеписец и начал диктовать в знакомой манере Большого Брата, в стиле одновременно армейском и книжном. Благодаря риторическим вопросам и немедленным ответам на них — «Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Урок, который, кстати, является одним из основополагающих принципов ангсоца, следующий…» — подражать ему сравнительно несложно.

В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, пистолета-пулемета и детского вертолетика. В шесть — на год раньше, чем положено, благодаря особому разрешению — вступил в Разведчики, в девять стал командиром отряда. В одиннадцать сдал своего дядю полиции помыслов, подслушав разговор,

показавшийся ему преступным. В семнадцать Огилви возглавил Юношескую антисекс-лигу района. В девятнадцать сконструировал ручную гранату, принятую впоследствии на вооружение министерством мира, которая при первом испытании убила тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три погиб в бою. На вертолете перелетал через Индийский океан, когда на него напали вражеские реактивные самолеты. Тогда он выпрыгнул из вертолета в обнимку с пулеметом, чтобы сразу пойти на дно вместе с важными донесениями. Достойный конец, которому можно только позавидовать, отметил Большой Брат. Упомянул и о чистоте и целеустремленности товарища Огилви. Вредных привычек не имел, не позволял себе никаких развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в спортзале, и принял обет безбрачия, поскольку считал семью помехой круглосуточному служению Родине. У него не было ни тем для разговора, кроме принципов ангсоца, ни иной цели в жизни, кроме победы над евразийской армией и выслеживания шпионов, диверсантов, помыслокриминалов и прочих изменников.

Уинстон хотел сначала наградить товарища Огилви орденом за заслуги, потом передумал:

слишком много возникло бы перекрестных ссылок.

Он снова покосился на соперника в кабинке напротив. Судя по всему, Тиллотсон трудился над тем же самым поручением. Никогда не узнаешь, чью версию примут в итоге, и все же Уинстон был убежден, что выберут его. Товарищ Огилви, еще час назад никому не известный, теперь стал реальным человеком. Уинстона поразила мысль, что можно создавать мертвых, но не живых. В настоящем товарища Огилви не существовало, зато теперь он существует в прошлом. Как только про фальсификацию забудут, он станет исторической фигурой ничуть не менее подлинной, чем Карл Великий или Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь двигалась медленными рывками. Народу набилось много, и шум стоял оглушительный. Из решетки у распределительной стойки валил пар, и даже вонь джина «Победа» не перекрывала кисловатый металлический запах похлебки. В дальнем конце находился маленький бар — точнее, просто дыра в стене, — где за десять

центов можно было купить порцию выпивки.

— Вы-то мне и нужны! — услышал Уинстон у себя за спиной.

Он обернулся. Это был его друг Сайм из департамента исследований. Пожалуй, слово «друг» в данном случае не годилось. Теперь все стали товарищами, но общаться с некоторыми Уинстону нравилось больше, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новослову. Он входил в огромную команду экспертов, занятых составлением Одиннадцатого издания «Словника новослова». Существо крохотное, еще ниже Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, во взгляде их мешались скорбь и насмешка, казалось, Сайм пристально изучает собеседника.

— Я хотел спросить, нет ли у вас бритвенных лезвий.

— Ни одного! — тут же выпалил Уинстон и, словно оправдываясь, добавил: — Я искал повсюду, их просто нет.

Все только и знали, что клянчить лезвия. На самом деле у Уинстона осталось еще два нетронутых, но он держал их для себя. Последние пару месяцев бритвы были в дефиците. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой

товар первой необходимости. Иногда исчезали пуговицы, иногда шерсть для штопки, иногда шнурки, сейчас вот бритвенные лезвия. Раздобыть их удавалось только на черном рынке, да и то, если сильно повезет.

— Сам одним бреюсь уже месяца полтора, — соврал он.

Очередь подалась вперед. Остановившись, Уинстон снова повернулся к Сайму. Оба взяли с раздаточной стойки по засаленному металлическому подносу.

— Ходили смотреть, как вешают преступников? — спросил Сайм.

— Я работал, — равнодушно ответил Уинстон. — Посмотрю потом в кино.

— И много потеряете, — заметил Сайм.

Его насмешливый взгляд скользнул по лицу Уинстона. «Знаю я вас, — словно говорил он, — насквозь вижу. Прекрасно понимаю, почему вчера вы пропустили казнь». В интеллектуальном отношении Сайм был ярым приверженцем Партии. С каким злорадством он обсуждал вертолетные рейды на деревни противника, смаковал признания помыслокриминалов на публичных процессах и казни в застенках министерства любви! Общаясь с ним, Уинстон старался пере-

ключить разговор на лингвистические тонкости новослова, и тогда слушать Сайма было одно удовольствие. Уинстон чуть отвернулся, уклоняясь от пристального взгляда приятеля.

— Казнь на славу! — восторгался он. — Со связанными ногами совсем не то. Люблю смотреть, как дергаются. А самая прелесть в конце, когда вываливается язык — такой синий-синий!

— Следующий! — крикнул прол в белом фартуке и с поварешкой в руке.

Уинстон и Сайм просунули подносы под решетку. Каждому выдали положенную обеденную порцию: розовато-серую похлебку в металлической миске, ломоть хлеба, кусок сыра, кружку кофе «Победа» без молока и таблетку сахарина.

— Вон там, под телеэкраном, есть свободный столик, — указал Сайм. — Заодно и джин возьмем.

Джин подали в фаянсовых бокалах без ручек. Они пробрались сквозь толпу и разгрузили подносы на металлическом столе, по углу которого растеклась лужица похлебки, неаппетитная жижа, похожая на блевотину. Уинстон взял бокал с джином, собрался с духом и опрокинул в себя сивушную жидкость. Утерев навернувшиеся на глаза слезы, он с удивлением почуял, что про-

голодался. Схватив ложку, Уинстон принялся глотать варево, в котором попадались волокнистые розоватые кусочки, наверное, тушеное мясо. Приятели молчали, пока не опустошили миски. За столиком слева, чуть позади Уинстона, кто-то резко трещал без умолку, и торопливая речь, похожая на утиное кряканье, перекрывала гул голосов.

— Как продвигается работа над словником? — поинтересовался Уинстон, стараясь перекрыть шум.

— Медленно, — ответил Сайм. — Сейчас я занимаюсь прилагательными. Весьма занятно!

При упоминании новослова Сайм оживился. Он отодвинул миску, взял хлеб в одну изящную руку, сыр — в другую и подался вперед, чтобы не повышать голос.

— Одиннадцатое издание станет последним, — сообщил он. — Мы приводим язык в окончательную форму, в таком виде им будут пользоваться, когда старослов отомрет. После того как мы закончим, людям вроде вас придется учить язык заново. Вы наверняка полагаете, что наша главная забота — придумывать новые слова. Ничего подобного! Мы их, наоборот, уничтожаем — десятками, сотнями каждый день. Мы срежем

с языка лишнюю плоть, обнажив остов! К две тысячи пятидесятому году в словнике не останется ни единого анахронизма!

Сайм, как голодный, отхватил кусок хлеба и в два приема проглотил его, потом вновь заговорил со школярским пылом. Тонкое смуглое лицо его оживилось, взгляд утратил насмешливое выражение и стал едва ли не мечтательным.

— Уничтожать слова — это прелестно. Разумеется, в расход идут многие глаголы и прилагательные, но ведь можно избавиться и от сотен существительных. Не только синонимов, есть же еще и антонимы. Кому нужно слово, противоположное другому? В любом слове и так содержится его противоположность. Возьмем, к примеру, «хороший». К чему нам «плохой», если можно сказать «нехороший»? Кстати, так гораздо лучше, ведь мы получаем значение полностью обратное, без всяких там добавочных оттенков. Или вот, к примеру, хотим мы усилить прилагательное «хороший», для чего в старом языке была куча расплывчатых, бесполезных слов вроде «превосходный», «великолепный» и прочие. «Плюсхороший» заменит их все! Или «дваждыплюсхороший», если угодно. В итоге любые представления о хорошем и плохом мы

уместим всего в шесть слов — точнее, в одно. Неужели вам непонятна прелесть этого, Уинстон? Замысел, конечно, принадлежит Б. Б., — спохватился Сайм.

При упоминании Большого Брата лицо Уинстона подобострастно оживилось. Тем не менее Сайм тут же отметил недостаток энтузиазма.

— Уинстон, вам не понять всей прелести новослова, — заявил он почти с грустью. — Вы на нем не пишете, а перекладываете со старослова. Читал я ваши передовицы в «Таймс». Неплохо. А все равно это лишь переводы. В глубине души вы держитесь за старослов, при всей его расплывчатости и куче бесполезных оттенков значений. Вы не цените красоту уничтожения слов. Знаете, что новослов — единственный язык в мире, чей Лексикон Б с каждым годом становится все меньше?

Конечно, Уинстон знал. Он сочувственно улыбнулся, не решаясь заговорить. Сайм снова куснул черного хлеба, торопливо прожевал и продолжил:

— Неужели вы не понимаете, что единственная цель новослова — сузить диапазон человеческой мысли? В итоге мы сделаем помыслокриминал в принципе невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждому понятию,

которое мы посчитаем нужным сохранить, будет соответствовать ровно одно слово, значение которого строго определено — и никаких вспомогательных значений! В Одиннадцатом издании мы уже близки к цели. Кстати, процесс продолжится и после того, как не станет ни вас, ни меня. С каждым годом слов будет все меньше, диапазон мысли — все у́же. Разумеется, и сейчас для помыслокриминала нет ни причин, ни оправданий. Это лишь вопрос самодисциплины, контроля над реальностью. В итоге даже он не понадобится! Революция завершится, когда язык доведут до совершенства. Новослов есть ангсоц, а ангсоц есть новослов, — благоговейно добавил Сайм. — Неужели вам не приходило в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году не останется никого, кто смог бы понять беседу, подобную нашей?

— Кроме… — неуверенно начал Уинстон и умолк. На языке вертелась фраза: «Кроме пролов», — но он сдержался, поскольку сомневался в допустимости подобного замечания. Впрочем, Сайм понял его с полуслова.

— Пролы не люди, — небрежно бросил он. — К две тысячи пятидесятому или даже раньше владеть старословом не будет никто. Всю литературу

прошлого мы уничтожим. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся лишь в новых версиях, их произведения не просто видоизменятся, а превратятся в нечто противоположное. Преобразится даже партийная литература, даже лозунги. Зачем нужен лозунг «Свобода есть рабство», если понятие свободы упразднят? Атмосфера мышления будет совершенно иной. Собственно говоря, и мышления как такового уже не будет. Догматизм бессознателен, мыслить вообще ни к чему!

Не сегодня-завтра, подумал Уинстон с непонятно откуда взявшейся глубокой убежденностью, Сайм испарится. Слишком умен, слишком четко все раскладывает и говорлив слишком. Партии такие люди не нравятся. День придет — и он испарится. У него это на лице написано.

Уинстон доел хлеб с сыром, слегка повернулся на стуле, чтобы выпить кружку кофе. За столом слева мужчина с резким голосом продолжал вещать без умолку. Ему внимала молодая женщина, сидевшая к Уинстону спиной, видимо, секретарь. Она соглашалась со всем, что тот излагал, и время от времени бормотала юным и довольно глупым голоском: «По-моему, вы*так* правы, я с вами *так* согласна». Ее собеседник не прерывался ни на секунду, даже когда говорила

девушка. Лицо Уинстону было знакомо, хотя знал только, что его обладатель занимает важный пост в департаменте беллетристики. Мужчина лет тридцати, с мощной шеей и большим подвижным ртом, сидел, чуть задрав голову, и свет падал на очки так, что вместо глаз сверкали два пустых диска. В потоке льющихся изо рта звуков нельзя было вычленить почти ни единого слова, и это навевало легкую жуть. До Уинстона долетела фраза «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма», она вывалилась из потока слов сплошным куском, будто отлитая из металла строка набора. Остальное плавилось в надоедливый шум, похожий на утиный кряк. И все же общий смысл угадывался легко: обличение Гольдштейна, требование ужесточить меры к помыслокриминалам и диверсантам, негодование на зверства евразийской армии, восхваление Большого Брата или — разницы никакой — героев Малабарского фронта. Глядя на безглазое лицо с ритмично двигающейся челюстью, Уинстон испытал странное чувство, что перед ним не живой человек, а кукла. Речь рождалась не в мозгу — сразу в гортани. Хотя она и состояла из слов, вряд ли этот поток можно было считать речью в привычном смысле, так, бездумный галдеж.

Сайм умолк и задумчиво возил ложкой по пролитой на стол жиже. Голос за соседним столиком продолжал тарахтеть, с легкостью перекрывая стоявший в столовой гул.

— В новослове есть такой термин, — сказал Сайм, — не знаю, известен он вам или нет: «крякоречь». Означает крякать как утка. Интересно, что у него два противоположных значения. Применительно к оппоненту это оскорбление, а к соратнику — похвала.

Сайм точно испарится, вновь подумал Уинстон. Подумал не без грусти, хотя отлично знал, что Сайм его презирает, недолюбливает и с готовностью сдаст как помыслокриминала, дай только повод… Сайм был какой-то не такой, ему явно не хватало благоразумия, сдержанности, своего рода спасительной глупости. Не сказать, чтобы он придерживался крамольных взглядов. Совсем напротив: Сайм свято верил в принципы ангсоца, благоговел перед Большим Братом, радовался победам, ненавидел отступников, причем с каким-то неугомонным фанатизмом, вникая во все слишком глубоко, чего от рядовых членов Партии ожидать сложно. И все же репутация у него несколько подмочена: говорил то, чего говорить не следует, прочел слишком много книг, его часто

видели в кафе «Каштан» — злачном месте, популярном среди художников и музыкантов. Хотя никаким законом, даже неписаным, ходить туда не воспрещалось, кафе пользовалось дурной славой. Перед окончательной чисткой, выкосившей всех старых лидеров Революции, там собиралась дискредитировавшая себя партийная верхушка. По слухам, когда-то в кафе захаживал и сам Гольдштейн. Предвидеть судьбу Сайма несложно. И все же, если Сайм осознает, хотя бы на три секунды, каких убеждений придерживается Уинстон на самом деле, он непременно сдаст его полиции помыслов. Впрочем, так поступил бы любой, но Сайм сделает это с особой готовностью, одного рвения недостаточно. Догматизм бессознателен.

Сайм поднял взгляд.

— Опять Парсонс пожаловал, — проговорил он таким голосом, словно хотел добавить «отпетый дурак».

Парсонс, сосед Уинстона по «Дворцу Победы», и в самом деле пробирался к ним сквозь толпу — коротконогий и упитанный, среднего роста, со светлыми волосами и лягушачьим лицом. К тридцати пяти годам он уже успел обзавестись жировыми складками на шее и талии, но двигался порывисто, как мальчишка. Да и обликом

он смахивал на ребенка-переростка, которому больше пристало ходить в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков, нежели в рабочем комбинезоне партийца. При упоминании Парсонса воображение услужливо дополняло его образ коленками с ямочками и пухлыми ручками с закатанными рукавами. Парсонс и в самом деле с удовольствием облачался в шорты в пеших походах или занимаясь каким-нибудь общественным трудом. Он поздоровался с сослуживцами жизнерадостным возгласом «Привет-привет!» и подсел за их стол, пахну́в едким по́том. Розовое лицо так и сочилось испариной. Потел Парсонс знатно. Во Дворце культуры всегда можно было определить, что он недавно играл в пинг-понг, по влажной ручке ракетки. Сайм достал листок бумаги с длинным столбиком слов и принялся его изучать, держа наготове химический карандаш.

— Только посмотрите на него, даже в обед работает! — восхитился Парсонс, подтолкнув Уинстона локтем. — Ловко, да? Что там у вас, старина? Наверное, для меня это слишком мудрено. Смит, старина, а я ведь не просто так за вами гоняюсь. У вас должок по взносам!

— На что собираем? — спросил Уинстон, маши-

нально нашаривая деньги. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные взносы, их было так много, что всех и не упомнишь.

— На Неделю ненависти, для фонда по месту жительства. Меня выбрали казначеем нашего квартала. Постараемся как следует и устроим нечто грандиозное! Вот что я скажу: не моя вина, если «Дворец Победы» не вывесит больше всех флагов на нашей улице. Вы обещали два доллара.

Уинстон протянул ему две помятые, замусоленные банкноты, и Парсонс записал его имя в специальный блокнотик старательным почерком неуча.

— Кстати, старина, — спохватился он. — Слышал я, вчера мой мелкий негодник пальнул в вас из рогатки. Я устроил ему хорошую взбучку и даже пообещал отнять игрушку.

— Вероятно, он немного расстроился из-за того, что не смог посмотреть на казнь, — заметил Уинстон.

— Ну да. Настрой весьма похвальный, верно? Они у меня, конечно, озорники, зато какие ушлые! Думают только о Разведчиках и о войне. Знаете, что моя малышка устроила в ту субботу, вместо пешего похода в Беркхамстед? Подбила

двух девочек из отряда отправиться следить за каким-то незнакомцем. Ходили за ним хвостом битых два часа, а потом в Эмершеме сдали патрулю.

— Зачем же они это сделали? — поразился Уинстон.

Парсонс торжествующе пояснил:

— Доча решила, что он вражеский агент, его, может, с парашютом забросили. И вот что самое интересное, старина! Думаете, что ее насторожило в первую очередь? Странные туфли на нем: доча таких никогда не видела! Значит, иностранец. Довольно умно для семилетней егозы, а?

— А что стало с тем человеком? — спросил Уинстон.

— Откуда мне знать? Не удивлюсь, если его… — Парсонс сделал вид, что прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, изображая выстрел.

— Поделом, — рассеянно бросил Сайм, не отрываясь от своего листка.

— Конечно, рисковать мы не можем, — с готовностью подхватил Уинстон.

— Вот и я про то же: война как-никак, — поддакнул Парсонс.

И словно в подтверждение с телеэкрана сорвался призывный звук трубы и вихрем пронесся у

них над головами. Впрочем, на этот раз он предшествовал не сводке с фронта, а объявлению от министерства благоденствия. «Товарищи! — вскричал радостный юный голос. — Внимание, товарищи! У нас потрясающие новости! Мы выиграли битву за производство! Итоговые отчеты по выработке всех видов товаров свидетельствуют, что за последний год уровень жизни вырос на целых двадцать процентов! Сегодня утром вся Океания в едином порыве вышла на стихийные демонстрации: трудящиеся заводов и конторские служащие покинули рабочие места и промаршировали по улицам с транспарантами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, которую обеспечило нам его мудрое руководство. А теперь к итоговым показателям: продукты питания…»

Выражение «наша новая, счастливая жизнь» повторялось несколько раз. Видимо, министерству благоденствия оно особенно полюбилось. Парсонс, подобравшийся при звуке трубы, сидел и слушал, открыв рот, с важным видом привыкшего к скуке недоучки. Цифры говорили ему мало, но он понимал, что им следует радоваться. Он вытащил огромную потертую трубку, наполовину набитую обугленным табаком. При норме

100 граммов в неделю набить трубку целиком удавалось редко. Уинстон курил папиросу «Победа», осторожно держа ее строго горизонтально. Новую пайку дадут только завтра, а у него осталось всего четыре папиросы. Он отрешился от постороннего шума и прислушался к потоку слов с телеэкрана. Похоже, демонстранты благодарили Большого Брата даже за то, что он повысил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. Только вчера, вспомнилось Уинстону, объявили об*уменьшении* нормы до двадцати граммов. Неужто можно проглотить такое вранье всего за двадцать четыре часа? Парсонс, глупое животное, проглотил легко. Безглазый мужчина за соседним столиком заглатывал фанатично, страстно, его словно обуревало неистовое желание выследить, донести, дать испариться любому, кто скажет, что на прошлой неделе норма составляла тридцать граммов. Сайм тоже — правда, несколько иным способом, привлекая двоемыслие. И Сайм проглотил. Неужто выходит, что он единственный, кому это запало в память?

С телеэкрана все еще сыпалась баснословная статистика. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше

топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше детей — больше всего, кроме болезней, преступлений, безумия. Год за годом, минута за минутой все и вся со свистом неслось вперед, к светлому будущему. Как Сайм пораньше, Уинстон взял ложку и принялся выводить узоры по растекшейся по столу бледной жиже. Он с досадой размышлял о материальной основе жизни. Всегда ли было так? Всегда ли еда имела такой вкус? Он оглядел столовую. Низкий потолок, стены, засаленные от прикосновений бесчисленных тел, разболтанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что касаешься локтем соседа; погнутые ложки, помятые подносы, щербленые белые кружки; все поверхности сальные, во всех трещинах грязь; кисловатый дух, в каком мешается вонь дешевого джина, паршивого кофе, похлебки с металлическим привкусом и грязной одежды. Постоянно нутро, вся кожа зудела в нем от бунта, ощущения того, что его лишили принадлежавшего ему по праву. Да, правда, насколько помнилось, иной жизни он не знал: никогда не ел досыта, носки и нижнее белье занашивал до дыр, мебель — вечно раздолбанная и шаткая, топили плохо, вагоны подземки шли битком, дома разваливались, хлеб — черный, чай

— большая редкость, кофе — противный, табаку не хватает, один только дешевый синтетический джин всегда в избытке. И хотя с возрастом переносить лишения все труднее, разве это не свидетельствует о том, что естественный порядок вещей вовсе не должен быть таким? Если сердце щемит от бесприютности, грязи и лишений, от нескончаемых зим, от промокших ног, а лифты вечно не работают, вода только холодная, мыло грубое и сушит кожу, табак из папирос высыпается, еда по вкусу с помоями схожа? Если жизнь кажется невыносимой, не говорит ли в тебе память предков, оставшаяся с тех времен, когда все было иначе?

Он вновь оглядел столовую. Почти все уродливы, и синие комбинезоны тут ни при чем: этих людей как ни одень, уродами и останутся. В дальнем конце за столом в одиночестве сидел мелкий, похожий на жучка служащий с кружкой кофе и подозрительно обшаривал зал маленькими бегающими глазками. Если не смотреть по сторонам, думал Уинстон, легко поверить, что физический тип, взятый Партией за идеал (мускулистые юнцы и грудастые девы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные), не только существует, но и преобладает. На самом

деле, насколько он мог судить, большинство населения Авиабазы-1 — низкорослые, темноволосые и уродливые. Любопытно, как люди-жучки заполонили министерства: проворные невзрачные коротышки, склонные к полноте уже в юном возрасте, с короткими ножками и маленькими глазками на жирных невозмутимых мордах. Похоже, под владычеством Партии этот тип расцвел пышным цветом.

Объявление министерства благоденствия закончилось трубным сигналом, за ним последовала жесткая, бряцающая музыка. Парсонс, впечатленный цифрами, преисполнился энтузиазма и вынул трубку изо рта.

— В этом году министерство благоденствия отлично потрудилось, — заявил он и с важным видом кивнул. — Кстати, старина, у вас не найдется лишнего лезвия для бритвы?

— Увы, — ответил Уинстон, — сам полтора месяца одним бреюсь.

— Ну ладно, нет так нет.

— Что поделаешь.

Крякоречь за соседним столом, умолкшая во время сводки министерства благоденствия, затарахтела с новой силой. Почему-то Уинстону вспомнилась миссис Парсонс с жидкими растре-

панными волосами и пылью в складках лица. В ближайшие пару лет дети непременно сдадут ее полиции помыслов. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. О'Брайен испарится. А вот Парсонсу не грозит ничего, как и безглазо крякающему мужчине. Жучки-служащие, так ловко снующие по лабиринту коридоров министерства, — эти уж точно не испарятся никогда. И темноволосая из департамента беллетристики не испарится никогда. Уинстон словно нутром чуял, кто уцелеет, кто исчезнет, хотя и не мог сказать, от чего именно зависит, выживет человек или нет.

И в этот миг его, отрешенно витавшего в раздумьях, будто грубо тряхнуло. Сидевшая за столом перед Уинстоном девушка, извернувшись вполоборота, смотрела на него. Та самая, темноволосая. Смотрела искоса, зато весьма пристально. Поймав его взгляд, девушка снова отвернулась.

Уинстон облился холодным пóтом. Накатил приступ ужаса и почти сразу схлынул, оставив после себя щемящую тревогу. Почему она так смотрит? Почему она его преследует? Уинстон не помнил, сидела темноволосая за столом, когда он пришел, или появилась позже. В любом случае на вчерашней Двухминутке ненависти она

устроилась сразу позади него, хотя мест хватало. Вполне вероятно, что девушка решила убедиться, достаточно ли громко он кричит.

Опять подумал: вряд ли она из полиции помыслов, хотя от добровольного шпиона вреда куда больше. Уинстон не знал, как давно она за ним следит, но даже за последние пять минут, если он не вполне владел выражением лица, девушка могла бы увидеть достаточно. В общественном месте или перед телеэкраном погружаться в задумчивость слишком опасно. Выдать может любая мелочь: нервный тик, невольная озабоченность во взгляде, привычка бормотать себе под нос — любое отклонение от нормы или намек на скрытность. Так или иначе, неподобающее выражение лица (к примеру, скептичное, когда объявляют о победе) считается проступком, заслуживающим наказания. В новослове даже термин такой есть – *«лицекриминал»*.

Темноволосая опять сидела к Уинстону спиной. Может, и не следит, может, просто совпадение. Папироса погасла, он аккуратно положил ее на край стола: покурит после работы, если удастся не просыпать табак. Наверняка где-то рядом соглядатай полиции помыслов, и через три дня Уинстона упрячут в подвалы министерства любви, и все же

табак надо беречь. Сайм сложил листок и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.

— Я не рассказывал, старина, — начал он, посасывая трубку, — как мои непоседы подпалили юбку старухе-торговке, которая заворачивала колбасу в плакат Б. Б.? Подкрались сзади с коробком спичек и устроили потеху. Наверное, сильно обожглась. Вот негодники! Зато настырные как не знаю кто! В отряде Разведчиков детишек натаскивают отменно, даже лучше, чем нас в свое время. Знаете, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочную скважину! Моя дочурка вчера опробовала ее на двери в общую комнату: выходит в два раза слышнее, чем просто ухо приложить! Понятно, игрушка всего лишь, но нужные навыки прививает.

Внезапно из телеэкрана раздался пронзительный свист: обед закончился. Все трое разом вскочили, чтоб ринуться в битву за место в лифтах, и из папиросы Уинстона вывалился последний табак.

VI

Уинстон писал в дневнике:

> *Это было три года назад. Темный вечер, узкий переулок возле большой железнодорожной станции. Она стояла в дверном проеме, под едва светившим уличным фонарем. Лицо молодое, густо накрашено. Привлекала меня, признаться, именно окраска: белое, как маска, лицо с пунцовыми губами. Партийные женщины никогда не красятся. На улице ни прохожих, ни телеэкранов. Она сказала: два доллара. Я…*

Уинстон смешался. Зажмурил глаза и прижал к ним пальцы. Почти неодолимо тянуло выругаться — грязно, во весь голос. Или боднуть головой стену, пнуть стол, вышвырнуть чернильницу в окно — все, что угодно, лишь бы приглушить терзавшее его воспоминание.

Твой злейший враг, думал Уинстон, твоя нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может вылиться в видимый симптом. Он вспомнил, как пару недель назад видел

на улице одного прохожего: обычный с виду член Партии, лет тридцати-сорока, высокий и худой, с портфелем. Внезапно левая сторона его лица дернулась. Через несколько шагов это повторилось — всего лишь легкое подергивание, быстрое, как щелчок затвора фотоаппарата, но явно привычное. И Уинстон подумал: бедняге конец. Самое страшное, что сокращение мышц скорее всего совершенно непроизвольное. А самая смертельная опасность подстерегает тебя во сне, и спасения от нее нет.

Уинстон вздохнул и продолжил писать:

Я прошел за ней в дверь, потом задами на кухню в подвале. У стены стояла кровать, на столе тускло горела лампа, фитилек которой был подвернут почти до конца. Она…

Уинстон стиснул зубы. Хотелось сплюнуть. Одновременно с женщиной в подвальной кухне он вспомнил Кэтрин, свою жену. Когда-то Уинстон был женат… впрочем, как и сейчас, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он снова вдохнул спертый воздух кухни, в котором мешались запахи клопов, грязной одежды и противных, дешевых и все же соблазнительных духов. Партийные

женщины не душатся никогда, духи в ходу только у пролов. В его сознании их запах удушающе мешался с распутством.

Он уже пару лет не был с женщиной. Разумеется, общение с проститутками запрещалось, но этот запрет относился к тем, которые изредка нарушаешь. Поймают — дадут пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если нет других прегрешений. Лишь бы не взяли с поличным. Беднейшие кварталы буквально кишат женщинами, готовыми себя продать. Иным хватает бутылки джина (пролам он не полагается). Негласно Партия даже поощряет проституцию, ведь та дает выход инстинктам, подавить которые полностью еще не получалось. На обычное распутство смотрят сквозь пальцы, пока оно остается шито-крыто да уныло и вовлечены в него женщины из низшего и презираемого класса. Непростительными считаются беспорядочные половые связи между членами Партии. Однако хотя в этом преступлении признавались практически все без исключения жертвы великих чисток, Уинстону верилось в такое с трудом.

Цель Партии состоит не только в том, чтобы между мужчинами и женщинами не возникала привязанность, которую нельзя контролировать

со стороны. На самом деле требовалось лишить половой акт всякого удовольствия. Главный враг — не любовь, а эротика, что в браке, что вне брака. Все союзы между членами Партии устраиваются с ведома специального комитета, и (вслух этот принцип не озвучивают) в разрешении паре отказывают, если будущие супруги чувствуют взаимное влечение. Единственной целью брака считается рождение детей для служения Партии. К половому акту относятся словно к малоприятной медицинской процедуре вроде клизмы. Опять же, прямо об этом не говорится, но подспудно с детства вдалбливается каждому члену Партии. Существуют даже специальные организации вроде Юношеской антисекс-лиги, ратующие за полное воздержание для обоих полов. Детей следует зачинать с помощью искусственного оплодотворения (на новослове это называется*«ископлод»*) и выращивать в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что это не всерьез, хотя и удачно вписывается в идеологию Партии: убить половой инстинкт, а если не выйдет, то принизить и изгадить. Он не знал зачем, просто чувствовал, что так и должно быть. Что касается женщин, то усилия Партии по большей части увенчались успехом.

Он снова подумал о Кэтрин. Они разошлись девять, десять, точнее, почти одиннадцать лет назад. Как ни странно, Уинстон вспоминал о ней редко. Иногда он даже забывал, что вообще был женат. Вместе они провели пятнадцать месяцев. Разводиться Партия не разрешает, хотя бездетных призывает расстаться.

Кэтрин была высокой блондинкой с очень правильной, горделивой осанкой. Черты крупные, нос с горбинкой — ее лицо можно бы назвать благородным, если бы за ним не скрывалась практически полная пустота. Еще в самом начале совместной жизни Уинстон решил — хотя, вероятно, лишь потому, что ее он узнал лучше, чем других людей, — что глупее, вульгарнее и скудоумнее Кэтрин никого не встречал. В голове ее не задерживалось ни единой мысли, кроме партийных лозунгов, и она глотала любую невообразимую чушь, если та исходила от родной Партии. Про себя Уинстон называл ее «ходячая фонограмма». И все же он смог бы с ней ужиться, если бы не секс.

Стоило ему к жене прикоснуться, как та морщилась и цепенела. Обнимать ее было все равно что деревянную куклу. Как ни странно, даже прижимая мужа к себе, она словно отталкивала

его изо всех сил. Кэтрин лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не отвечая на ласки — она тупо подчинялась. Уинстон находил это чрезвычайно унизительным, а под конец и противным. Если бы они договорились обходиться без половых отношений, Уинстон смирился бы с совместной жизнью. Как ни странно, Кэтрин отказалась. «Мы должны родить ребенка», — заявила она. Исполнение супружеского долга происходило регулярно — раз в неделю, если тому ничего не препятствовало. Она даже напоминала ему утром, словно речь шла об обязанности по дому, которую непременно следует выполнить вечером. Кэтрин использовала два выражения: «сделать ребенка» и «наш долг перед Партией» (она и в самом деле так выражалась!). Уинстон стал ожидать назначенного дня со страхом. К счастью, зачать ребенка не получилось, Кэтрин признала, что пора оставить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон неслышно вздохнул, снова взялся за перо и написал:

Она улеглась на кровать и сразу, безо всяких прелюдий, самым отвратительным и пошлым образом задрала юбку.

Я…

Он стоял в тусклом свете лампы, в нос била вонь клопов и дешевых духов, сердце саднило от горечи поражения и обиды. Внезапно Уинстону вспомнилось белое тело Кэтрин, навеки застывшее под гипнозом Партии. Почему всегда так? Почему нельзя быть с женщиной постоянно, вместо этой мерзкой возни раз в несколько лет? Увы, нечего и думать о том, чтобы завести роман. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие въелось в них так же глубоко, как и преданность Партии. Естественное чувство вытравляют из них с детства: продуманным воспитанием, играми и холодными обливаниями, чушью, которой им забивают головы в школе, в Разведчиках и Юношеской лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и маршами. Рассудок говорил Уинстону, что исключения наверняка есть, но сердце не верило. Все они непробиваемы, как и задумано Партией. Ему хотелось даже не столько быть любимым, сколько сломать стену добродетели, хотя бы раз в жизни. Полноценный половой акт — мятеж, желание близости — помыслокриминал. Даже пробудить чувства в Кэтрин, собственной жене, если бы ему удалось,

было бы сродни совращению.

Историю следовало закончить. Уинстон написал:

Я прибавил огня. Увидев ее при свете…

После полумрака слабый свет керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то Уинстон разглядел женщину как следует. Он шагнул вперед и замер, переполненный похотью и ужасом. Придя сюда, он рисковал многим. Вполне вероятно, что патруль задержит его при выходе — может, они сейчас поджидают прямо у дверей. Даже если уйти, не сделав того, ради чего он здесь…

Это нужно записать, он должен облегчить душу. При свете лампы Уинстон увидел, что женщина старая! Краска покрывала ее лицо густо, как штукатурка, того и гляди треснет. В волосах блестела седина, а страшнее всего был чуть проваленный, приоткрытый рот без единого зуба.

Уинстон торопливо записал корявыми буквами:

Когда я увидел ее при свете, то понял: она очень старая, точно за пятьдесят. Но я двинулся к ней и все равно сделал то,

за чем пришел.

Он снова прижал пальцы к глазам. Хотя Уинстон смог себя пересилить и записал все как было, лекарство не сработало. Желание грязно браниться во весь голос никуда не делось.

VII

«Если и есть надежда, то она заключена в пролах», — записал Уинстон.

Если надежда есть, то она должна заключаться в пролах, ведь только эта зыбкая, отверженная масса, составляющая 85 процентов населения Океании, и способна стать силой, которая уничтожит Партию. Изнутри Партию не одолеть. Ее враги, если они вообще есть, лишены возможности объединиться, узнать друг друга. Даже если легендарное Братство существует, входящим в него никогда не собраться больше, чем по двоетрое. Мятеж проявляется во взгляде, в интонации, максимум в слове, произнесенном шепотом. Зато пролам, если только они осознают собственную силу, незачем устраивать тайные заговоры. Им нужно просто встряхнуться — как лошадь стря-

хивает мух. Если захотят, пролы могут разорвать Партию на куски завтра же утром. Разумеется, рано или поздно до них дойдет, и все же…

Уинстон вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и вдруг из узкого проулка чуть впереди раздался рев сотен женских глоток. То был грозный крик гнева и отчаяния, глубокое, громкое: «Ох-о-о-ох!» — еще долго гудело, словно звон колокола. Сердце у Уинстона дрогнуло. Началось, подумал он. Бунт. Пролы наконец-то сорвались с цепи! Подойдя ближе, он увидел толпу из двухсот-трехсот женщин, сгрудившихся у прилавков на рынке, — лица трагичные, как у пассажиров тонущего корабля. Но тут же в единый миг общее отчаяние разбилось на множество мелких свар. За этим прилавком, очевидно, продавали оловянные сотейники. Пусть паршивые, пусть нескладные, но любых видов кастрюльки достать всегда трудно. И вдруг товар закончился. Счастливые покупательницы пытались пробиться сквозь толчею с добычей, те, кому не хватило, громогласно честили продавца, мол, только своим отпускает и прячет товар под прилавком. Снова поднялся крик. Две растрепанные толстухи яростно схватились за один сотейник, каждая тянула к себе, пока не оторвались ручки.

Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же на краткий миг пара сотен глоток испустила вопль, в котором прозвучала грозная, пугающая сила. Почему они никогда не кричат так из-за того, что действительно важно?

Уинстон написал:

Пока они не обретут самосознание, они не восстанут, а до тех пор, пока не восстанут, самосознание им не обрести.

Похоже на конспект из партийного учебника, подумал Уинстон. Партия, само собой, утверждает, что освободила пролетариев от оков. До Революции их жестоко угнетали капиталисты, они голодали и подвергались телесным наказаниям, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины там до сих пор трудятся), детей продавали на фабрики в шестилетнем возрасте. Но одновременно Партия учит, в полном соответствии с принципом двоемыслия, что пролы — существа низшего сорта, которых нужно держать в подчинении как животных, соблюдая несколько простых правил. На самом деле о пролах известно очень мало. Пока они продолжают работать и плодиться, их остальные дела никому

не интересны. Предоставленные сами себе, словно скот на равнинах Аргентины, они неизменно возвращаются к своему естественному образу жизни, порядку, как бы унаследованному от предков. Они рождаются и растут в трущобах, в двенадцать лет идут на работу, после короткой поры созревания красоты и полового влечения женятся в двадцать, в тридцать уже стареют, потом умирают по большей части в шестьдесят. Их кругозор ограничен тяжелым физическим трудом, заботой о доме и детях, мелкими ссорами с соседями, кино, футболом, пивом и, конечно, азартными играми. Держать их под контролем несложно. Среди них всегда полно агентов полиции помыслов, они разносят ложные слухи, выискивают и устраняют тех немногих, кто может представлять опасность, однако попыток внушить им партийную идеологию не предпринимается. Политических взглядов пролам иметь не положено. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему в случае необходимости: заставлять работать больше часов или мириться с сокращением пайка. Даже если пролов иногда охватывает недовольство, это не приводит ни к чему: у не постигающих общие жизненные принципы смута выливается в мел-

кие дрязги. Крупные невзгоды от их внимания неизменно ускользают. В домах у подавляющего большинства пролов нет телеэкранов. Уровень преступности в Лондоне высокий, преступная среда образует своего рода государство в государстве, но воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками и аферисты всех мастей гражданскую полицию не интересуют, пока варятся в своем соку, и она в их дела практически не вмешивается. Во всех вопросах морали пролам дозволено следовать обычаям предков. На них не распространяются пуританские взгляды Партии на секс. Беспорядочные половые сношения не наказываются, разводы разрешены. В принципе, пролам могли бы позволить даже отправление религиозных обрядов, если бы они выказали такое желание. Пролы ниже подозрений. Или, как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон наклонился и осторожно почесал ногу. Язва снова зудела. Он не мог не думать, что нет ни малейшей возможности узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Достав из ящика школьный учебник истории, взятый у миссис Парсонс, Уинстон начал выписывать из него в дневник:

В прежние времена, до победоносной Революции, – говорилось в нем, – *Лондон был совсем не тем прекрасным городом, который мы знаем. Темное, грязное, скверное место, где люди голодали, где сотни тысяч бедняков ходили босыми и не имели крыши над головой. Детям не старше тебя приходилось трудиться по двенадцать часов на жестоких хозяев, поровших их кнутами, если те работали слишком медленно, и державших бедняг на черствых сухарях и воде. Среди этой ужасной нищеты высились несколько больших, красивых зданий, где жили богачи, которых обхаживало до тридцати слуг. Богатых людей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми, со злобными лицами. На картинке справа – капиталист, одетый в длинный черный пиджак под названием фрак и нелепую блестящую шляпу в форме печной трубы под названием цилиндр. Такой была форма, и кроме них больше никому не позволялось ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а все остальные считались их рабами.*

Они владели всей землей, всеми домами, всеми фабриками и всеми деньгами. Того, кто им не подчинялся, могли бросить в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Если обычный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать кепку и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался король, а…

Остальное в этом перечне Уинстону было известно. Далее последуют епископы с батистовыми рукавами, судьи в отделанных горностаем мантиях, позорные столбы, колодки, топчак, плетки-девятихвостки, банкет у лорд-мэра и обычай целовать туфлю Папы. Было еще и *jus primae noctis*, так называемое право первой ночи, о чем в учебниках для младших классов вряд ли пишут. Каждый капиталист имел право переспать с любой женщиной, работавшей на его фабрике.

Как узнать, что из этого ложь? Может статься, среднему человеку сейчас живется лучше, чем до Революции. Единственное доказательство обратного — внутренний немой протест, безотчетное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы и так было не всегда. Уинстону пришло в

голову, что отличительная черта современной действительности вовсе не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а убожество. Ни малейшего сходства с тем, что потоками льется с телеэкранов, не говоря уже об идеалах, к которым стремится Партия. Даже партийцы тратят бóльшую часть времени не на политику, а на скучную работу и борьбу за место в подземке, штопают дырявые носки, выпрашивают лишнюю таблетку сахарина, курят бычки. Партийный идеал — огромный, прекрасный и сверкающий мир, союз стали и бетона, исполинских машин и страшного оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в едином порыве, думают одно и то же, кричат одни и те же лозунги, вечно работают, сражаются, побеждают, карают — триста миллионов человек на одно лицо. В реальности же хиреющие города, грязные улицы, где бродят полуголодные жители в дырявой обуви и стоят покосившиеся домишки прошлого века, насквозь провонявшие капустой и уборной. Перед мысленным взором Уинстона раскинулся разоренный Лондон, город миллиона мусорных баков, спаянный с образом миссис Парсонс, женщина с морщинистым лицом и растрепанными волосами, которая беспомощно возится с засором

в трубе.

Он наклонился и снова почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны бьют тебя по ушам статистикой, доказывающей, что сегодня у людей больше еды и одежды, дома́ лучше, что живут они дольше, работают меньше, отдыхают больше, стали выше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. И ничего не докажешь, ничего не опровергнешь. К примеру, Партия заявляет, что сегодня грамотой владеют сорок процентов взрослых пролов, а до Революции — всего пятнадцать. Партия заявляет, что детская смертность составляет сто шестьдесят младенцев на тысячу, а до Революции — триста. И так далее. Словно уравнение с двумя неизвестными. Вполне может статься, что практически каждое слово в учебниках истории — чистой воды выдумка. И не было до Революции никакого *jus primae noctis*, ни капиталистов, ни цилиндров.

Все как в тумане. Прошлое стирают, потом забывают, и ложь становится правдой. Лишь раз в жизни Уинстону попалось *–после* самого события, вот что самое главное! — явное, безошибочное свидетельство фальсификации. Он держал его в руках секунд тридцать. Это было году в семьдесят третьем… когда они с Кэтрин расстались. Само

событие произошло семью или восемью годами ранее.

Эта история началась еще в середине шестидесятых, во время массовых чисток, в которых разом канули бывшие лидеры Революции. К семидесятому году не осталось никого, кроме Большого Брата. Всех прочих уличили в измене и контрреволюционной деятельности. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, некоторые просто испарились, а большинство казнили после громких публичных судов, где они признались в своих преступлениях. Среди последних уцелевших были трое деятелей по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в шестьдесят пятом. Как часто случается, они пропали на год-другой, никто не знал, живы они или мертвы, как вдруг все трое объявились с покаянными излияниями. Признались в сговоре с врагом (на тот момент им тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах всевозможных деятелей Партии, кознях против Большого Брата задолго до Революции и диверсиях, приведших к гибели сотен тысяч жертв. После признания их помиловали, восстановили в Партии, поставили на ответственные должности, бывшие, по сути, синекурами. Все трое написа-

ли для «Таймс» длинные статьи, где каялись в преступлениях, разбирали мотивы своего отступничества и обещали исправиться.

Вскоре после освобождения Уинстон видел всех троих в кафе «Каштан». Он наблюдал за ними как завороженный, одновременно ужасаясь и не в силах не смотреть. Реликты древнего мира, они были гораздо старше его, почти последние великие деятели, составлявшие героическое прошлое Партии. Их осенял отблеск подпольной борьбы и гражданской войны. Хотя уже тогда факты и даты приобретали смутные очертания, Уинстону казалось, что их имена услышал раньше имени Большого Брата. Вместе с тем вся троица — преступники, враги, неприкасаемые, обреченные на уничтожение в ближайшие год-два. Никто из попавших в лапы полиции помыслов еще не избегал такого конца. Они мертвецы, ожидающие отправки обратно в могилу.

Соседние столики пустовали: никто не рисковал появляться в компании подобных людей. Трое молча сидели за джином, приправленным гвоздикой, — фирменным напитком кафе. Особенно Уинстона поразил Резерфорд, некогда известный карикатурист, чьи безжалостные шаржи разжигали страсти, подогревая общественное

мнение до и во время Революции. Даже теперь, хотя и с большими перерывами, его рисунки появлялись в «Таймс» — бледное подражание прежним карикатурам, на диво безжизненные и малоубедительные. В них повторялись одни и те же старые темы: трущобы, голодающие дети, уличные бои, капиталисты в черных цилиндрах (даже на баррикадах капиталисты цеплялись за свои цилиндры) — бесконечная, безнадежная попытка вернуться в прошлое. На вид Резерфорд казался чудищем: огромное тело, грива сальных волос, одутловатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, по-негритянски вывернутые губы. Когда-то, видимо, он был незаурядно физически силен, теперь же мускулистое тело расплылось, обвисло, где-то вздулось, где-то ввалилось: он разваливался на глазах, словно осыпающаяся скала.

В кафе было почти пусто, посетителей в пятнадцать часов всегда немного. Уинстон не помнил, зачем пришел туда в такой час. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка. Все трое сидели в углу почти без движения, совершенно молча. Не дожидаясь просьбы повторить, официант принес еще три стакана джина. На столике позади них лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. И

вдруг, пожалуй, всего на полминуты, с телеэкранами что-то случилось. Сменилась звучавшая с них мелодия, изменилась и тональность музыки. В ней слышалось… даже трудно описать. Слышалось в этой мелодии (Уинстон мысленно назвал ее бульварщиной) нечто необычное, надсадное, истошное, глумливое. А потом с телеэкрана голос пропел:

Под раскидистым каштаном
Сдал я тебя, а ты меня.
Под раскидистым каштаном
Ты лежишь и рядом я.

Трое не шелохнулись. Но, когда Уинстон снова глянул на мертвенное лицо Резерфорда, в глазах у того стояли слезы. И тогда Уинстон впервые заметил, внутренне содрогнувшись, но так и не осознав, чему он содрогнулся, что и у Аронсона, и у Резерфорда сломаны носы.

Немного погодя всех троих снова арестовали. Выяснилось, что сразу после освобождения они вступили в очередной заговор. На втором суде трое опять признались в старых преступлениях и целой куче новых. Их казнили, а деяния увековечили в истории Партии как предостережение для грядущих поколений. Лет через пять, в семьдесят

третьем, Уинстон развернул бумажки, выпавшие из пневмотрубы на рабочий стол, и обнаружил случайно затесавшийся между ними листок. Его важность он понял сразу. Это была вырезка из газеты десятилетней давности — верхняя половинка страницы — с датой и фотографией делегатов на каком-то партийном мероприятии в Нью-Йорке. Прямо в центре группы стояли Джонс, Аронсон и Резерфорд. Узнать их не составило труда, к тому же под снимком напечатали имена.

На обоих судах все трое признались, что в тот самый день находились на территории Евразии. Они вылетели с секретного канадского аэродрома в Сибирь и провели переговоры с генеральным штабом Евразии, которому и передали важные военные тайны. Дата врезалась Уинстону в память, потому что выпала на День летнего солнцестояния. Наверняка мероприятие широко освещалось, что зафиксировано в массе других источников. Отсюда могло следовать только одно: все их признания — ложь.

Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действительно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказатель-

ство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разъяснить людям, почему это так важно, — хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.

Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удается контролировать, другое дело — унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.

Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень

важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не существует?

Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:

Я понимаю как. *Понять не могу* зачем.

Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня — что прошлое неизменно. Воз-

можно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?

Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять, — и придется в это поверить. Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь — здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?

Нет уж! Внезапно к Уинстону вернулось мужество. В сознании возникло лицо О'Брайена, просто так, без видимых причин. Теперь он точ-

но знал, что О'Брайен на его стороне. Он ведет дневник для О'Брайена и обращается к О'Брайену. Словно пишет бесконечное письмо, которое никто не прочтет, зато конкретность адресата придает писанине красок.

Партия велит не верить своим глазам и ушам. Это и есть ее окончательный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало при мысли, какой колоссальной силе он противостоит, с какой легкостью отметет его доводы любой партийный деятель, какими изощренными аргументами закидает… их не то что опровергнуть, понять-то невозможно… И все же ошибаются они, а он прав! Очевидное, простое, истинное нужно защищать. Прописные истины не лгут, их и надо держаться! Незыблемый мир существует, законы его неизменны. Камни — твердые, вода — мокрая, подброшенный предмет падает вниз. Чувствуя, что обращается к О'Брайену и вместе с тем выдвигает важную аксиому, он вывел:

> *Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем. Если это обеспечено, все остальное приложится.*

VIII

Из глубины боковой улочки донесся аромат жареного кофе, настоящего, не «Победы». Уинстон невольно замер. На пару секунд он перенесся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь, и запах исчез.

Он прошел по улицам несколько километров, и язва на ноге разболелась. Уже второй раз за три недели он пропустил вечер во Дворце культуры: опрометчивый поступок, учитывая, что количество посещений тщательно проверяют. По идее, свободного времени у членов Партии нет вовсе, а в одиночестве они остаются лишь в своей постели. Предполагается, что, когда ты не работаешь, не ешь и не спишь, то принимаешь участие в коллективных мероприятиях, поэтому заниматься чем-то в одиночку, хотя бы просто гулять по улицам, опасно. В новослове даже существует такой термин: *«самобыт»*, означающий индивидуализм и чудачество. Но благоуханный апрельский воздух заставил Уинстона забыть об осторожности. Небо голубело так нежно, что, выйдя из министерства, он понял: очередного длинного, шумного вечера в ДК, где ждут его

скучные настольные игры, лекции, натужное общение с товарищами по Партии, щедро сдобренное джином, он просто не вынесет. Повинуясь внезапному порыву, Уинстон свернул в противоположную автобусной остановке сторону и побрел по лабиринту улочек Лондона куда глаза глядят: сначала на юг, потом на восток, затем на север.

«Если и есть надежда, — написал он в дневнике, — то она заключается в пролах». Фраза продолжала его преследовать: мистическая истина и явная нелепость. Уинстон очутился в глухих, бурых трущобах к северо-востоку от места, где раньше был вокзал Сент-Панкрас. Он шел по мощеной улице с двухэтажными домишками, чьи обветшалые подъезды выходили прямо на тротуар и сильно смахивали на крысиные норы. Среди брусчатки виднелись грязные лужи. И в темных проемах, и в тесных проходах между домами сновали целые толпы: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, и бегающие за ними парни, и ходящие вразвалочку обрюзгшие тетки, глядя на которых понимаешь, во что превратятся эти девушки лет через десять, и шмыгающие подошвами согбенные старухи, и босые детишки-оборванцы, что играют в лужах и разбегаются от

сердитых окриков матерей. Около четверти окон на улице были разбиты и заколочены досками. Большинство пролов не обращали на Уинстона внимания, лишь некоторые поглядывали с настороженным любопытством. В дверях стояли и, сложив на фартуках кирпично-красные ручищи, беседовали две пугающе громадные бабы. Подходя, Уинстон расслышал обрывок разговора.

— Так-то оно так, говорю я ей, только на моем месте, говорю, ты бы сделала то же самое. Судить-рядить-то всяк горазд, а тебе б мои проблемы!

— Ну да, — кивнула вторая, — так и есть. Куда уж ей понять!

Громкие голоса резко оборвались. Женщины проводили Уинстона враждебным молчанием. Впрочем, вряд ли враждебным, опасливым, с каким оглядывают проходящего рядом незнакомого зверя. Едва ли синий комбинезон партийца видят на подобных улицах часто. На самом деле заявляться в кварталы пролов по собственной инициативе неразумно. Нарвешься на патруль, придется отвечать на вопросы. «Будьте добры предъявить свои документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вышли с работы? Вы всегда идете домой этой дорогой?» — и так далее, и тому подобное. Ходить по непривычному маршруту не

возбраняется, но полицию помыслов это точно насторожит.

Внезапно улица пришла в смятение. Со всех сторон раздались крики предостережения. Люди ныряли в дверные проемы, словно кролики. Чуть впереди Уинстона молодая мать выскочила из дома, выхватила из лужи малыша, обернула передником и тут же шмыгнула обратно. Из боковой улочки выбежал человек в мятом, будто жеваном, костюме и кинулся к Уинстону, встревоженно тыча в небо.

— Паровик! — заорал он. — Хоронись, начальник! Бабах сверху! Ложись!

Паровиками пролы почему-то называли ракетные боеголовки. Уинстон поспешно упал ничком. Пролы в таких делах редко ошибаются. У них какое-то особое чутье, которое срабатывает за несколько секунд до удара, хотя ракеты летят быстрее звука. Уинстон накрыл голову руками. От взрыва содрогнулся тротуар, на спину дождем посыпался легкий мусор. Поднявшись, он обнаружил на одежде осколки ближайшего окна.

Уинстон пошел дальше. Ракета разворотила несколько домов метрах в двухстах впереди. В небе висел столб черного дыма, в клубах пыли возле развалин собиралась толпа. Тротуар зава-

лила куча штукатурки с ярко-красным пятном посередине. Подойдя ближе, Уинстон разглядел на куче оторванную человеческую кисть. Если не считать окровавленного среза, побелевшая рука выглядела словно гипсовый слепок. Отшвырнув обрубок ногой в канаву, Уинстон свернул направо, чтобы разминуться с толпой.

Через три-четыре минуты он вышел из района падения ракеты, за пределами которого убогая жизнь трущоб кишела как ни в чем не бывало. Время приближалось к двадцати часам, и питейные заведения для пролов (те называли их пабами) ломились от посетителей. Грязные двухстворчатые двери беспрестанно открывались и закрывались, изнутри несло мочой, древесными опилками и кислым пивом. В углу возле выступающей стены сгрудились три прола: тот, что в центре, держал сложенную газету, а двое других заглядывали ему через плечо. Издалека лиц не разобрать, зато позы выражали полную сосредоточенность. Казалось, пролы обсуждали какую-то очень важную новость. Когда Уинстону оставалось до них несколько шагов, троица внезапно разделилась, и двое принялись яростно спорить, того и гляди пустят в ход кулаки.

— Совсем оглох? Говорю же, за четырнадцать

месяцев ни один номер с семеркой на конце не выигрывал!

— А вот и нет!

— А вот и да! Дома у меня есть бумажка с номерами за два года! Говорю же, ни один номер с семеркой…

— Семерка выигрывала! Я тот чертов номер помню почти наизусть! Заканчивается на четыре-ноль-семь. В феврале то было, вторая неделя февраля.

— Да иди ты со своим февралем знаешь куда! У меня все черным по белому записано. Говорю же, ни один номер…

— Заглохли! — прикрикнул третий.

Обсуждалась Лотерея. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Пролы все еще увлеченно спорили. Похоже, еженедельная Лотерея с ее огромными выигрышами была единственным общественным событием, живо интересовавшим пролов. Миллионы их только ею и живут: для кого услада, для кого страсть, для кого средство от всех скорбей и болезней. Даже те, кто едва способен читать и писать, блистают сложнейшими расчетами и феноменальной памятью во всем, что касается Лотереи. Продажами всевозможных систем, прогнозов и талисманов промышляет

целая группировка. Уинстон не имел к Лотерее никакого отношения: ею занималось министерство благоденствия — просто ему было известно (на деле про то осведомлены были все в Партии), что выигрыши по большей части мнимые. Выплачиваются только мизерные суммы, а обладатели крупных призов — лица вымышленные. В отсутствие сообщения между разными частями Океании устроить это нетрудно.

Но если и есть надежда, то она в пролах. Этой истины и будем придерживаться. Облеченная в слова, она звучит вполне разумно, когда видишь людей, спешащих мимо по тротуару, она становится испытанием веры. Улица, на которую Уинстон свернул, пошла под уклон. Район выглядел смутно знакомым, неподалеку вроде бы находилась внутригородская магистраль. Впереди раздался гомон голосов. Крутой поворот, и лестница вывела в проулок, где лавочники торговали привядшими овощами. Уинстон понял, куда забрел: проулок ведет на магистраль, за следующим поворотом, минутах в пяти ходьбы, та самая лавка старьевщика, где он купил книгу с пустыми листами для дневника. Чуть поодаль находится писчебумажный магазинчик, где он приобрел ручку и чернила.

На верхней ступеньке Уинстон помедлил. В дальнем конце проулка притулился захудалый маленький паб с как бы заиндевевшими (на самом деле просто заросшими пылью) окнами. Глубокий старик с усами, как у таракана, скрюченный, но весьма бодрый, толкнул двойные двери и вошел внутрь. Уинстону пришло в голову, что ему лет восемьдесят, значит, Революцию встретил уже немолодым, он и его сверстники — последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии осталось мало тех, чьи взгляды сложились до Революции. Старшее поколение по большей части кануло в массовых чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногие уцелевшие запуганы до такой степени, что полностью отступились от прежних взглядов. Если кто из ныне живущих и способен рассказать правду об условиях жизни в начале века, так это прол. Внезапно Уинстону вспомнился фрагмент из школьного учебника истории, который он переписал в дневник, и у него возникла безумная идея. Нужно отправиться в паб, познакомиться с тем стариком и расспросить его хорошенько: «Расскажите о своем детстве. Как вам тогда жилось? Лучше или хуже, чем сейчас?»

Торопливо, боясь передумать, он спустился

по ступеням и пересек узкую улочку. Чистое безумие! Как водится, никакого прямого запрета на посещение пабов и разговоры с пролами не существовало, но за такое сумасбродство наверняка придется ответить. Если нагрянет патруль, можно сослаться на внезапную слабость, хотя вряд ли ему поверят. Уинстон толкнул двери, и в лицо ударила вонь кислого пива. Когда он вошел, гомон голосов снизился примерно вполовину. Все воззрились на синий комбинезон партийца. Игра в дартс в конце паба замерла секунд на тридцать. Старик, за кем следовал Уинстон, стоял у стойки, препираясь с барменом, дородным, упитанным молодым человеком с крючковатым носом и могучими ручищами. Вокруг толпились посетители со стаканами в руках, наблюдая за происходящим.

— Я ж с тобой вполне вежливо, по-людски, — недовольно бурчал старик, воинственно расправляя плечи. — А ты, кровосос, мне про то, что во всей твоей клятой забегаловке не сыщется кружка в пинту?

— Что, черт, за название такое пинта? — подался вперед бармен, упершись пальцами в стойку.

— Ишь ты! Бармен называется, а что такое пинта не знает. Пинта — это полкварты, четыре

кварты — галлон. Мож, тебя еще и алфавиту придется учить?

— Никогда не слыхал о таком, — отрезал бармен. — Литр и пол-литра, мы только в таких подаем. Стаканы на полке прямо перед вами.

— Хочу пинту! Мог бы и нацедить старику. В мое время никаких клятых литров и помину не было.

— В ваше время, папаша, все жили на деревьях, — заявил бармен, бросив взгляд на посетителей.

Те взревели от смеха, и неловкость, вызванная приходом Уинстона, вроде бы исчезла. Усатый старик побагровел. Он отвернулся, бормоча себе под нос, и врезался в Уинстона. Тот бережно взял его под руку.

— Позвольте вас угостить, — предложил он.

— Уважь! — обрадовался тот, расправив плечи. Внимания на синий комбинезон Уинстона он, похоже, не обратил. И сварливо добавил: — Пинту! Пинту эля.

Бармен подхватил два пол-литровых бокала, ополоснул в ведре под стойкой и налил темного пива. В пабах пролов не подавали ничего, кроме пива. Джин им не положен, хотя при желании его можно раздобыть. Игра в дартс возобновилась, компания у стойки заговорила про лотерейные

билеты. Об Уинстоне ненадолго забыли. Заметив у окна свободный стол из сосновых досок, он решил расспросить старика там. Конечно, затея ужасно опасная, но телеэкранов в зале нет, Уинстон убедился в том сразу, едва вошел.

— Мог бы и пинту мне поставить, — проворчал старик, устраиваясь с бокалом. — Пол-литра маловато, не напиваешься. А целый литр слишком много, потом не набегаешься. Не говоря уж про цену.

— Со времен вашей молодости многое, должно быть, изменилось, — осторожно начал Уинстон.

Взгляд бледно-голубых глаз прошелся от мишени для дартса к стойке, от нее к двери туалета, словно старик ожидал увидеть перемены прямо в пабе.

— Пиво было лучше, — наконец проговорил он. — И дешевле! Я когда молодым был, мягкое пиво… — мы его крепышом звали — было по четыре пенса за пинту. Это до войны, конечно.

— До какой войны? — спросил Уинстон.

— До всех войн, — уклончиво ответил старик. Он поднял бокал и снова распрямил плечи. — Ну, твое здоровье!

Заостренный кадык на тощем горле на удивление шустро заходил вверх-вниз, и пиво исчезло.

Уинстон сбегал к стойке и вернулся еще с двумя бокалами. Похоже, старик забыл о своем предубеждении против целого литра.

— Вы намного меня старше, — заговорил Уинстон. — Наверное, стали взрослым задолго до моего рождения и помните, каково жилось в старину, до Революции. Мои сверстники знают о тех временах только из книг, но правду ли там пишут? Хотел бы узнать ваше мнение. В учебниках по истории говорится, что жизнь до Революции была совершенно другой. Страшная, невообразимая бедность, несправедливость, угнетение. В Лондоне огромные массы людей голодали с рождения до смерти, половина из них ходила босиком. Работали по двенадцать часов в день, в девять лет бросали школу, спали по десять человек в комнате. А вместе с тем очень немногие, всего несколько тысяч — их капиталистами звали, — жили богато и владели всем, чем можно. Занимали роскошные дома с тридцатью слугами, разъезжали на автомобилях и в запряженных четверкой лошадей каретах, пили шампанское, носили цилиндры…

Старик внезапно оживился.

— Цилиндры! — воскликнул он. — Забавно, что ты про них вспомнил. Я вчерась тоже… невесть

почему. Подумалось, уж сколько лет их не видать! Пропали прям. Я последний раз такой надевал на похоронах невестки. Когда точно, не скажу, лет пятьдесят тому. Не свой, ты ж понимаешь, напрокат брал для церемонии.

— Дело вовсе не в цилиндрах, — терпеливо сказал Уинстон. — Эти капиталисты вместе со своими адвокатами, духовенством и прочими, кто при них кормился, владели всем миром. Все существовало только ради их блага. Вы, обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли делать с вами все что угодно. Могли отправить в Канаду как скот, могли спать с вашими дочерьми, могли приказать выпороть вас плетками-девятихвостками. Перед ними приходилось снимать шапку. Каждый капиталист разгуливал с оравой лакеев, которые…

Старик снова встрепенулся.

— Лакеи! — воскликнул он. — Давненько не слыхал! Лакеи! Помню-помню! Черт знает сколько лет назад… в общем, по воскресеньям я хаживал в Гайд-парк речи послушать. Армия спасения, римские католики, евреи, индусы — кого туда только не заносило. И вот один парень… имени не скажу, но как говорил — заслушаешься! Спуску им не давал. Лакеи, кричал он, лакеи

буржуазии! Холуи правящего класса! Паразиты! Как только не костерил. И гиены! Точно, гиенами тоже называл. Само собой, это про партию лейбористов, ты ж понимаешь.

Уинстона не покидало ощущение, что говорят они о разном.

— Меня интересует другое, — сказал он. — Свободнее ли вам живется, чем тогда? С вами лучше обращаются? В прежние времена богачи, правящая верхушка…

— Палата лордов, — задумчиво пробурчал старик.

— Ну да, она самая, если угодно. Я вот о чем: с вами обращались свысока просто потому, что они богатые, а вы бедный? К примеру, правда ли, что капиталистов надо было называть сэрами и снимать перед ними кепку?

Старик крепко задумался и отпил четверть бокала.

— Да, — ответил он. — Им нравилось, когда ты честь отдавал. Знак уважения как бы. Сам-то я был против, но тоже так делал. Приходилось, ты ж понимаешь.

— А считалось ли в порядке вещей… я сам прочел в учебнике истории… часто ли богачи и их слуги сталкивали вас с тротуара в канаву?

— Разок было дело, — кивнул старик. — Помню как вчера! В вечер Лодочной гонки… любили они покуражиться после гонки… столкнулся я с одним таким на Шафтсбери-авеню. Настоящий джентльмен: сорочка парадная, цилиндр, черное пальто. Идет, вишь, зигзагами, ну, я в него ненароком и врезаюсь. Орет мне: не видишь, куда прешь? А я ему: думаешь, весь клятый тротуар купил? Он мне: не дерзи, не то башку откручу. А я ему: ты пьяный, щас полиции тебя сдам! Хотите верьте, хотите нет, хватает он меня за грудки и толкает чуть ли не под автобус. Ну а я-то тогда молодой был, уж и навешал бы ему, если б…

Уинстон беспомощно сник. Память старика — просто груда хлама. Хоть целый день расспрашивай, толку никакого. История Партии может быть правдой отчасти, а может и целиком. Он сделал последнюю попытку.

— Видимо, я неясно выразился. Вот что я хочу сказать: вы живете очень давно, половина жизни прошла до Революции. К примеру, в тысяча девятьсот двадцать пятом вы уже были взрослым. Вам как помнится, в двадцать пятом жилось лучше или хуже? Если выбирать, вы когда хотели бы жить, тогда или сейчас?

Старик, задумчиво глядя на мишень, медленно

осушил бокал. Заговорил он философски снисходительно, словно смягчился от пива.

— Знаю, чего ты ждешь. Мол, скажу, что обратно хочу молодым стать. Многие так и скажут. В молодости и здоровья хватает, и сил. Как до моих-то лет добираешься, уж никакого здоровья нет. Ноги еле ходят, мочевой пузырь замучил. За ночь по шесть-семь раз встаю. Обратно же, старику свои радости! Никаких тех забот. Никаких баб не надо, а это великое дело. Я с бабой уж лет тридцать не путался, поверишь? Того больше — и желания не было.

Уинстон откинулся к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, и вдруг старик поднялся и поспешно зашаркал к пропахшей мочой части паба. Лишние пол-литра дали о себе знать. Уинстон посидел, глядя в пустой стакан, и едва заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Лет через двадцать на простой вопрос: «Как жилось до Революции?» — не сможет ответить никто. По сути, на этот вопрос уже некому отвечать: немногие уцелевшие с тех времен не способны сравнить две эпохи. Помнится миллион ненужных вещей: ссора с напарником, поиски потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сест-

ры, клубы пыли ветреным утром семьдесят лет назад, — зато все главные факты из поля зрения выпадают. Когда откажет память, а письменные свидетельства заменят подделками, когда это произойдет, то все поверят Партии, что условия жизни улучшились, ведь будет не с чем сравнивать…

Внезапно ход мыслей Уинстона резко оборвался. Он остановился и поднял взгляд. Узкая улица с темными магазинчиками среди жилых домов, прямо над головой — облезлые металлические шары, некогда позолоченные. Знакомое место. Ну конечно! Уинстон стоял возле лавки старьевщика, где купил свой дневник.

Его охватил страх. После той опрометчивой покупки он дал себе слово никогда не возвращаться в лавку. И все же стоило впасть в раздумья, как ноги сами принесли его сюда. Дневник Уинстон завел как раз для того, чтобы избавиться от подобных самоубийственных порывов. Тем не менее заметил, что, несмотря на поздний час — было около двадцати ноль-ноль, — лавка открыта. Чем маячить перед входом, лучше зайти внутрь, рассудил Уинстон. Если спросят, скажет, что искал бритвенные лезвия.

Хозяин лавки подвесил зажженную кероси-

новую лампу, от которой исходил резкий, но какой-то мирный запах. Книжнику было лет шестьдесят, тело хрупкое и сутулое, нос длинный и крупный, искаженные толстыми линзами очков глаза смотрели ободряюще. Волосы почти седые, зато брови густые и черные. Очки, спокойные хлопотливые движения, потертый пиджак из черного бархата придавали ему интеллигентный вид: то ли литератор, то ли музыкант. Голос его звучал мягко, словно вылинял, и выговор не так резал ухо, как у большинства пролов.

— Я узнал вас еще на тротуаре! Вы тот джентльмен, который купил альбом для девушек. Бумага там красивая, конечно. Ее называли «верже сливочного цвета». Такой больше не делают — сколько? — лет пятьдесят, пожалуй. — Он посмотрел на Уинстона поверх очков. — Ищете что-нибудь особенное или просто поглядеть зашли?

— Мимо проходил, — неохотно признался Уинстон. — Ничего конкретного я не ищу.

— Вот и хорошо, — сказал хозяин, — потому что предложить мне нечего. — Он виновато развел руками. — Сами видите, в лавке хоть шаром покати. Между нами говоря, торговля антиквариатом умирает. Спроса нет, предложения тоже. С годами

мебель поломалась, фарфор и стекло разбились. Металлические изделия по большей части пошли в переплавку. Латунных подсвечников я не видел уже много лет.

Крохотную лавку и впрямь загромождал старый хлам, ничего мало-мальски ценного. Всю полезную площадь вдоль стен занимали пыльные рамы для картин, на окне стояли лотки с гайками и болтами, сточенными стамесками, перочинными ножиками со сломанными лезвиями, потускневшими наручными часами, даже не пытавшимися прикинуться исправными, и прочим старьем. Лишь столик был отведен под более сто́ящие: лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобную мелочь, — среди которых могло отыскаться что-то интересное. Уинстон заметил какую-то гладкую штуку, нежно мерцавшую при свете лампы, и взял в руки.

Это был тяжелый кусок стекла — округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий полусферу. И в цвете, и в фактуре присутствовала необычайная мягкость, свойственная дождевой воде. В середине находился какой-то причудливый розовый завиток, напоминающий розу или актинию.

— Что это? — восхищенно спросил Уинстон.

— Коралл, — ответил старик. — Должно быть, с Индийского океана. Раньше их заливали прозрачным стеклом. Изготовлено не менее ста лет назад или даже больше, судя по виду.

— Красивая вещица, — проговорил Уинстон.

— Красивая, — одобрительно кивнул старик. — Сегодня это мало кто ценит. — Он прочистил горло. — Что ж, могу уступить за четыре доллара. Помню, когда-то за подобную вещицу давали восемь фунтов — сколько это не скажу, но очень много. Впрочем, кому сейчас нужны подлинные старинные диковинки?

Уинстон немедленно отсчитал деньги и сунул заветную вещицу в карман. Его привлекла не столько ее красота, сколько возможность обладать предметом из совершенно другой эпохи. Гладкое, похожее на дождевую воду стекло разительно отличалось от нынешнего. Особое очарование таилось в полной бесполезности этой безделушки, хотя, судя по весу, ее использовали в качестве пресс-папье. Карман она оттягивала сильно, зато почти не выпирала. При встрече с патрулем подобный предмет мог и скомпрометировать: все старое и тем более красивое неизменно вызывало подозрения.

Получив четыре доллара, старик заметно ожи-

вился. Уинстон понял, что мог бы сторговать вещь за три, а то и за два доллара.

— Не желаете взглянуть на комнату наверху? — предложил хозяин. — Вещей там немного, конечно. Если пойдем, понадобится свет.

Он зажег еще одну лампу, медленно поднялся по крутым стершимся ступенькам, прошел по короткому коридорчику и открыл дверь в комнату, выходившую окнами не на улицу, а на мощенный булыжником двор и лес дымоходных труб. Расставленная мебель придавала комнате жилой вид. На полу лежала ковровая дорожка, на стенах висела пара картин, у камина стояло глубокое, потрепанное кресло. На полочке над ним тикали старинные часы с циферблатом на двенадцать цифр. Почти четверть комнаты занимала огромная кровать с голым матрасом.

— Мы тут жили, пока жена не умерла, — сообщил старик, как бы извиняясь. — Сейчас я понемногу распродаю мебель. Прекрасная кровать из красного дерева, только бы клопов вывести… Хотя вы, наверное, сочтете ее излишне громоздкой.

Он держал лампу высоко, освещая всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела на удивление уютно. У Уинстона мелькнула шальная

мысль, что ее можно снять всего за несколько долларов в неделю. Идея, конечно, дикая, но комната пробудила в нем чувство ностальгии, что-то вроде памяти предков. Он легко представил, каково это: сидеть в кресле у открытого огня, закинув ноги на каминную решетку, и ждать, пока закипит чайник; совершенно один, в полной безопасности, без лишних глаз и приказов с телеэкрана, без лишних звуков, кроме пения чайника и мирного тиканья часов.

— Здесь нет телеэкрана! — невольно вырвалось у него.

— Ну да, — кивнул старик, — и не было никогда. Слишком дорого. Да и зачем он мне? Поглядите-ка лучше на тот славный складной столик в углу! Конечно, если надумаете использовать откидные доски, петли надо бы заменить.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, к которому Уинстона неодолимо влекло. Увы, сплошной хлам. В свое время книги методично выискивали и уничтожали, и эти рейды проделали в кварталах пролов такие же бреши, как и везде. Вряд ли во всей Океании уцелела хоть одна книга, изданная до шестидесятого года. Старик поднес лампу к картине в палисандровой раме, висевшей сбоку от камина, напротив кровати.

— Если вас интересуют старинные гравюры… — ненавязчиво начал он.

Уинстон подошел к репродукции. Это была гравировка на стали: впереди овальное здание с прямоугольными окнами и маленькой башенкой, на заднем плане — ограда и статуя. Уинстон задержал взгляд. Вроде бы место знакомое, только статуи он не помнил.

— Рама прикручена к стене, — сказал старик. — Если хотите, могу и снять.

— Я знаю это здание, — наконец проговорил Уинстон. — От него остались одни руины. В середине улицы возле Дворца правосудия.

— Верно. Неподалеку от Королевского суда. Его разбомбили много лет назад. Когда-то там была церковь Святого Климента Датского. — Старик виновато улыбнулся, словно сказал нелепость, и добавил: — Динь-дон, апельсины и лимон, с колокольни гудит Сент-Клемент…

— Как-как? — удивился Уинстон.

— Ах, это… Был такой стишок в моем детстве. Дальше не помню, только концовку: «Вот свечка, на пути в кроватку светить, а вот и палач идет — тебе головку с плеч рубить!» Мы под это танцевали. Дети поднимают руки над головой, ты идешь между ними, а на словах «вот и палач»

они тебя хватают. В середине стишка просто перечисляются названия церквей Лондона — не всех, только самых главных.

Уинстон задумался, в каком веке могли построить ту церковь. Определить возраст лондонских строений непросто. Все крупные и величественные, если выглядят более-менее современно, автоматически считаются построенными после Революции, а древние на вид относят к неведомому периоду под названием Средневековье. Якобы за время существования капитализма люди не добились ничего. Изучать историю по архитектуре ничуть не легче, чем по книгам. Статуи, надписи, мемориальные плиты, названия улиц — все, что могло бы пролить свет на прошлое, целенаправленно переделывают.

— Не знал, что это церковь, — сказал Уинстон.

— На самом деле их осталось много, хотя им нашли другое применение. Так вот, детский стишок… как там дальше? Вспомнил!

Динь-дон, апельсины и лимон,
С колокольни гудит Сент-Клемент.
За тобой три фартинга,
В ответ бряцает Сент-Мартин…

Больше не помню. Фартингом называли мел-

кую монетку вроде нашего цента.

— А где был Сент-Мартин? — спросил Уинстон.

— Да он и сейчас стоит. Это на площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с треугольным крыльцом и колоннами, там еще много-много ступенек.

Уинстон прекрасно знал это место. Там находился Музей пропаганды, в котором выставляли модели ракет и плавучих крепостей, устраивали сцены из восковых фигур, изображавших зверства врага, и тому подобное.

— Раньше ее называли церковь Святого Мартина, что в полях, — добавил старик, — хотя никаких полей вокруг я не припоминаю.

Покупать картину Уинстон не стал. Слишком несуразное приобретение, к тому же домой ее нести нельзя, разве что из рамы вынуть. Он задержался еще немного и поболтал со стариком, которого звали вовсе не Викс (как значилось на вывеске лавки), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, как выяснилось, был вдовцом шестидесяти трех лет и жил здесь уже три десятилетия. За минувшие годы он так и не удосужился поменять вывеску, хотя и собирался. Во время разговора Уинстон крутил в голове полузабытый стишок:

Динь-дон, апельсины и лимон,

С колокольни гудит Сент-Клемент.
За тобой три фартинга,
В ответ бряцает Сент-Мартин…

Удивительно, произносишь строчки про себя и слышишь звон колоколов забытого Лондона минувших дней, который все еще существует где-то, только его так просто не узнать. Казалось, одна призрачная колокольня вступает вслед за другой. Насколько Уинстон помнил, слышать церковные колокола ему не доводилось ни разу.

Уинстон попрощался с мистером Чаррингтоном наверху и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти. Он уже решил, что после долгого перерыва, скажем, через месяц, рискнет заглянуть сюда еще раз. Пожалуй, это ничуть не опаснее, чем прогуливать вечера во Дворце культуры. После покупки дневника ему вообще не следовало бы сюда возвращаться, к тому же он не знал, можно ли доверять хозяину лавки. И все-таки…

Да, подумал Уинстон, вернусь. Он будет и дальше покупать всякое чудное старье, возьмет гравюру Сент-Клемента, вынет из рамы и отнесет домой, спрятав на груди. Вытащит из памяти

мистера Чаррингтона весь стишок. Даже безумная идея снять комнату над лавкой больше не казалась такой уж опасной. От восторга Уинстон совсем потерял осторожность и шагнул на тротуар, не выглянув в окно. Он принялся напевать под нос стишок, положив его на сочиненную им самим мелодию:

Динь-дон, апельсины и лимон,
С колокольни гудит Сент-Клемент.
За тобой три фартинга,
В ответ бряцает…

Внезапно сердце его превратилось в ледышку, живот скрутило. Метрах в десяти он заметил фигуру в синем комбинезоне. Та самая девушка из департамента беллетристики — с темными волосами! Смеркалось, но Уинстон сразу ее узнал. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла мимо как ни в чем не бывало.

Уинстон буквально остолбенел. Наконец кое-как взял себя в руки, свернул вправо и побрел прочь, хотя дом находился в другой стороне. Во всяком случае, один вопрос разрешился. Девушка явно за ним следит. Наверное, кралась от самой работы, иначе что ей делать тем же вечером на той же маленькой улочке вдали от партийных

кварталов? Таких совпадений не бывает! Какая разница, служит она в полиции помыслов или просто проявляет похвальную бдительность, выслуживаясь перед Партией… Довольно и того, что она за ним следит. Наверное, и у паба его видела.

Идти было трудно. При каждом шаге о бедро бился лежавший в кармане кусок стекла, и Уинстона так и подмывало закинуть его подальше. Особенно мучил живот… Через пару минут Уинстон понял, что умрет, если не добежит до туалета, но в таких районах общественных уборных нет. Наконец спазм прошел, оставив после себя тупую боль.

Улица уперлась в тупик. Уинстон постоял, размышляя, куда податься, и повернул обратно. Внезапно он сообразил, что девушка прошла мимо него минуты три назад, бегом ее еще можно было бы догнать, а потом в укромном местечке размозжить череп булыжником. В принципе, сгодился бы и кусок стекла, что в кармане… Но он тут же отказался от этой затеи: сама мысль о физическом усилии была невыносима. Сил не осталось ни бежать, ни бить. К тому же девушка молодая и крепкая, значит, способна за себя постоять. Еще он подумал, не поспешить ли ему в ДК, чтоб просидеть до закрытия и получить хотя

бы частичное алиби на вечер. Нет, тоже невозможно. Нужно поскорее добраться домой, сесть и успокоиться.

К себе Уинстон вернулся в двадцать два с чем-то. До того как погасят свет, оставалось часа полтора. Он отправился на кухню и залпом проглотил почти полную чашку джина «Победа». Затем сел за стол в нише, вынул из ящика дневник, но открывать не стал. С телеэкрана мерзкий женский голос верещал патриотическую песню. Уинстон посмотрел на мраморную обложку альбома, безуспешно пытаясь не обращать внимания на мерзкие звуки.

Приходят всегда в ночи. Разумнее всего заранее покончить с собой. Несомненно, некоторые так и поступают. Многие исчезнувшие на самом деле совершили самоубийство. Чтобы убить себя в мире, где оружия или надежного яда не достать, надо обладать отчаянным мужеством. Просто удивительно, насколько бесполезны с биологической точки зрения боль и страх, ведь предательское тело всегда впадает в оцепенение именно в тот момент, когда требуется приложить особые усилия. Действуй Уинстон быстро, так мог бы заставить темноволосую замолчать навсегда, но в том-то и проблема: перед лицом

опасности он утратил способность действовать. Как ни странно, в критический момент приходится сражаться вовсе не с внешним врагом, а с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе мешала Уинстону мыслить ясно. Видимо, такое происходит при всех подвигах или трагедиях. На поле битвы, в камере пыток, на тонущем корабле забываешь, за что борешься, тело раздается до тех пор, пока не заполнит собой вселенную, и даже если ты не парализован страхом и не кричишь от боли, то жизнь сводится к ежеминутной борьбе с голодом, холодом или бессонницей, с изжогой или ноющим зубом.

Уинстон открыл дневник. Необходимо записать хоть что-нибудь. Женщина на телеэкране затянула новую песню: ее голос терзал мозг, словно зазубренный осколок стекла. Уинстон настраивался думать об О'Брайене, кому предназначался дневник, но вместо этого воображал, что произойдет, когда до него доберется полиция помыслов. Хорошо, если убьют сразу. Смерть неизбежна, хотя прежде (вслух такое не обсуждали, просто знали — и все) тебе предстоит следственная рутина: ползать по полу, вопить о пощаде, слышать треск сломанных костей, зубы выплевывать,

слипшиеся от крови волосы бояться тронуть…

Зачем терпеть, если конец один? Почему нельзя вычеркнуть из жизни несколько дней или недель? От разоблачения не ушел никто, признались все до единого. Помыслокриминал равносилен смертному приговору. Тогда к чему этот ужас, который ничего не меняет?

Уинстон снова попытался вызвать в памяти образ О'Брайена, и ему почти удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», — пообещал однажды О'Брайен. Уинстон знал, что это означает, или так ему казалось. Там, где нет темноты — воображаемое будущее, которое человеку увидеть не дано, зато в него можно верить и чувствовать свою причастность. Увы, бьющий по ушам голос с телеэкрана оборвал поток мыслей. Уинстон сунул в рот папиросу. На язык тут же высыпалась половина табака, горькая пыль, едва отплюешься. Образ О'Брайена вытеснил Большой Брат. Уинстон вынул из кармана монетку и принялся разглядывать, как и несколько дней назад. Чеканное лицо взирало на него тяжелым, спокойным, мудрым взглядом, а вот что за улыбка пряталась в темных усах? И тут свинцовым погребальным звоном его настигли слова:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Часть вторая
I

В середине утра Уинстон покинул рабочее место, чтобы сходить в туалет.

По длинному, ярко освещенному коридору навстречу двигалась одинокая фигурка, та самая темноволосая девушка. С их случайной встречи возле лавки старьевщика прошло четыре дня. Девушка подошла ближе, и Уинстон увидел, что ее правую руку держит перевязь того же цвета, что и комбинезон. Вероятно, поранилась, вращая огромный калейдоскоп для набора романных сюжетов. В департаменте беллетристики такие травмы происходили часто.

Не дойдя до него метра четыре, девушка споткнулась и упала ничком. Громко вскрикнула от боли, похоже, задела раненую руку. Уинстон резко остановился. Девушка поднялась на колени. Лицо ее сделалось молочно-желтым, на его фоне губы казались алыми. В умоляющем взгляде, устремленном на Уинстона, читался скорее страх, нежели боль.

В сердце Уинстона шевельнулось странное чув-

ство. Вот перед ним враг, кто пытается его убить… и в то же время перед ним стоявшее на четвереньках человеческое существо, страдающее от боли. Он непроизвольно метнулся ей навстречу, чтобы помочь. Когда девушка упала на перевязанную руку, он ощутил ее боль как свою.

— Сильно ушиблись? — спросил.

— Ерунда, руку задела. Сейчас пройдет!

Девушку била дрожь непонятного волнения, лицо ее заливала бледность.

— Ничего не сломали?

— Нет, просто больно.

Она протянула Уинстону другую руку, и он помог ей подняться. Бледность почти сошла: девушке явно полегчало.

— Ерунда, — повторила она. — Задела больное запястье. Спасибо, товарищ!

И девушка вновь зашагала по коридору как ни в чем не бывало. Все заняло с полминуты, не больше. Привычка не выказывать чувств превратилась почти в инстинкт, к тому же девушку угораздило споткнуться прямо перед телеэкраном. Тем не менее Уинстону едва удалось скрыть удивление: за те пару-тройку секунд, пока их руки соприкасались, незнакомка умудрилась что-то сунуть ему в ладонь. Вне всякого сомне-

ния, сделала она это нарочно. Заходя в туалетную комнату, он сунул полученное в карман и ощупал: клочок бумаги, сложенный вчетверо.

Пока Уинстон стоял у писсуара, ему удалось развернуть листок. Очевидно, послание. Войти в кабинку и поскорее прочитать, что там написано, было бы ужасной ошибкой: наблюдение за трансляцией из туалетов велось особенно тщательно.

Он вернулся за рабочий стол, сел и небрежно бросил записку среди других бумаг, надел очки и придвинул ближе речеписец. «Пять минут, — велел себе Уинстон, — хотя бы пять минут!» Сердце оглушительно стучало в груди. К счастью, сейчас он трудился над длинным перечнем цифр, который особого внимания не требовал.

Записка наверняка политического содержания. Насколько Уинстон мог судить, вариантов всего два. Первый, наиболее вероятный: девушка — агент полиции помыслов, как он и опасался. Непонятно, почему полиция помыслов решила доставить послание подобным образом, но на то наверняка имелись свои причины. Значит, в записке либо угрозы, либо требование явиться к ним лично, либо приказ покончить с собой, либо же это ловушка. Впрочем, могла быть и другая возможность, которая не давала ему по-

коя: послание исходит не от полиции помыслов, а от подпольной организации. Вдруг Братство действительно существует? Вдруг девушка в нем состоит? Мысль, несомненно, абсурдная, и все же она пришла Уинстону в голову, едва бумажка легла ему в ладонь. Другое объяснение, куда более вероятное, появилось у него лишь пару минут спустя. И теперь, хотя разум говорил, что послание наверняка означает смерть, Уинстон продолжал надеяться, несмотря ни на что. Сердце колотилось как бешеное, и ему едва удавалось сдерживать дрожь в голосе, когда он диктовал новые данные в речеписец.

Уинстон скатал законченный фрагмент в трубочку и сунул в пневмопочту. Прошло восемь минут. Он поправил очки на носу, вздохнул и подвинул к себе следующее поручение, поверх которого лежал клочок бумаги. Развернув записку, написанную крупными печатными буквами, он прочел:

Я тебя люблю.

Уинстон так опешил, что не сразу сообразил бросить компромат в дыру памяти. Он прекрасно знал, как опасно проявлять чрезмерный интерес, и все ж перечитал записку еще раз, чтобы

убедиться.

Остаток утра работалось тяжело. Мало того что пришла целая серия мелких поручений, которые требовали сосредоточенности, так еще Уинстон едва сдерживал смятение перед телеэкраном. Внутри его бушевало пламя. Обед в душной, людной, шумной столовой превратился в настоящую пытку. Он надеялся посидеть за едой в одиночестве, но не повезло: рядом плюхнулся придурок Парсонс, чей запах пота почти перешиб резкую вонь тушеного мяса, и принялся без умолку болтать о подготовке к Неделе ненависти. Особенно он распинался о двухметровой голове Большого Брата из папье-маше, что мастерила его дочурка с отрядом Разведчиков. Из-за шума расслышать Парсонса не получалось, и Уинстон постоянно переспрашивал, из-за чего дурацкие фразы сослуживца бесили еще сильнее. Лишь раз удалось мельком увидеть темноволосую: она сидела в дальнем конце столовой с двумя другими девушками и Уинстона как бы не заметила. Больше смотреть в ту сторону он не осмелился.

Во второй половине дня полегчало. Сразу после обеда прислали необычное и сложное поручение, ради которого пришлось отложить в сторону остальные дела. Требовалось фальсифицировать

производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы дискредитировать члена Центра Партии, попавшего в опалу. В подобных делах Уинстон изрядно поднаторел, и ему удалось выбросить темноволосую из головы на два с лишним часа. Потом в памяти снова всплыло ее лицо, и его охватило неудержимое желание побыть одному. Такой неожиданный поворот требовалось осмыслить. Сегодня Уинстону предстояло провести вечер в Доме культуры. Он быстро проглотил в столовой безвкусный ужин, затем поспешил в ДК, где принял участие в напыщенной клоунаде под названием «дискуссионная группа», сыграл две партии в настольный теннис, выпил несколько порций джина и просидел полчаса на лекции «Ангсоц применительно к шахматам». Душа его изнывала от скуки, и все же впервые за долгое время Уинстону не захотелось отлынивать от вечера в ДК. Стоило увидеть: «Я тебя люблю», — как в нем вспыхнуло желание выжить, и риск по мелочи потерял смысл. И лишь в двадцать три часа, уже дома, лежа в темноте, которая спасает даже от телеэкрана, если молчишь, Уинстон смог предаться размышлениям.

Перед ним стояла чисто физическая задача: связаться с девушкой и договориться о встрече.

Уинстон больше не считал, что она заманивает его в ловушку. Судя по неподдельному волнению, с каким она вручила записку, это вовсе не так. Вполне очевидно, что незнакомка перепугалась до смерти, чего и следовало ожидать. Мысль пренебречь признанием он даже не рассматривал. Всего пять ночей назад Уинстону хотелось проломить девушке голову камнем, но нынче это не имело значения. Он думал о юном, нагом теле, привидевшемся ему во сне. Раньше он считал ее обычной дурочкой, у кого голова забита ложью и ненавистью, а тело подобно льду. При мысли, что он может ее потерять, что белое, упругое тело от него ускользнет, Уинстона бросило в жар. Лишь бы не передумала! Нужно связаться с ней поскорее! Увы, внешние препятствия выглядели практически непреодолимыми. Как сделать ход, если тебе уже поставили мат? Куда ни повернись, повсюду за тобой следят телеэкраны. На самом деле все возможные способы пришли Уинстону в голову еще при получении записки, но теперь, когда у него появилось время подумать, он перебирал их один за другим, словно хирург инструменты перед операцией.

Разумеется, встреча вроде сегодняшней вряд ли возможна. Работай девушка в департаменте

документации, так труда б не составило, однако Уинстон смутно представлял, где расположен департамент беллетристики, и никак не мог придумать подходящий предлог, чтобы туда зайти. Знай он, где она живет и во сколько заканчивает работу, мог бы нагнать ее по пути домой. Пытаться проследить за ней опасно: для этого придется слоняться возле министерства и его сразу заметят. Посылать письмо по почте тоже не вариант: вся корреспонденция вскрывается. На самом деле сейчас мало кто пишет письма. Люди пользуются почтовыми открытками с отпечатанными готовыми фразами, где надо вычеркнуть лишние. В любом случае Уинстон не знал имени девушки, не говоря уже об адресе. Наконец он решил, что самое безопасное место — столовая. Если удастся застать ее в одиночестве, где-нибудь в середине зала, не слишком близко к телеэкранам и не в полной тишине, то, если эти условия совпадут хотя бы ненадолго, можно обменяться парой слов.

Всю следующую неделю его жизнь походила на беспокойный сон. Назавтра девушка вошла в столовую перед самым свистком, зовущим к работе. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, даже не взглянув друг на друга. Через день она появилась в обычное время, но

села с тремя коллегами прямо под телеэкраном, потом в течение трех отвратительных дней не приходила вообще. Тело и разум Уинстона стали невыносимо чувствительны, он ощущал себя настолько прозрачным, что каждое движение, звук, взгляд, слово, которое он произносил или слышал, причиняли мучительную боль. Ее образ преследовал его даже во сне. Дневник он совсем забросил. Если Уинстону и удавалось забыться, то лишь в работе, да и то минут на десять. Он понятия не имел, что случилось с незнакомкой. Спросить было не у кого. Она могла испариться, могла покончить с собой, ее могли перевести в другой конец Океании. Самое худшее и вероятное: она просто передумала и его избегает.

На следующий день темноволосая появилась. Руку больше не держала перевязь, лишь запястье укрывал пластырь. Уинстон испытал такое облегчение, что несколько секунд не мог отвести от нее глаз. На другой день ему почти удалось с ней заговорить. Когда он вошел в столовую, девушка сидела за столом довольно далеко от стены и совсем одна. Обед только начался, свободных мест хватало. Очередь продвигалась вперед, пока Уинстон не дошел почти до кассы, и вдруг застопорилась: кто-то принялся громко возмущаться,

что не получил свою таблетку сахарина. Девушка все еще сидела одна, когда Уинстон взял свой поднос и двинулся к ней. Он медленно шел, отыскивая свободное место за соседними столами. До цели оставалось метра три. Еще пара секунд и… «Смит!» — окликнули его сзади. Уинстон сделал вид, что не слышит. «Смит!» — опять оклик, уже громче. Увы, пришлось обернуться. Блондин с глуповатым лицом по имени Вилшер, которого он едва знал, с улыбкой указывал на свободное место возле себя. Отказать было бы небезопасно. После того как его узнали, нельзя было подсесть к одиноко сидящей девушке. Слишком заметно. Он опустился рядом с глупо улыбающимся сослуживцем, растянув губы в дружелюбной улыбке. А мысленно рисовал себе, как всаживает кирку прямо в лыбящуюся морду. Через несколько минут все места за столом девушки уже заняли.

Вероятно, она заметила его маневры и намек поняла. На следующий день Уинстон пришел в столовую пораньше. Конечно же, она сидела примерно на том же месте и снова одна! В очереди перед ним стоял юркий, похожий на жучка коротышка с плоским лицом и маленькими пронырливыми глазками. Отойдя от кассы с подносом, Уинстон увидел, как коротышка ринулся

прямиком к столу девушки. Надежды вновь рухнули. Дальше по ряду пустовало еще одно место, но что-то в облике настырного недомерка говорило о том, что он предпочтет устроиться с максимальным комфортом за более пустым столом. Сердце Уинстона сковало льдом: пока не застанет ее одну, поговорить им не удастся. Вдруг раздался ужасный грохот. Коротышка упал на четвереньки, поднос отлетел в сторону, по полу растекались суп и кофе. Бросив на Уинстона злобный взгляд, словно это он подставил ему подножку, растяпа поднялся. Впрочем, на том все и кончилось. Уже через пять секунд Уинстон с бухающим в груди сердцем сидел за вожделенным столом.

Даже не взглянув на девушку, Уинстон снял тарелки с подноса и приступил к еде. Заговорить следовало немедленно, пока к ним никто не подсел, но Уинстона сковал страх. С тех пор как они столкнулись в коридоре, прошла неделя. Она могла передумать — да что там, наверняка передумала! Подобная авантюра обречена на провал: в реальной жизни так всегда и бывает. Пожалуй, Уинстон уклонился бы от разговора, однако внезапно завидел вдали Эмплфорта, поэта с волосатыми ушами, который брел по залу в

поисках свободного места. Эмплфорт по-своему симпатизировал Уинстону и непременно сел бы рядом, если бы заметил. На все про все оставалась минута, не больше. И Уинстон, и девушка мерно пережевывали пищу — жидкую фасолевую похлебку, смахивающую на суп. Уинстон заговорил тихим шепотом. Они черпали ложками водянистую жижу, не поднимая глаз, и обменивались короткими фразами, произнося их без всякого выражения.

— Когда освободишься?

— В восемнадцать тридцать.

— Где встретимся?

— Площадь Победы, памятник.

— Слишком на виду.

— Сольемся с толпой.

— Условный знак будет?

— Нет. Не подходи, если рядом никого. На меня не смотри, держись поближе и все.

— Во сколько?

— В девятнадцать ноль-ноль.

— Ладно.

Эмплфорт не заметил Уинстона и сел где-то еще. Больше они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга, насколько это вообще возможно для людей за одним столом. Девушка

быстро доела свой обед и ушла, а Уинстон остался покурить.

На площади Победы Уинстон появился раньше назначенного времени и бродил кругами у подножия огромной рифленой колонны, которую венчала статуя Большого Брата. Вождь смотрел на юг — туда, где сокрушил евразийские самолеты (несколько лет назад это были востазийские самолеты) в Битве за Авиабазу-1. На улице перед ним стояла конная статуя, изображавшая Оливера Кромвеля. Девушка опаздывала уже на пять минут. Уинстона вновь охватил страх: не придет, наверное, передумала! Он медленно прогулялся по северной части площади и с мрачным удовлетворением опознал бывшую церковь Святого Мартина, чьи колокола некогда пели: «За тобой три фартинга». Потом он заметил у памятника девушку — она читала или делала вид, что читает надпись на плакате вокруг колонны. Пока людей мало, подходить к ней слишком опасно: со всех сторон площадь окружают телеэкраны. Внезапно слева раздался рев голосов и грохот тяжелой техники, набежали толпы людей. Девушка проворно обогнула каменных львов у основания монумента и побежала со всеми. Уинстон последовал за ней. Судя по крикам, мимо везли под конвоем

евразийских военнопленных.

Южную сторону площади уже блокировала плотная толпа. Обычно Уинстон избегал мест скопления людей, но сейчас пихался, толкался, лез в самую гущу. Вскоре он очутился на расстоянии вытянутой руки от девушки перед здоровенным пролом и его не менее необъятной женщиной, вероятно, женой, которая встала намертво. Уинстон подергался из стороны в сторону и мощным рывком умудрился вклиниться между парочкой. Он словно попал в жернова из плоти, грозившие размолоть его в труху, и все же прорвался, лишь слегка вспотев. Он таки пробился к девушке! Они стояли плечом к плечу, глядя прямо перед собой.

По улице медленно двигалась длинная вереница грузовиков, в кузовах которых по углам застыли вооруженные солдаты с каменными лицами. Меж ними сгрудились низенькие желтокожие пленные в потрепанной зеленой униформе. Грустные монголоидные лица безучастно взирали на толпу. При тряске на ухабах раздавался лязг металла: все пленные были скованы кандалами. Глядя мельком на проезжающие мимо грузовики, Уинстон касался плеча и локтя девушки. Ее щека была так близко, что

он чувствовал тепло. Она тут же взяла ситуацию в свои руки, как тогда в столовой, и заговорила тем же бесцветным голосом, едва шевеля губами. Тихое бормотание почти заглушало шум толпы и грохот грузовиков.

— Слышишь меня?

— Да.

— Сможешь выбраться в воскресенье?

— Да.

— Тогда запоминай! Поедешь с вокзала Паддингтон…

Девушка расписала ему маршрут с поразительной военной точностью: полчаса на электричке, выйти со станции налево, пройти два километра по дороге до ворот без верхней перекладины, потом по грунтовке через поле, затем по заросшей травой тропинке между кустов, до сухого дерева, покрытого мхом. Такое чувство, что в голове у нее была карта.

— Запомнил? — наконец шепнула она.

— Да.

— Сверни влево, потом вправо и снова влево. Ворота без верхней перекладины.

— Когда?

— Около пятнадцати. Может, придется ждать. Я приду другим путем. Все запомнил?

— Да.

— Теперь скорее уходи!

Этого она могла бы и не говорить, только пока выбраться из толпы им вряд ли удалось бы. Мимо все ехали грузовики, люди продолжали глазеть на пленных. Поначалу раздавались крики и свист (то бушевали члены Партии), потом стихли и они. Преобладало в основном любопытство. На иностранцев, хоть из Евразии, хоть из Востазии, глазели как на невиданных зверей. Жителям Океании доводилось их видеть лишь в качестве военнопленных, да и то мельком. Никто не знал, что случалось с ними дальше. Некоторых за военные преступления вешали на площадях, остальные просто исчезали — скорее всего в трудовых лагерях. Круглолицых монголоидов сменили более привычные европеоиды — грязные, бородатые, изможденные. Уинстон чувствовал их взгляды, иногда неожиданно пристальные. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике стоял заросший по самые брови старик, привычно скрестив запястья перед собой. Уинстон понял, что пора расходиться, и вдруг почувствовал, как девушка нащупала его руку и слегка сжала.

Вряд ли это длилось долее десяти секунд, и все

же он успел запомнить ее кисть в мельчайших подробностях. Уинстон ощупал длинные пальцы, ровные ногти, натруженные ладони, гладкую кожу запястья. И тут он спохватился, что не обратил внимания, какого цвета у девушки глаза. Скорее всего карие, хотя у темноволосых людей встречаются и синие. Но повернуть голову и удостовериться было бы немыслимой глупостью. Так они и стояли, тайком держась за руки посреди массы людских тел, глядя прямо перед собой, а вместо глаз девушки на Уинстона из косматых глазниц скорбно взирали глаза старика-военнопленного.

II

Уинстон шагал по дорожке в пятнах света и тени, ступая в золотые лужицы там, где расступались ветви. Под деревьями слева дикие гиацинты затянули землю синей дымкой. Теплый воздух нежно ласкал кожу. Из глубины леса доносилось воркование вяхирей. Было второе мая…

Он пришел чуть пораньше, трудностей с дорогой не возникло. Судя по всему, девушка имела большой опыт в таких делах, и Уинстон боялся гораздо меньше, чем следовало бы при подобных

обстоятельствах. Пожалуй, в выборе надежного места ей можно доверять, хотя на природе расслабляться стоит не больше, чем в Лондоне. Разумеется, на телеэкран здесь не наткнешься, зато могут быть микрофоны, которые способны записывать и распознавать голоса, к тому же путешествовать в одиночку считается подозрительным. Хотя для перемещений менее ста километров штамп в паспорте не нужен, на железнодорожных станциях иногда дежурят патрули, проверяют документы у всех членов Партии и задают каверзные вопросы. Сегодня патрули Уинстону не попались, от станции он шел, сторожась, оглядываясь, убеждаясь в отсутствии слежки. В электричку набилось полно пролов, радовавшихся по-летнему теплой погоде. В деревянном вагоне, где ехал Уинстон, расположилось многочисленное семейство, начиная от беззубой прабабки и кончая месячным младенцем, которое собралось провести воскресный денек у родни в деревне и, как с готовностью объяснили Уинстону, прикупить на черном рынке немного масла.

Узкая дорожка расширилась, и вскоре Уинстон вышел на петлявшую среди кустов тропу, о которой говорила девушка. Часов у него не было,

но по ощущениям до пятнадцати еще оставалось время. Дикие гиацинты росли густым ковром. Он присел и начал собирать цветы, отчасти чтобы скоротать ожидание, отчасти загоревшись странной идеей вручить букет девушке. Он набрал целую охапку и вдохнул тонкий, сладковатый аромат, как вдруг за спиной хрустнул сучок. Уинстон продолжил неторопливо собирать гиацинты. Либо это девушка, либо за ним все-таки следили. Обернуться значило признать вину, а потому он сорвал еще один цветок и еще. И тут на плечо ему опустилась легкая рука.

Уинстон поднял взгляд. Девушка покачала головой, давая понять, что разговаривать нельзя, раздвинула кусты и зашагала по узкой тропинке прямо в лес. Судя по тому, как привычно она обходила болотистые участки, ей доводилось бывать здесь не раз. Уинстон следовал за ней, все еще сжимая в руках букет. Поначалу он испытал облегчение, но теперь, глядя на ее стройное, сильное тело, на затянутый на бедрах алый пояс, особенно остро ощутил свою неполноценность. Ему казалось, что девушка вот-вот обернется, смерит его взглядом и отвергнет. После лондонской копоти упоительно-свежий воздух и зелень леса ошеломили Уинстона. Уже по пути со станции,

под лучами майского солнца он почувствовал себя грязным и тщедушным, жалким узником четырех стен. Ему пришло в голову, что девушка впервые видит его при свете дня и на просторе. Они подошли к упавшему дереву, о котором она говорила. Девушка перепрыгнула через ствол и раздвинула кусты, стоявшие плотной стеной. За ними оказалась крошечная полянка, поросшая травой и окруженная высокими молодыми деревцами.

— Вот мы и пришли, — произнесла она.

Он стоял к ней лицом на расстоянии нескольких шагов. И все же не смел приблизиться.

— Болтать по дороге я не рискнула, — продолжила она, — вдруг там микрофон спрятан? Сомневаюсь, но кто знает. Всегда есть шанс, что этот свинтух опознает тебя по голосу. Здесь-то мы в безопасности.

У него все не доставало мужества подойти к ней. Лишь тупо переспросил:

— В безопасности?

— Да. Погляди на эти деревца! — Их окружали молодые ясени, проросшие из пней некогда срубленных деревьев. — Стволы слишком тонкие, микрофон в таких не спрячешь. К тому же я бывала тут раньше.

Девушка стояла перед Уинстоном очень прямо, с чуть ироничной улыбкой, наверное, удивлялась, почему он медлит. Дикие гиацинты посыпались на землю. Он подошел и взял ее за руку.

— Представляешь, я только сейчас разглядел, какого цвета у тебя глаза! — Они были карие, довольно светлого оттенка, обрамленные темными ресницами. — Теперь, при свете, ты все еще можешь на меня смотреть?

— Легко.

— Мне тридцать девять. Есть жена, от которой никак не избавиться. Вдобавок у меня варикоз и пять вставных зубов.

— Плевать, — заявила девушка.

Еще секунда и… даже не скажешь, чей порыв был первым… они оказались в объятиях друг у друга. Поначалу Уинстон не ощущал ничего, кроме полного невероятия. Юное тело жалось к нему, копна темных волос касалась его лица… и да! это она запрокинула голову… и вот уж он целует ее полные красные губы. Она обняла его шею, уже звала его милым, ненаглядным, любимым. Он потянул ее к земле и не встретил ни малейшего сопротивления: мог делать с ней все что угодно. Только, по правде-то, не было в нем никаких

чувств, кроме довольства близостью. Его переполняли невероятие и гордость. Происходящее чаровало, но никакого физического влечения не было. В чем истинная причина — слишком ли все скоро, не то молодость и красота девушки напугали, не то чересчур уж он привык к жизни без женщин, — он не знал. Девушка поднялась, вынула из волос гиацинт. Села рядом, обвив рукою его талию.

— Не переживай, милый. Спешить некуда. У нас впереди весь день. Отличное укрытие, правда? Я набрела на него, когда однажды заплутала в турпоходе. Если сюда кто и зайдет, услышим за сотню метров.

— Как тебя зовут?

— Джулия. А как тебя, я знаю — Уинстон, Уинстон Смит.

— Как вызнала?

— Вызнавать, милый, я умею, полагаю, получше тебя. Расскажи, что ты думал про меня до того дня, когда я записку тебе сунула?

У Уинстона никакого позыва не было ей лгать. Признаться в худшем сейчас было сродни признанию в любви.

— Видеть тебя не мог. Хотелось взять тебя силой, а потом убить. Две недели назад я всерьез

подумывал размозжить тебе голову булыжником! Если и вправду хочешь знать, воображал, что ты как-то связана с полицией помыслов.

Девушка радостно рассмеялась, приняв его признание за восхищение ее маскировкой.

— Только не полиция помыслов! Ведь правда же, ты так не думал?

— Ну, может, и не совсем так. Только взгляни на себя: вся такая юная, свежая, здоровая, вся из себя активистка… ты ж понимаешь, я и решил, что наверное…

— Я достойный член Партии! Чиста и в помыслах, и в делах. Транспаранты, демонстрации, лозунги, соревнования, турпоходы — вся эта похабень! И ты думал, будь у меня хоть четверть шанса, я разоблачу тебя как помыслокриминал и подведу тебя под казнь?

— Вроде того. Многие девицы, знаешь ли, таковы.

— Это все из-за этой гадости! — воскликнула Джулия, сорвав с себя алый пояс Юношеской антисекс-лиги и забросив его на куст. Потом, словно прикосновение к талии напомнило ей о чем-то, сунула руку в карман и достала маленькую палочку шоколада. Разломив ее, половинку дала Уинстону. Уже по запаху он понял, что это совсем

не обычный шоколад. Серебристая упаковка, гладкая и блестящая поверхность… Простой шоколад тусклый, легко крошится и по вкусу напоминает дым от горящего мусора. Впрочем, пару раз Уинстону доводилось пробовать настоящий шоколад. Аромат будил в нем сильное, в дрожь бросающее воспоминание, но вот о чем, вспомнить он не мог.

— Где раздобыла? — спросил он.

— На черном рынке, — равнодушно бросила она. — Вообще-то, и я из таких же, если посмотреть. Спортивная. Была командиром отряда Разведчиков. Волонтерствую по три вечера в неделю в Юношеской антисекс-лиге. Часы потратила на расклейку их паршивой гнуси по всему Лондону. На демонстрациях всегда одно древко транспаранта тащу. Всегда бодра-весела, ни от чего не увиливаю. Вопи всегда с толпою вместе — так я это называю. Иначе никак не уцелеть.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона на языке. Вкус был восхитительный. Только по грани сознания все еще маячило воспоминание, чувства будило тревожные, но никак не желало обретать четкую форму, словно замеченный краем глаза предмет. Он гнал его прочь, понимая лишь, что это память о каком-то поступке из тех,

что и рад бы исправить, но не в силах.

— Ты очень молода, — заговорил Уинстон. — Лет на десять, а то и пятнадцать моложе меня. Что ты нашла в таком мужчине, как я?

— Было в твоем лице что-то такое. Подумала, стоит рискнуть. Я легко распознаю людей не от мира сего. Как тебя увидела, сразу поняла: ты против*них*.

Под*ними* явно имелась в виду Партия, и прежде всего Центр Партии, о каком она говорила с такой неприкрытой ненавистью, что Уинстону делалось не по себе, даром что он понимал, что здесь они в безопасности, если вообще такое хоть где-то возможно. Что поражало его, так это грубость ее речи. Ругаться членам Партии не полагалось, сам Уинстон крайне редко позволял себе ругательства, по крайней мере вслух. Джулия, похоже, была не в силах помянуть Партию, особенно Центр Партии, без слов, которые в глухих переулках мелом на заборах пишут. Неприятия у него это не вызывало. Просто было еще одним признаком ее бунта против Партии и всего с нею связанного, казалось даже вполне естественным и полезным, вроде фырканья лошади на гнилое сено. Они выбрались с лужайки и брели, обняв друг друга за талию, по тропинке в пятнистой

сени деревьев. Уинстон заметил, насколько податливей стало ее тело без алого пояса. Разговаривали только шепотом: вне лужайки, уверяла Джулия, лучше не рисковать. Наконец подошли к опушке рощи. Джулия его остановила:

— Не выходи! За открытым пространством могут наблюдать. Под защитой ветвей мы в безопасности.

Они стояли в тени кустов орешника. Их лица согревал солнечный свет, сочившийся сквозь листву. Уинстон смотрел на расстилающееся впереди поле и вдруг понял, что место ему знакомо. Старый, поросший невысокой травой выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце — запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Наверняка рядом струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

— Тут случайно нет ручья неподалеку? — прошептал он.

— Да, ручей есть, на краю соседнего поля. В нем водятся рыбы, причем огромные! Они лежат в заводях под ивами и машут хвостами.

— Это ведь Золотая страна, ну, почти… — про-

бормотал он.

— Что такое Золотая страна?

— Так, ничего. Просто пейзаж, который мне иногда снится.

— Гляди! — шепнула Джулия.

Метрах в пяти почти на уровне их лиц на ветку сел дрозд. Вероятно, не заметил людей: те держались в тени, он был на солнце. Птица расправила, затем аккуратно сложила крылья, опустила головку, словно выражая почтение дневному светилу, и разразилась трелью. В притихшем полуденном воздухе звук разносился с поразительной громкостью. Уинстон с Джулией замерли, прижавшись друг к другу. Мелодия лилась не утихая, с изумительными вариациями, без единого повтора, словно дрозд решил блеснуть своей виртуозностью. Иногда он умолкал на несколько секунд, расправлял и складывал крылья, потом надувал крапчатую грудку и снова взрывался трелью.

Уинстон наблюдал за ним с невольным уважением. Вот дрозд, для кого, зачем поет он? Рядом ни самки, ни соперника. Что заставляет птицу сидеть на краю глухого леса и изливать свою мелодию в никуда? Может, здесь все-таки упрятан микрофон? Их с Джулией тихого шепота он не

улавливает, а вот пение дрозда — вполне. Может, на другом конце сидит похожий на жучка коротышка и внимательно слушает *–вот это* слушает… Постепенно мелодия вытеснила из сознания Уинстона все мысли. Она вливалась в него сплошным потоком, смешиваясь с солнечным светом, сочившимся сквозь густую листву. Уинстон перестал думать и отдался на волю чувств. Талия девушки была мягкой и теплой. Он развернул Джулию к себе, она прильнула к нему упругим и податливым, как вода, телом. Их губы слились воедино, и это совсем не походило на те жадные поцелую, какими они обменивались прежде. Когда лица их разошлись, они вдвоем глубоко вздохнули. Дрозд перепугался и упорхнул, шумно трепеща крыльями.

Уинстон прижался губами к ее уху.

–Сейчас! — прошептал он.

— Не здесь, — шепнула в ответ девушка. — Вернемся в укрытие. Там безопаснее.

И они поспешили обратно на лужайку, не обращая внимания на треск сухих сучьев под ногами. Стоило же оказаться в кольце молодой поросли, как она повернулась к нему. Оба дышали часто, но в уголках ее рта вновь играла улыбка. И да! — все было почти так, как во сне Уинстона. Почти

так же порывисто, как ему и виделось, девушка сорвала с себя одежду, а когда отшвырнула ее в сторону, то именно тем бесподобным жестом, который, казалось, отправлял в небытие всю цивилизацию. Тело ее ослепительно белело на солнце. Какое-то время Уинстон на него не смотрел: не мог отвести глаз от веснушчатого лица с легкой, дерзкой улыбкой. Уинстон опустился перед ней на колени и взял ее за руки.

— У тебя прежде такое бывало?

— Конечно. Сотни раз… ну, по крайности, множество раз.

— С партийцами?

— Да, всегда с членами Партии.

— И с членами Центра Партии?

— Нет, только не с этими свиньями! Хотя среди них полно таких, кто при случае своего не упустит. Не такие уж и святоши, какими выставляются!

Сердце Уинстона забилось чаще. Она занималась этим много раз, ему хотелось, чтобы счет шел на сотни, на тысячи! Все, что свидетельствовало о развращенности нравов, наполняло его безумной надеждой. Кто знает, может, Партия давно прогнила и культ усердия и самоотречения — мишура, скрывающая порок. Если бы он мог

заразить их всех проказой или сифилисом, то сделал бы это с превеликой радостью! Лишь бы они гнили, слабели, распадались на части!

Уинстон потянул ее вниз, и они оказались на коленях лицом к лицу.

— Послушай, чем больше мужчин у тебя было, тем больше я тебя люблю! Понимаешь?

— Да, вполне.

— Ненавижу чистоту, ненавижу праведность! Пусть добродетель исчезнет вовсе! Я хочу, чтобы все были развращенными до мозга костей.

— Тогда я подхожу тебе, милый. Я как раз такая!

— Ты любишь этим заниматься? Не только со мной, я про сам процесс…

— Обожаю!

Именно это он и хотел услышать. Не любовь к одному человеку, а животный инстинкт, примитивное, незамысловатое желание. Именно эта сила способна разорвать Партию на части. Он напрягся, тело девушки вжалось в траву, среди рассыпавшихся диких гиацинтов. На этот раз ему не мешало ничто… Наконец их дыхание выровнялось, они отпрянули друг от друга в приятной истоме. Солнце припекало жарче. Обоим хотелось спать. Уинстон потянулся к сброшенной

одежде и прикрыл девушку комбинезоном.

Через полчаса он проснулся, сел и принялся разглядывать веснушчатое лицо Джулии, все еще мирно дремавшей, подложив ладонь под щеку. Красавицей ее не назовешь, разве что губы… Если присмотреться, то вокруг глаз уже заметны морщинки. Короткие волосы необычайно густые и мягкие. Он спохватился, что не знает ни ее фамилии, ни где она живет.

Молодое, здоровое тело, такое беспомощное во сне, пробудило в нем жалость и желание защитить. Но бездумная нежность, возникшая в кустах орешника, когда они слушали пение дрозда, так и не вернулась. Уинстон сдвинул комбинезон и принялся разглядывать ее гладкий белый бок. В прежние времена, подумал он, мужчина смотрел на женское тело, находил его желанным, и этого было достаточно. Теперь же не существовало ни чистой любви, ни чистого желания. Чувства утратили чистоту, потому что все замешано на страхе и ненависти. Их объятия превратились в битву, оргазм — в победу. Их близость — как удар по Партии, акт не любви, а политики.

III

— Мы можем прийти сюда еще раз, — сказала Джулия. — Вообще-то, использовать одно и то же укрытие дважды неопасно, нужно только выждать месяц или два.

Проснувшись, она повела себя совсем иначе: стала настороженной и деловитой, оделась, повязала алый пояс и принялась планировать дорогу домой. Уинстон решил целиком положиться на нее, отдав должное ее практичности, которой ему явно не хватало, и исчерпывающему знанию окрестностей Лондона, обретенному в бесчисленных пеших походах. Обратный маршрут совершенно отличался от того, каким он прибыл сюда, и оканчивался на другой железнодорожной станции. «Никогда не возвращайся домой тем же путем, каким вышел», — веско заметила девушка. Она решила уйти первой, велев Уинстону выждать полчаса.

Джулия назвала место, где они могли бы встретиться после работы через четыре дня: рынок под открытым небом в бедном квартале, людный и шумный. Она побродит среди торговых рядов, делая вид, что ищет шнурки или нитки. Если во-

круг все чисто, она высморкается, тем самым дав ему знак подойти. Если нет, то Уинстон пройдет мимо, не обращая на нее внимания. Если повезет, в толпе им удастся поговорить минут пятнадцать и условиться о следующей встрече.

— Теперь мне пора, — сообщила Джулия, когда он повторил все указания. — Мне надо вернуться к девятнадцати тридцати и два часа раздавать листовки Юношеской антисекс-лиги. Черт бы ее побрал! Помоги отряхнуться. Веточек в волосах нет? Точно? Тогда до встречи, любовь моя!

Она бросилась в его объятия, смачно поцеловала в губы, потом протиснулась сквозь заросли молодых деревьев и почти бесшумно исчезла в лесу. Даже сейчас Уинстон не знал ни ее фамилии, ни адреса. Впрочем, это не имело значения, потому что они все равно не смогли бы встретиться в городе или затеять переписку.

Так получилось, что больше они на лесную лужайку не вернулись. За весь май им удалось предаться любви лишь однажды. Джулия привела Уинстона в другое укрытие — на колокольню разрушенной церкви в опустевшей деревне, куда тридцать лет назад упала атомная бомба. Место хорошее, но дорога была очень опасной. Остальное время они встречались лишь на улицах,

каждый вечер на разных, и проводили вместе меньше часа. В городе получалось хоть как-то поговорить. Бредя по тротуару в толпе прохожих, не глядя друг на друга и не сближаясь, они вели странную, прерывистую беседу, которая вспыхивала и гасла подобно лучу маяка: умолкала при виде партийца в форме или телеэкрана, через несколько минут возобновлялась с середины фразы, обрывалась при расставании в условленном месте и на следующий день продолжалась почти без вступления.

Похоже, Джулия к такому общению привыкла, называла его «беседами в рассрочку». Еще она умела необычайно искусно говорить, не двигая губами. Среди месяца вечерних свиданий им лишь раз удалось поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия никогда не разговаривала вдали от главных улиц), как вдруг раздался оглушительный грохот, земля содрогнулась, воздух потемнел, и Уинстон пришел в себя, лежа на боку, контуженный и перепуганный. Наверное, неподалеку упала ракета. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от себя, Уинстон увидел смертельно бледное, белое как мел лицо Джулии. Даже губы побелели. Мертва! Он прижал девушку к себе и неожиданно принялся целовать живое теплое

лицо, поцеловал и ощутил тепло живых губ. Но в губы все время лезла какая-то гадость, какой-то порошок. Оба их лица густо покрыла пыль от штукатурки…

Бывали вечера, когда они приходили на место свидания, а потом вынуждены были шагать мимо, не подавая знака друг другу, потому что из-за угла выходил патруль или над головами зависал вертолет. Помимо всех опасностей хватало и прочих сложностей. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия и того больше, их выходные зависели от нагрузки в министерстве и совпадали нечасто. В любом случае у Джулии редко выдавался совершенно свободный вечер. Она тратила невероятное количество времени на лекции и демонстрации, на раздачу листовок Юношеской антисекс-лиги и подготовку транспарантов для Недели ненависти, на сбор средств для Кампании за экономию и прочие мероприятия. Оно того стоит, говорила Джулия, ведь это маскировка. Следуя маленьким правилам, можешь нарушать большие. Она даже убедила Уинстона посвятить один из свободных вечеров сборке боеприпасов, которой занимались на добровольной основе особенно рьяные члены Партии. И вот раз в неделю Уинстон проводил четыре невыносимо

скучных часа за скручиванием металлических деталей, собирая взрыватели в насквозь продуваемой, плохо освещенной мастерской, где стук молотков уныло сливался с бравурными маршами, льющимися с телеэкранов.

Когда они встретились на колокольне, то восполнили пробелы в своей беседе. День стоял жаркий. Воздух в маленьком квадратном помещении над колоколами был горячим и спертым, невыносимо воняло голубиным пометом. Они много часов просидели на пыльном, усыпанном ветками полу, время от времени вставая, чтобы бросить взгляд через бойницы и убедиться, что никто не идет.

Джулии было двадцать шесть. Она жила в общежитии с тридцатью девушками («Там все ими провоняло! До чего же я ненавижу женщин!») и работала, как понял Уинстон, на станках для написания романов в департаменте беллетристики. Ей нравилась ее работа, которая в основном сводилась к обслуживанию мощного, но капризного электромотора. Особым умом Джулия не отличалась, зато любила работать руками и прекрасно разбиралась в технике. Она могла описать весь процесс создания романа, начиная с общего указания, спущенного комитетом по планированию,

и кончая шлифовкой текста в бюро правки. Но конечный продукт ее не интересовал. «Не очень-то меня чтение занимает», — говорила она. Книги были всего лишь продукцией, которую следовало производить, вроде джема или шнурков.

У Джулии не сохранилось воспоминаний о времени до начала шестидесятых, единственные рассказы о жизни до Революции она слышала от дедушки, который исчез, когда ей было восемь. В школе она возглавляла хоккейную команду и два года подряд выигрывала кубок по гимнастике. Перед тем как вступить в Юношескую антисекс-лигу, Джулия командовала отрядом Разведчиков и исполняла обязанности секретаря отделения в Молодежной лиге. Благодаря безупречной репутации ее в свое время даже направили в *порносек* — подразделение в департаменте беллетристики, занимавшееся производством дешевой порнографии для пролов. Меж собой сотрудники называют его публичным домом, заметила Джулия. Целый год она помогала выпускать книжонки в запечатанных пакетах с такими названиями, как «Рассказы о порке» или «Ночь в школе для девочек», для продажи из-под полы, причем пролетарская молодежь наивно принимала их за противоправную продукцию.

— И на что похожи эти книги? — полюбопытствовал Уинстон.

— Отвратная чушь! На самом деле они очень скучные. Сюжетов всего шесть, их немного перекраивают, и все. Разумеется, я работала только на калейдоскопах, а не в бюро правки, куда уж мне, ведь я не литераторша.

Уинстон с изумлением узнал, что все сотрудники*порносека*, кроме начальников отделов, — девушки. Считалось, что контролировать мужские половые инстинкты сложнее, нежели женские, поэтому мужчины рискуют больше, подвергаясь разлагающему влиянию порока, с которым приходится иметь дело.

— Представляешь, туда даже замужних не берут!

Почему-то девушки всегда считаются чище, чего не скажешь про Джулию. Первая любовная связь случилась у нее в шестнадцать с шестидесятилетним членом Партии, который потом покончил с собой, чтобы избежать ареста.

— И правильно сделал, иначе из него вытрясли бы и мое имя.

С тех пор были и многие другие. Джулия относилась к жизни просто. Ты хочешь поразвлечься,*они,* то есть Партия, хотят тебе помешать, и ты

нарушаешь их правила, как можешь. Джулия находила вполне естественным, что *они* пытаются лишить тебя удовольствий, а ты пытаешься не попасться. Она ненавидела Партию, о чем говорила, совершенно не стесняясь в выражениях, но при этом вовсе ее не критиковала. Она ничуть не интересовалась партийной идеологией, если только та не касалась ее личной жизни. Уинстон заметил, что Джулия почти не использует новослов — кроме тех словечек, что вошли в повседневный обиход. Она никогда не слышала о Братстве и не верила в его существование: по ее мнению, любой организованный мятеж был полной глупостью, потому как заранее обречен на провал. То ли дело нарушать правила и оставаться в живых! Уинстон задавался вопросом, сколько же среди молодого поколения таких, как она, выросших в мире Революции и не знающих другой жизни; таких, кто принимает Партию как нечто неизменное, не бунтуют против ее авторитета, а просто стараются увильнуть, как кролик от собаки.

О браке они не заговаривали. О том можно было и не мечтать. Ни один комитет не позволил бы им пожениться, даже если бы удалось как-нибудь избавиться от Кэтрин, жены Уинстона.

— Какой она была, твоя жена? — спросила Джулия.

— Она была… знаешь слово *добродум*? Оно означает человека, который придерживается общепринятых убеждений.

— Нет, не слыхала, зато люди такие попадались.

Уинстон начал рассказывать ей историю своей женитьбы, но Джулия его перебила. Она описала ему все так, словно видела собственными глазами: и как Кэтрин цепенела от прикосновений, и как отталкивала его изо всех сил, одновременно сжимая в объятиях. С Джулией говорить о таком оказалось легко: в любом случае воспоминания о Кэтрин давно перестали ранить и вызывали лишь неприязнь.

— Пожалуй, я бы смирился, если бы не один нюанс, — признался Уинстон и рассказал о бесстрастном ритуале, который Кэтрин практиковала раз в неделю. — Сама его ненавидела, но ее было не унять. И название придумала… ни за что не догадаешься какое!

— Наш долг перед Партией, — довольно хмыкнула Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Я тоже училась в школе, милый. Беседы о

сексе раз в месяц для тех, кто старше шестнадцати. Плюс Юношеское движение. Нам втирают эту дичь годами. Пожалуй, во многих случаях оно и срабатывает, но сказать наверняка трудно: люди такие ханжи!

И Джулия пустилась в рассуждения, оседлав любимого конька, — она обожала говорить про свою сексуальность. Стоило коснуться этой темы, как она проявляла недюжинную проницательность. В отличие от Уинстона, она давно постигла скрытый смысл полового пуританства Партии. Дело не только в том, что половой инстинкт создает целый мир, который неподвластен Партии и потому должен быть уничтожен. Важно другое: половое воздержание провоцирует массовую истерию, которую легко преобразовать в военную лихорадку и поклонение вождю.

— В любовных утехах расходуешь энергию, под конец ты счастлив — и плевать тебе на все остальное. Им это крайне невыгодно. Им нужно, чтоб тебя прямо-таки распирало от избытка энергии. Вся эта ходьба строем туда-сюда, скандирование и размахивание флагами — просто замена сексу. Если ты доволен жизнью, то зачем тебе возбуждаться на Большого Брата, Трехлетние планы, Двухминутку ненависти и прочую похабень?

А ведь она права, думал Уинстон. Между целомудрием и идеологическим догматизмом связь самая прямая и непосредственная. Иначе как Партии поддерживать необходимый градус страха, ненависти и слепой доверчивости, как не обуздав какой-нибудь мощный инстинкт и не направив его в нужное русло? Половое влечение опасно для Партии, и Партия обратила его в свою пользу. То же самое они проделали и с родительским инстинктом. Упразднить семью им не удалось, поэтому любовь к детям на старый лад даже поощряется. В то же время детей постоянно настраивают против собственных родителей, учат шпионить и доносить о любых отклонениях. Семья превратилась в продолжение полиции помыслов и стала механизмом, при помощи которого каждый человек день и ночь окружен осведомителями, знающими его очень близко.

Внезапно он снова подумал о Кэтрин. Она точно сдала бы его полиции помыслов, не будь слишком глупа, чтобы распознать инакомыслие. Уинстон вспомнил о ней еще и благодаря удушающей жаре, из-за которой на лбу выступила испарина. И он принялся рассказывать Джулии о том, что произошло или скорее едва не произошло в другой жаркий день одиннадцать лет назад.

Это случилось через три-четыре месяца после их женитьбы, во время пешего похода где-то в Кенте. Они отстали от группы всего на пару минут, потом свернули не туда и очутились на краю мелового карьера. Высота обрыва была метров двадцать, на дне лежали валуны. Вокруг никого, куда идти — непонятно. Кэтрин тут же ударилась в панику. Отстать от шумной толпы пусть даже на миг казалось ей серьезным проступком. Она хотела вернуться тем же путем и начать поиски в другой стороне. И тут Уинстон обратил внимание на кустики вербейника в расщелине скалы прямо под ними. Как ни странно, от одного корня росли фиолетовые и красные цветы. Такого он никогда не видел и окликнул Кэтрин, чтобы она тоже посмотрела. «Кэтрин, погляди, какие цветочки! Вон у той глыбы внизу. Ты видишь, что они разного цвета?» Она уже собралась уходить, но вернулась, хотя и с недовольным видом. Даже склонилась над обрывом, чтобы посмотреть, куда он указывал. Уинстон встал позади нее и придержал за талию. И внезапно до него дошло, что они совершенно одни. Ни людей, ни птиц. В таком месте вряд ли установлен скрытый микрофон, а если и есть, то уловит лишь крик. Стоял жаркий полдень, солнце палило вовсю, струйки пота

щекотали лицо. И тут его осенило…

— Зачем ты ее не пихнул хорошенько? — спросила Джулия. — Я б пихнула.

— Да, милая, ты бы так и сделала. Я тоже, будь тогда тем человеком, что сейчас. Или нет… Сложно сказать наверняка.

— Жалеешь?

— Да. Лучше бы я ее столкнул.

Они сидели, прижавшись, на пыльном полу. Уинстон притянул девушку к себе, она положила голову ему на плечо. Приятный запах ее волос перебивал вонь голубиного помета. Джулия очень молода, подумал Уинстон, все еще ждет чего-то от жизни и не понимает, что столкнуть неподходящего человека со скалы вовсе не выход.

— На самом деле это ничего бы не изменило.

— Тогда чего ж ты жалеешь, что не пихнул?

— Потому только, что предпочитаю положительное отрицательному. В этой игре нам не выиграть. Что-то из упущенного лучше другого — вот и все.

Он почувствовал, как дернулось ее плечо: Джулия всегда возражала, когда он говорил что-то похожее. Она не принимала закон природы, по которому одиночка всегда обречен на поражение. Нельзя сказать, чтобы она не понимала, что сама

обречена, что рано или поздно полиция помыслов ее схватит и убьет, но другой частью сознания верила, что так или иначе можно создать свой тайный мирок и жить в нем, как тебе угодно. Нужны всего лишь удача, сметливость и отвага. Она не понимала, что счастья не существует, что победа случится лишь в далеком будущем, через много-много лет после твоей смерти, что стоит объявить войну Партии — и ты уже труп.

— Мы мертвецы, — вздохнул Уинстон.

— Пока еще не померли, — прозаично заметила Джулия.

— Не телесно. Полгода, год… допустим, лет пять. Я боюсь смерти. Ты молода, потому должна бояться ее больше моего. Само собой, мы постараемся оттягивать это, сколько только сможем. Только разница невелика. Пока человеческие существа остаются человечны, смерть и жизнь одно и то же.

— А-а, бредятина! Тебе с кем больше переспать хотелось бы, со мной или со скелетом? Неужто нет тебе радости живым быть? Нет радости чувствовать: это я, это моя рука, это моя нога, я сущий, я целый, я живой! Развеэто тебя не радует?

Резко повернувшись, она прильнула к его груди. Сквозь комбинезон он почувствовал ее груди,

зрелые, но твердые. Казалось, ее тело делилось с ним своею молодостью и решимостью.

— Это меня радует.

— Так перестань талдычить про смерть! А теперь, милый, послушай, нужно договориться, когда мы в следующий раз увидимся. Можно вернуться в то местечко в роще — мы дали ему порядочно отдохнуть. Только на этот раз тебе придется добираться другим путем. Я уже все распланировала! Сядешь на электричку… погоди, сейчас изображу схемку.

Как всегда практичная, Джулия разровняла пыль на полу, дернула веточку из голубиного гнезда и принялась чертить.

IV

Уинстон обвел взглядом убогую комнатку над лавкой мистера Чаррингтона. У окна стояла огромная кровать, застеленная рваными одеялами, с валиком без чехла в изголовье. На каминной полочке тикали старинные часы с двенадцатью числами на циферблате. В углу, на раздвижном столике, мягко отсвечивало в полутьме купленное им в прошлый раз стеклянное пресс-папье.

На каминной решетке стояли видавшая виды

керосиновая плитка, кастрюлька и две чашки, которыми его снабдил мистер Чаррингтон. Уинстон зажег горелку и поставил воду кипятиться. Он принес целую упаковку кофе «Победа» и таблетки сахарина. Стрелки часов показывали семь двадцать: на самом деле было девятнадцать двадцать. Она придет к девятнадцати тридцати.

Блажь, блажь, твердило ему сердце, сознательная, напрасная, самоубийственная блажь. Из всех преступлений, которые мог совершить член Партии, именно это сложнее всего скрыть. Как ни странно, впервые мысль явилась ему как видение, подсмотренное в стеклянном пресспапье. Как он и предвидел, мистер Чаррингтон охотно пошел навстречу: пара лишних долларов его только обрадовала. То, что комната нужна, как стало ясно, для любовных свиданий, его, по-видимому, ни шокировало, ни оскорбило. Хозяин смотрел вдаль, говорил обтекаемыми фразами, причем настолько деликатно, что его присутствие почти не ощущалось. Уединения уголок, заметил он, очень большая ценность. Время от времени каждому потребно место, где можно побыть в одиночестве. И когда такое место находится, то любому, кто о том знает, обычная вежливость велит держать это знание при себе.

Более того, добавил он, едва не тая в воздухе, у дома есть два входа, один из них с заднего двора, выходящего в проулок.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, прячась за тонкой занавеской. Июньское солнце стояло еще высоко, и по залитому светом двору между корытом и бельевыми веревками разгуливала громадная толстуха в переднике из дерюги, могутная, как нормандская колонна, и красными ручищами развешивала квадратные белые тряпки, в которых Уинстон признал подгузники. Всякий раз, освободив рот от порции прищепок, она распевала мощным контральто:

То была мимолетная блажь.
Миновала она, как весна,
Но мечты и любовный кураж
В моем сердце уже навсегда!

Эта мелодия не давала Лондону покоя несколько недель. Подобные песни поставлял для пролов департамент музыки. Без участия человека слова компоновались на станке под названием версификатор. Но женщина пела с такой душой, что дрянная штамповка превращалась в нечто вполне приятное. Уинстон слышал пение женщины, скрип ее башмаков, крики детей на улице

и отдаленный гул транспорта, однако в отсутствие телеэкрана в комнате стояла непривычная тишина.

Блажь, блажь, блажь, снова подумал он. Через несколько недель пользования комнатой их наверняка поймают. Но искушение обзавестись собственным укрытием неподалеку, с крышей над головой, было слишком велико. После свидания на колокольне встретиться им больше не удалось. В преддверии Недели ненависти рабочие часы резко увеличили. До нее оставался месяц, но масштабные, сложные приготовления обернулись для всех дополнительной нагрузкой. Наконец оба одновременно выкроили полдня и договорились вернуться на лесную лужайку. Вечером накануне сошлись на улице, снова в толпе. Уинстон старался не смотреть на Джулию, но заметил, что она бледнее обычного.

— Все отменяется, — пробормотала она, убедившись, что говорить безопасно. — Я про завтра.

— Что?

— Завтра не смогу.

— Почему?

— Те самые дни начались раньше.

На миг Уинстон пришел в ярость. За месяц знакомства природа его желания значительно

преобразилась. Вначале в близости с Джулией подлинной чувственности не было. Их первое соитие было скорее актом воли. После второго раза все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, касание кожи запали в него, пропитали сам воздух вокруг. Джулия стала для него плотской потребностью, тем, чего он не только желал, но и на что право имел. Когда она сказала, что не сможет прийти, Уинстон заподозрил измену. Внезапно толпа притиснула их друг к другу, руки случайно встретились. Она быстро сжала его пальцы, не страстно, но нежно. И Уинстон понял: с подобным разочарованием сталкивается любой женатый мужчина. Его затопила безграничная, доселе не испытанная им нежность. Захотелось, чтобы они были женаты уже лет десять, чтобы ходили по улицам, не таясь и не испытывая страха, болтали о ерунде и покупали всякие хозяйственные мелочи. Больше всего хотелось, чтобы у них появилось какое-нибудь место, где можно оставаться вдвоем, необязательно предаваясь плотским утехам при каждой встрече. Вообще-то мысль снять комнату у Чаррингтона возникла у него не сразу, а на следующий день. Джулия согласилась неожиданно легко. Оба прекрасно знали, что это чистой воды безумие, намеренный

шаг к могиле. Сидя на краю кровати, Уинстон снова подумал о подвалах министерства любви. Просто удивительно, как ужас, тебе предопределенный, то всплывает в сознании, то исчезает. За этим неизбежно последует смертный исход, как за числом 99 следует 100. Избежать нельзя, можно лишь оттянуть, и все же человек раз за разом планомерно, сознательно укорачивает отведенное ему время.

И тут на лестнице раздались быстрые шаги. В комнату влетела Джулия с коричневой сумкой из грубого холста, с которой Уинстон иногда видел ее у министерства. Он попытался обнять девушку, но та нетерпеливо увернулась.

— Погоди. Сначала посмотри, что я достала! Ты притащил гадкую «Победу»? Так я и думала! Прячь обратно, сегодня она нам не понадобится. Гляди сюда!

Джулия, встав на колени, распахнула сумку, вывалила на пол несколько гаечных ключей и отвертку, которые лежали сверху. Под ними обнаружились аккуратные бумажные пакеты. Первый вызвал у Уинстона странное и в то же время знакомое чувство. Внутри было что-то тяжелое, похожее на песок и с легкостью проминавшееся под пальцами.

— Неужели сахар? — удивился он.

— Настоящий! Это тебе не сахарин! А вот хлеб… белый хлеб, не наша гадость!.. и баночка джема. Вот банка молока… Лучше погляди сюда! Вот чем я особенно горжусь! Пришлось завернуть в мешковину, потому что…

Джулия могла бы не объяснять, почему так тщательно упаковала содержимое пакета. Комнату заполнил крепкий, насыщенный запах кофе, сразу напомнивший Уинстону о детстве. Он и сейчас иногда улавливал его в коридоре или в уличной толпе, но лишь на краткий миг, потом захлопывалась дверь или порыв ветра уносил дразнящий запах прочь.

— Кофе, — прошептал Уинстон, — настоящий кофе!

— Кофе для Центра Партии. Тут целый килограмм!

— Как тебе удалось такое раздобыть?

— Все для партийных шишек. Эти свинтухи себе ни в чем не отказывают! Разумеется, их подавальщики и прочие слуги тоже люди, так что приворовывают и… Гляди, у меня и чая немного есть!

Уинстон сел на корточки с ней рядом и оторвал уголок пакета.

— Настоящий чай. Не смородиновые листья.

— Чая теперь много. Кажется, они захватили Индию, — пояснила Джулия. — Послушай, милый. Мне надо, чтоб ты на пару минут отвернулся. Присядь на кровать с той стороны, только к окну не близко. И не оборачивайся, пока не скажу!

Уинстон рассеянно наблюдал за двором через тюлевую занавеску. Женщина с красными руками все еще сновала между корытом и бельевыми веревками. Она вынула изо рта две прищепки и с чувством пропела:

Говорят, что время лечит все,
Говорят, все забудется без труда,
Но улыбки и слезы свежи еще,
В моем сердце они навсегда!

Похоже, она всю дурацкую песню наизусть знает. Мелодичный, наполненный светлой грустью голос плыл в душистом летнем воздухе. Такое чувство, что толстуха готова развешивать подгузники и распевать дурные песенки хоть тысячу лет, только бы июньский вечер продолжался вечно и запасы белья не кончались. Внезапно Уинстон понял: ему ни разу не доводилось слышать, чтобы член Партии пел в одиночку, просто так. Это сочли бы странным поступком, опасным

и эксцентричным, вроде привычки разговаривать с самим собой. Вероятно, люди поют лишь в том случае, если стоят на пороге нищеты.

— Теперь поворачивайся, — велела Джулия.

Уинстон обернулся и едва ее узнал. Он ожидал увидеть Джулию голой, но та осталась в одежде. С ней произошла гораздо более удивительная перемена. Скорее всего девушка тайком сбегала в магазинчик в пролских кварталах и купила целый набор косметики. Она густо накрасила красным губы, нарумянила щеки, напудрила нос и даже что-то такое сделала с глазами — они стали еще ярче. Макияж был наложен не очень умело, но в этом Уинстон разбирался слабо. Ему никогда не доводилось видеть партийную женщину с косметикой на лице. Изменение в облике Джулии поразило его до глубины души. Всего пара мазков в нужных местах — и она стала не только красивее, но и гораздо женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон впечатления ничуть не портили. Обняв Джулию, он вдохнул синтетический запах фиалок. Уинстон вспомнил полумрак кухни в цоколе и щербатый рот проститутки. Джулия использовала те же духи, но это не важно.

— И духи! — воскликнул он.

— Да, милый! Знаешь, что еще я придумала? Раздобуду где-нибудь настоящее женское платье и надену вместо этих гадких брюк! Стану носить чулки и туфли на каблуках! В этой комнате я буду женщина, а не член Партии!

Они разделись и улеглись на огромную кровать красного дерева. В присутствии Джулии Уинстон разделся донага впервые. До сих пор он слишком стеснялся своего бледного и щуплого тела, варикозных вен на ногах и пятен обесцвеченной кожи на голени. Постельного белья не было, зато потертое одеяло на ощупь оказалось гладким, матрас — большим и упругим. «Тут, конечно, полно клопов, только кому какое дело?» — заметила Джулия. Двуспальные кровати давно стали редкостью и сохранились лишь в домах пролов. В отличие от Джулии, Уинстону в детстве довелось поспать на такой. Вскоре они ненадолго задремали. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подобрались почти к девяти. Он не пошевелился, чтобы не потревожить Джулию, чья головка лежала на изгибе его руки. Косметика размазалась по лицу и по подушке, но легкий след румян еще подчеркивал красоту ее скул.

В изножье кровати упал желтый луч заходящего солнца и осветил камин, где выкипала вода в

кастрюльке. Женщина под окном петь перестала, с улицы доносились крики детворы. Уинстон задумался о том, считалось ли в упраздненном прошлом нормальным валяться в постели просто так, прохладным летним вечером, предаваться любви без одежды, когда захочется, разговаривать, о чем захочется и не чувствовать ни малейшего желания вставать, только лежать и слушать доносящиеся с улицы мирные звуки. Неужели было время, когда такое считалось нормальным?.. Джулия проснулась, потерла глаза и, опершись на локоть, глянула на керосинку.

— Половина воды выкипела, — заметила она. — Сейчас встану и приготовлю кофе. У нас остался час. Во сколько выключают свет в твоем доме?

— В двадцать три тридцать.

— В общежитии на полчаса раньше, и вернуться нужно заранее, иначе… а ну убирайся вон, грязная тварь! — Джулия вдруг перегнулась через край кровати, схватила ботинок и по-мальчишески ловко швырнула в угол, прямо как словник в Гольдштейна на Двухминутке ненависти.

— Что там? — удивленно спросил Уинстон.

— Крыса. Я видела, как она высунула свой мерзкий нос. За панелью нора. В любом случае я ее хорошенько напугала.

— Крысы! — ужаснулся Уинстон. — В этой комнате!

— Они повсюду, — равнодушно проговорила Джулия, ложась обратно. — У нас в общежитии даже по кухне разгуливают. Некоторые районы Лондона просто кишат ими. Ты знал, что они нападают на детей? Да еще как! Женщины не рискуют оставлять младенцев даже на пару минут. В кварталах пролов водятся огромные серые крысы. Самое противное, что эти твари всегда…

–Перестань! — вскрикнул Уинстон, плотно зажмурив глаза.

— Миленький, так ты побледнел! Что с тобой? Тебя тошнит от них?

— Из всех ужасов мира ужаснее… крыса!

Джулия прижалась к нему и обвила руками и ногами, словно пытаясь успокоить теплом своего тела. Уинстон не сразу рискнул открыть глаза. Несколько мгновений ему казалось, будто вернулся кошмар, всю жизнь преследовавший его. Этот сон повторялся, мало меняясь. Уинстон стоит перед стеной мрака, а по ту сторону… нечто невыносимо страшное. Он всегда знал, что там, хотя ни за что бы себе не признался. С неимоверными усилиями, он, может, даже вытянул это на свет… Сделать этого никогда не успевал

— просыпался. Слова Джулии вернули его в тот кошмар, потому он ее и оборвал.

— Прости, — сказал Уинстон, — пустое. Просто не люблю крыс.

— Не волнуйся, милый, скоро мы от этих тварей избавимся. Перед уходом я заткну дыру мешковиной, а в следующий раз принесу немного алебастра и заделаю ее как следует.

Панический ужас отступил и вскоре забылся. Стыдясь своей слабости, Уинстон прислонился к спинке кровати. Джулия выбралась из постели, надела комбинезон и сварила кофе. Исходящий от кастрюльки аромат был таким насыщенным и дразнящим, что они поскорее закрыли окно, чтобы никто не пришел на запах. Сахар придал напитку шелковистую мягкость, о какой Уинстон почти забыл после многих лет употребления сахарина. Сунув одну руку в карман и держа хлеб с джемом в другой, Джулия прохаживалась по комнате и походя разглядывала книжный шкаф, соображала, как лучше починить раздвижной столик, садилась в потертое кресло, пробуя, насколько оно удобное, и со снисходительным изумлением рассматривала нелепые часы с двенадцатью цифрами. Она принесла на кровать стеклянное пресс-папье, чтобы разглядеть при

свете. Уинстон забрал у нее вещицу, завороженный гладким, прозрачным, словно дождевая вода, стеклом.

— Как думаешь, для чего она? — спросила Джулия.

— Вряд ли эта штука вообще использовалась по назначению. Чем она мне и нравится. Просто фрагмент истории, которую забыли перекромсать. Послание из прошлого столетней давности, нужно только суметь его прочесть.

— А вон та картина, — она кивнула на противоположную стену, — ей тоже сто лет?

— Думаю, побольше. Сотни две, точнее не скажу: в наши дни определить возраст предметов невозможно.

Джулия подошла ближе.

— Отсюда эта тварь и высунула нос, — указала она, пнув деревянную обшивку под картиной. — Что за место? Где-то я его видела.

— Церковь по крайней мере раньше была церковью и называлась Сент-Клемент. — Уинстон вспомнил обрывок стишка, рассказанный Чаррингтоном, и ностальгически продекламировал:

Динь-дон, апельсины и лимон,
С колокольни гудит Сент-Клемент.

К его удивлению, Джулия завершила куплет:

За тобой три фартинга,
В ответ бряцает Сент-Мартин…

А Олд-Бейли звонит, вторя в такт:
Заплати-ка должок, дружок…

— Не помню, что там дальше, но концовка такая:

Вот свечка, на пути в кроватку светить,
А вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!

Строчки сошлись, словно отзыв и пароль. Впрочем, после строчки про Олд-Бейли должен быть еще один стих. Надо при случае попытать старика Чаррингтона, может, и вспомнит.

— Кто тебя научил? — спросил Уинстон.

— Мой дедушка. Он исчез, когда мне было восемь… Интересно, что такое лимон? Апельсины я видела. Это круглые оранжевые фрукты с толстой кожурой.

— Лимоны помню, — признался Уинстон. — В пятидесятые их было много. Они такие кислые, что от одного запаха зубы сводит.

— Под картиной наверняка полно клопов, — заявила Джулия. — Как-нибудь я ее сниму и хорошенько отмою. Нам скоро уходить. Увы, краску с лица пора смывать. Скукотища! Надо потом стереть с тебя помаду.

Уинстон полежал еще немного. В комнате темнело. Он повернулся к свету и принялся смотреть в стеклянное пресс-папье. Неиссякаемый интерес вызывал даже не кусочек коралла, а внутренняя часть стекла. В нем таилась огромная глубина — и в то же время было воздушно прозрачно. Словно поверхность — небосвод, а под ним крошечный мирок со своей атмосферой. Уинстону казалось, что он может попасть внутрь, что он уже внутри, вместе с кроватью красного дерева и раздвижным столиком, с часами и гравюрой на стене. Пресс-папье было комнатой, коралл — жизнями Джулии и его собственной, навеки влитыми в сердце стеклянного кристалла.

V

Сайм пропал. Утро настало, но на работе он так и не появился. Некоторые недальновидные сотрудники даже отметили его отсутствие. На следующий день о нем не упомянул никто. На

третий день Уинстон пошел в вестибюль департамента документации взглянуть на доску объявлений. Там висел отпечатанный список Шахматного комитета, в котором состоял Сайм. Вроде бы тот же самый (никого не вычеркнули), но на одно имя короче. Все понятно: Сайм перестал существовать, его вообще никогда не было.

Началась невыносимая жара. В похожем на лабиринт министерстве отсутствие окон и кондиционеры обеспечивали прохладу, зато снаружи тротуары обжигали подошвы, а в метро в час пик стояла ужасная вонь. Приготовления к Неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники всех министерств работали сверхурочно. Требовалось организовать демонстрации, митинги, военные парады, лекции, выставки, киносеансы, телепрограммы; установить трибуны, развесить портреты, придумать лозунги, написать песни, распустить слухи, подделать фотографии. Подразделение Джулии в департаменте беллетристики с производства романов перебросили на серию брошюр о кровавых бесчинствах. Уинстон, в добавление к своим обычным обязанностям, проводил долгие часы за просмотром старых выпусков «Таймс», перекраивая и приукрашивая новости, которые собирались процитировать в

выступлениях. Поздно ночью, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, атмосфера в городе царила весьма зловещая. Ракеты взрывались чаще обычного, вдобавок вдалеке слышались чудовищные разрывы, и по Лондону ползли самые нелепые слухи.

Уже сочинили и принялись вовсю транслировать новую музыкальную тему грядущей Недели, так называемую «Песню ненависти». Дикарский, лающий ритм, ничуть не похожий на музыку, напоминал стук барабана, рев тысячи глоток под топот марширующих ног наводил ужас. Пролам она сразу полюбилась и теперь звучала на полуночных улицах, соперничая со все еще популярной в народе песенкой «То была мимолетная блажь». Детишки Парсонсов день и ночь наигрывали ее до одури на расческе, обернутой туалетной бумагой. Вечера Уинстона были заняты как никогда. Команды добровольцев под началом Парсонса готовили улицу к Неделе ненависти: малевали плакаты, шили флаги и устанавливали для них на крыше крепежи; рискуя жизнью, перекидывали между домами веревки, чтобы повесить растяжки с лозунгами. Парсонс похвалялся, что на один их «Дворец Победы» пошло четыреста квадратных метров

флагов. Погрузившись в родную стихию, он пребывал в неуемном восторге. Из-за жары и горячки труда вечерами он сменял комбинезон на шорты и распахивал ворот на рубашке. Парсонс метался туда-сюда, толкал, тянул, пилил, орудовал молотком, распевал, веселил подопечных дружескими наставлениями и всеми складками своего тела источал поистине неисчерпаемые запасы едкого, бьющего в нос пота.

Внезапно повсюду появился новый плакат высотой три-четыре метра. Без текста, просто чудовищная фигура евразийского солдата с безучастным монголоидным лицом, шагающего вперед в огромных сапогах с автоматом в руках. С какого ракурса ни посмотри, мушка оружия, увеличенная в несколько раз, смотрела прямо на тебя. Количество плакатов, прилепленных на все свободные места всех стен, даже превзошло число портретов Большого Брата. На обычно равнодушных к войне пролов напал приступ патриотизма. Словно поддавшись всеобщему угару, ракеты стали убивать больше людей. Одна, попав в переполненный зрителями кинотеатр в Степни, погребла под обломками сотни человек. Все население района вышло на долгие, затянувшиеся похороны, которые плавно перетекли в митинг

возмущения. Другая ракета попала на пустырь, облюбованный детворой для игр, и десятки детей разорвало на куски. Последовали массовые демонстрации протеста: спалили чучело Гольдштейна, сотни плакатов с евразийским солдатом порвали в клочья и сожгли, заодно разграбили несколько магазинов. Потом пронесся слух, что ракетные боеголовки с помощью радиоволн направляют шпионы, и пожилую пару, которую подозревали в иностранном происхождении, заперли в доме и спалили живьем.

Изредка встречаясь в комнате над лавкой Чаррингтона, Джулия с Уинстоном открывали окно настежь и лежали на кровати голыми в надежде на вечернюю прохладу. Крыса больше не возвращалась, зато клопы в жаре размножились чрезвычайно. Джулию с Уинстоном это мало заботило, комната все равно казалась им раем. Придя, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, сбрасывали одежду, предавались похотливым ласкам, ненадолго забывались сном, а пробуждаясь, обнаруживали, что клопы уже в боевых порядках и готовы к контратаке.

Четыре, пять, шесть… семь свиданий было у них в июне. Уинстон бросил привычку накачиваться джином в течение дня: больше не

испытывал в нем потребности. Он поправился, варикозная язва затянулась, оставив коричневое пятно выше щиколотки, приступы кашля по утрам прекратились. Жизнь больше не казалась ему невыносимой, корчить рожи телеэкрану или громко ругаться больше не хотелось. Теперь, когда у них было надежное убежище, почти свой дом, Уинстона с Джулией не тяготили ни редкость, ни краткость общения. Главное, что у них есть комнатка над лавкой старьевщика. Знать, что убежище существует, было все равно что в нем находиться. Комната стала для них целым миром, пластом прошлого, в котором разгуливали вымершие животные.

Мистера Чаррингтона Уинстон тоже считал реликтом другой эпохи. И всегда останавливался поболтать пару минут с хозяином. Видимо, старик выходил на улицу редко, да и клиентов у него почти не было. Он вел призрачное существование между крохотной темной лавкой и еще более крохотной и темной кухней, где готовил себе еду и слушал невероятно древний граммофон с огромной трубой. Возможности поговорить он, похоже, всегда радовался. Расхаживая среди своих грошовых товаров в бархатном пиджаке и в очках с толстыми стеклами на длинном носу,

Чаррингтон смахивал скорее на коллекционера, чем на лавочника. С вялым энтузиазмом он указывал на какой-нибудь хлам: фарфоровую пробку для бутылки, раскрашенную крышечку от утраченной табакерки, дешевый медальон с локоном давно умершего младенца — и никогда не уговаривал Уинстона купить, просто показывал, ожидая от него лишь восхищения. Разговаривать со стариком было все равно что слушать перезвон старой музыкальной шкатулки. Ему удалось извлечь из памяти еще несколько фрагментов забытых стихов: про двадцать четыре черных дрозда, про корову с обломанным рогом, про гибель бедного Петушка Робина. «Просто подумалось, что вас это может заинтересовать», — замечал он с ироничным смешком и выдавал очередную пару строк. Увы, он так и не вспомнил ничего целиком.

Любовники понимали (более того, мысль эта никогда не покидала их), что так не может продолжаться вечно. Временами факт надвигающейся гибели казался им не менее осязаемым, чем кровать, на которой они лежат, и они прижимались друг к другу с безысходной чувственностью — так сраженная проклятием душа тянет к себе последыш удовольствия за несколько минут до

гибельного боя часов. Они чувствовали, что в этой комнате ничто не сможет им навредить. Добираться сюда было трудно и опасно, зато тут их ждало надежное убежище вроде того, какое Уинстон увидел в глубине пресс-папье. Ему казалось, что, стоит проникнуть в сердце стеклянного мира, и время остановится. Часто они предавались мечтам. О побеге — их удача никогда не закончится, их любовная связь навсегда останется тайной. Или что Кэтрин умрет — и Уинстону с Джулией с помощью ловких маневров удастся пожениться. О том, как они вместе покончат с собой. Или исчезнут, изменятся до неузнаваемости, научатся разговаривать с пролским акцентом, устроятся работать на фабрику и проживут всю жизнь в каком-нибудь глухом закоулке. Увы, оба знали, что это вздор и спасения нет. Не собирались осуществлять даже единственный более-менее реальный план — самоубийство. Цепляться за жизнь день за днем, месяц за месяцем, растягивать настоящее, у которого нет будущего, представлялось им неодолимым инстинктом, похожим на тот, что заставляет легкие делать следующий вдох до тех пор, пока не иссякнет воздух.

Иногда они заговаривали об активном участии в восстании против Партии, хотя понятия не

имели, как сделать первый шаг. Даже если мифическое Братство действительно существует, попасть в него трудно. Уинстон рассказал Джулии о непонятных узах, связывавших, казалось, его и О'Брайена, о своем порыве просто подойти к нему, объявить себя врагом Партии и потребовать помощи. Как ни странно, Джулию такой поступок вовсе не поразил своей безрассудностью. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось вполне естественным, что Уинстон счел О'Брайена заслуживающим доверия благодаря одному перехваченному им взгляду. Более того, она считала само собой разумеющимся, что каждый или почти каждый втайне ненавидит Партию и готов нарушить правила, если только его не поймают. При этом она отказывалась верить, что разветвленная, организованная оппозиция существует. Сказки про Гольдштейна и его подпольную армию, говорила она, просто ложь, которую Партия сочинила для своих нужд, а людям приходится притворяться, будто верят. Бесчисленное количество раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях Джулия во весь голос требовала казни людей, чьи имена слышала впервые и в чьи преступления ничуть не верила. На публичных судебных процессах она примыкала к

отрядам Молодежной лиги, которая окружала суды с утра до ночи, и скандировала вместе со всеми «Смерть предателям!». На Двухминутках ненависти она всегда превосходила остальных, выкрикивая оскорбления в адрес Гольдштейна. При этом весьма смутно представляла, кто такой Гольдштейн и какой именно доктрины он придерживается. Джулия выросла после Революции и не застала идеологических баталий пятидесятых и шестидесятых. Само представление о независимом политическом движении лежало за пределами ее воображения. В любом случае Партия непобедима. Она будет всегда и всегда будет той же самой. Бунтовать против нее можно лишь путем тайного непослушания или, самое большее, совершая отдельные акты насилия вроде убийств и закладывания бомб.

В некотором смысле Джулия была гораздо проницательнее Уинстона и менее восприимчива к партийной пропаганде. Однажды он походя упомянул войну с Евразией и немало удивился, когда она спокойно бросила, что никакой войны не ведется. Ежедневно падающие на Лондон ракеты, по мнению Джулии, запускало само правительство Океании, «просто чтобы держать людей в страхе». Такое даже не приходило ему

в голову. Еще Джулия вызвала у него зависть, признавшись, что на Двухминутках ненависти едва сдерживает хохот. При том она критически оценивала учение Партии лишь тогда, когда оно затрагивало ее личную жизнь. Часто она согласно принимала официальную мифологию, просто потому что разница между правдой и вымыслом казалась ей несущественной. К примеру, она со школы верила, что самолеты изобрела Партия. Когда Уинстон учился в школе, Партия претендовала на изобретение вертолета; десятью годами позднее, когда училась Джулия, Партия заявила свои права на самолет, а еще через десять лет наверняка присвоит себе и изобретение парового двигателя. Узнав, что самолеты летали задолго до Революции, она ничуть не удивилась. В конце концов, какая разница, кто именно изобрел самолет? Гораздо бóльшим потрясением для Уинстона стало другое: она не помнила, что четыре года назад Океания воевала с Востазией и находилась в мире с Евразией. Считая войну обманом, Джулия даже не заметила, что имя врага изменилось. «По мне, мы всегда воевали с Евразией», — уклончиво проговорила она. Уинстона это напугало. Самолеты изобрели задолго до ее рождения, но резкая смена врага случилась всего четыре года

назад, уже после того, как она стала взрослой. Они проспорили с четверть часа, и в конце Уинстону удалось заставить ее вспомнить, что прежде врагом была Востазия, а не Евразия. Только для нее это представлялось несущественным. «Да какая разница? — нетерпеливо воскликнула Джулия. — Одна мерзкая война следует за другой, и все знают, что новости в газетах сплошное вранье!»

Иногда он говорил с ней о департаменте документации и наглых подлогах, которые там совершались. Такое ее тоже едва ли трогало. При мысли, как именно ложь замещает правду, Джулия вовсе не чувствовала, что под ней разверзается бездна. Уинстон рассказал ей историю про Джонса, Аронсона и Резерфорда и про клочок газеты, который ненадолго попал ему в руки. На Джулию это впечатления не произвело. Сначала она вообще не поняла, в чем суть.

— Они твои друзья?

— Нет, мы даже не были знакомы. Они состояли в Центре Партии. К тому же они гораздо старше меня и родились задолго до Революции. Я знал их только в лицо.

— Тогда к чему так переживать? Подумаешь, людей всю дорогу уничтожают!

Уинстон попытался ей объяснить.

— Это особый случай. Дело не в том, что их уничтожили. Неужели ты не понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически упразднено? Если оно где-то и остается, то лишь в немногочисленных предметах, с какими не поговоришь, вроде того куска стекла на полке. Мы почти ничего не знаем ни о Революции, ни о годах перед ней. Все записи подделаны или уничтожены, все книги перепечатаны, все картины переписаны, все статуи и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс продолжается день за днем, минута за минутой. История остановилась! Не существует ничего, кроме бесконечного настоящего времени, в котором Партия всегда права. Я знаю, что прошлое сфальсифицировано, но никогда не смогу ничего доказать, хотя сам принимаю в этом участие. После того как дело сделано, доказательств не остается. Единственное свидетельство — у меня в голове, и я вовсе не уверен, что хоть один человек, кроме меня, помнит то же самое. Лишь раз в жизни ко мне в руки попало настоящее, твердое доказательство, причем спустя много лет после самого события!

— И какая тебе с того польза?

— Никакой, потому что я сразу его сжег. Если

бы это случилось сегодня, я бы его сохранил.

— А я бы нет! — возразила Джулия. — Я готова рискнуть ради чего-нибудь стоящего, а не ради клочка старой газеты! И потом, что бы ты с обрывком сделал?

— Может, и ничего. Но это было подлинное свидетельство, оно могло бы посеять сомнения, отважься я его кому-то показать. Вряд ли за свои жизни мы в силах хоть что-то изменить, однако со временем будут возникать узлы сопротивления, люди станут объединяться в маленькие группы, те постепенно разрастутся и даже оставят после себя записи, чтобы следующие поколения смогли продолжить наше дело, а не начинать с нуля.

— Нет у меня интереса, милый, к следующим поколениям. Мой интерес –*мы.*

— Ты бунтарка лишь ниже пояса!

Джулия сочла замечание чрезвычайно остроумным и восторженно кинулась Уинстону на шею.

Нюансы доктрины Партии ничуть не интересовали ее. Стоило Уинстону заговорить о принципах ангсоца, двоемыслии, непостоянстве прошлого, отрицании объективной реальности, используя лексику новослова, как Джулии становилось непонятно и скучно. О такой ерунде,

признавалась, она предпочитает не задумываться. Каждому ясно, что это чушь, так зачем переживать по пустякам? Главное — понимать, когда следует кричать «ура», а когда «смерть предателям», остальное не важно. Когда же Уинстон углублялся в подобные темы, то, к его досаде, Джулия просто засыпала. Она принадлежала к тем счастливцам, кто способен уснуть всегда и везде. В общении с нею Уинстон понял, насколько легко изображать идеологический догматизм, не имея ни малейшего представления о догматах. Наиболее успешно Партия навязывает свое мировоззрение тем, кто не в силах его постичь. Такие люди готовы мириться с любым, даже самым вопиющим насилием над действительностью, ибо никогда в полной мере не осознают всю чудовищность происходящего и не особо интересуются, чем и как живет общество, они просто не замечают, что творится вокруг. Непонимание сохраняет им рассудок. Они глотают все подряд, и это не причиняет им ни малейшего вреда, поскольку не задерживается в головах — так птица глотает кукурузное зерно целиком, а то проходит сквозь ее тело неусвоенным.

VI

Наконец-то случилось! Уинстону казалось, что он ждал этого момента всю жизнь.

Он шел по длинному коридору министерства и почти добрался до места, где Джулия сунула ему записку, как вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. Человек вежливо кашлянул, словно собирался заговорить. Уинстон замер и обернулся. То был О'Брайен.

Наконец-то они встретились без свидетелей, но теперь Уинстону хотелось убежать сломя голову. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, язык отнялся. О'Брайен непринужденно подошел, по-дружески коснулся плеча Уинстона и зашагал с ним рядом. Говорил он подчеркнуто серьезно и учтиво, что выгодно отличало его от большинства членов Центра Партии.

— Давно надеюсь с вами побеседовать, — заметил он. — Прочел вчера в «Таймс» вашу статью на новослове. Насколько понимаю, у вас к нему научный интерес?

К Уинстону вернулось, хоть и не полностью, самообладание.

— Едва ли научный, — ответил он. — Я всего

лишь дилетант. Да и сфера не моя: никогда не имел ничего общего с конструированием языка.

— Зато пишете вы весьма изящно, — похвалил О'Брайен. — И это не только мое мнение. Недавно я беседовал с вашим приятелем, кто, конечно же, спец в этом. Никак не припомню его имя…

Сердце Уинстона болезненно сжалось. Тут и гадать нечего: намек был на Сайма. Но Сайм не просто умер, его уничтожили, сделали *безличностью*. Любое упоминание о нем смертельно опасно. Замечание О'Брайена наверняка задумано как сигнал, как кодовое слово. Маленький *помыслокриминал* делал их обоих сообщниками. Они продолжали шагать по коридору, и вдруг О'Брайен остановился. Со странным, обезоруживающим дружелюбием, которое ему всегда удавалось вложить в этот жест, он поправил очки на носу и признался:

— На самом деле я хотел сказать, что заметил в вашей статье пару слов, которые вышли из употребления. Впрочем, это случилось совсем недавно. Вы уже видели десятое издание «Словника новослова»?

— Нет, — ответил Уинстон. — Не знал, что оно уже вышло. У себя в *дептдоке* мы все еще пользуемся девятым.

— Насколько мне известно, десятое издание выйдет не раньше чем через несколько месяцев. Однако сигнальные экземпляры уже отпечатаны. У меня тоже есть. Не хотите ли как-нибудь взглянуть?

— Очень хочу, — ответил Уинстон, поняв, к чему тот клонит.

— Некоторые усовершенствования весьма остроумны. Сокращено количество глаголов — вам это, наверное, особенно интересно. Дайте подумать, может, отправить вам словник с курьером? Боюсь, я о таких мелочах постоянно забываю. Или лучше сами заглянете ко мне в удобное для вас время? Подождите, позвольте я вам запишу свой адрес.

Они стояли перед телеэкраном. О'Брайен с рассеянным видом ощупал карманы, достал блокнотик в кожаной обложке и золотую перьевую ручку. Прямо перед экраном, чтобы наблюдавшие за ними по ту сторону видели все, он написал адрес, вырвал страничку и протянул Уинстону.

— По вечерам я обычно дома, — сказал он. — Если нет, «Словник» вам отдаст мой слуга.

И О'Брайен ушел, оставив Уинстона с клочком бумаги, который на этот раз можно было не пря-

тать. Тем не менее он тщательно запомнил адрес и пару часов спустя бросил его в дыру памяти вместе с мусором.

Говорили они самое большее пару минут. Их случайная встреча могла означать только одно: О'Брайен хотел, чтобы Уинстон узнал его адрес. Кроме как по прямому запросу получить эту информацию негде. «Если хочешь увидеться, найдешь меня здесь», — дал понять О'Брайен. Возможно, в «Словнике» Уинстона ждало тайное послание. В любом случае в одном он мог быть твердо уверен: подпольная организация действительно существует и ему наконец удалось на нее выйти.

Уинстон знал, что рано или поздно явится на зов О'Брайена. Может, завтра же, может, спустя некоторое время — он пока не решил. Происходящее стало логическим следствием процесса, начатого много лет назад. Первый шаг — тайный, невольный помысел, второй — ведение дневника. Он перешел от помыслов к словам, а теперь и от слов к поступкам. Последний шаг — то, что произойдет в министерстве любви. Уинстон принял свою судьбу. Начало уже включало конец. И это здорово пугало, пугал, точнее, привкус смерти. В нем словно меньше жизни осталось. Еще

в разговоре с О'Брайеном, когда до него дошел смысл сказанного, все тело его охватил озноб. Ощутил, как с каждым шагом все больше уходит в могильную сырость, и ничуть не легче было оттого, что он всегда знал: перед ним могила и она поджидает его.

VII

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно к нему прильнула и невнятно пробормотала:

— Что с тобой?

— Мне приснилось… — начал он и умолк, не в силах облечь чувства в слова. Сон всколыхнул в нем воспоминание, всплывшее в сознании через несколько секунд после пробуждения.

Уинстон лежал на спине с закрытыми глазами, переживая свой сон. Огромный, яркий сон, в котором перед ним расстилалась вся жизнь словно пейзаж летним вечером после дождя. Действие происходило внутри пресс-папье: поверхность стекла была небесным куполом, и все заливал чистый, мягкий свет, позволяющий видеть на необычайно большие расстояния. Весь сон занимало (по сути, из этого он и состоял) поведение матери Уинстона, а еще увиденное им тридцать

лет спустя в фильме о войне поведение еврейской женщины, что пыталась укрыть маленького мальчика от пуль за миг до того, как очередь с вертолета разорвала обоих в куски.

— А знаешь, — сказал он, — я до сих пор был уверен, что убил свою мать!

— Зачем ты ее убил? — сонно прошептала Джулия.

— Не убивал я ее. Не буквально.

Вспомнилось, как во сне видел маму в последний раз, вскоре после пробуждения в памяти всплыли все подробности. Эту память Уинстон гнал из своего сознания много лет. Точную дату он бы не назвал, хотя вряд ли ему было меньше десяти лет, возможно, даже двенадцать. К тому времени отец уже исчез, когда именно, Уинстон не помнил. Больше помнилась напряженная, тревожная обстановка тех дней: приступы паники из-за постоянных авианалетов и укрытие в подземке, повсюду руины, непонятные прокламации на углах улиц, бригады молодых людей в одинаковых рубашках, огромные очереди у булочных, громкая стрельба вдали… и самое главное, постоянное чувство голода. Целыми днями он вместе с другими мальчиками рылся в мусорных баках, выбирая капустные кочерыжки, картофельные

очистки, порой даже черствые обгорелые корки, с которых они тщательно соскребали золу. Дети ждали на обочине, пока мимо проедут грузовики, везущие корм скоту, — на ухабах те подпрыгивали, и на дорогу иногда падал жмых.

Когда исчез отец, мама не выказала ни удивления, ни сильного горя, но с ней произошла внезапная перемена: из нее словно душу вынули. Даже Уинстон понимал, что она ждет чего-то неминуемого. Мама делала все, что полагалось: готовила еду, стирала белье, чинила одежду, застилала постель, подметала пол, вытирала пыль с каминной полки — всегда очень медленно и без лишних усилий, словно манекен для рисования, который движется сам по себе. Ее крупное, статное тело пребывало в спячке: целыми часами мама неподвижно сидела на кровати, баюкая младшую сестренку Уинстона, крошечную, болезненную девочку лет двух-трех, с похожим на обезьянью мордашку лицом. Очень редко она обнимала сына, крепко прижимала к себе и долго молчала. Несмотря на свой юный возраст и эгоизм, он понимал: это связано с тем, о чем не говорят вслух и что вот-вот должно произойти.

Уинстон помнил комнату, в которой они жили, темную, затхлую, наполовину занятую кроватью

с белым стеганым покрывалом. В камине была газовая конфорка кольцом, рядом полка с едой, на лестничной площадке висела коричневая фаянсовая раковина, одна на несколько семей. Он помнил статную фигуру матери, склонившуюся над конфоркой и мешавшую что-то в кастрюльке. Больше всего помнился вечный голод и яростные, жадные ссоры за столом. Уинстон постоянно клянчил у матери еду, кричал и топал ногами (помнились даже истерические нотки в его голосе, который начал ломаться раньше времени и временами вдруг глухо басил), а иногда добавлял слезливой истерии, пытаясь получить долю больше положенной. Мама уступала с готовностью, принимая как должное, что мальчику нужно больше еды, однако сколько бы она ему ни давала, он непременно требовал еще. Всякий раз она умоляла его не быть себялюбцем, помнить, что маленькая сестренка больна и ей тоже нужна еда. Без толку. Уинстон вопил от ярости, вырывал у нее из рук кастрюльку и половник, хватал куски из чужих тарелок. Он знал, что объедает мать с сестрой, но ничего не мог с собой поделать, ему даже казалось, что он имеет на это полное право, словно непрестанно урчащий от голода живот его оправдывал. Между приемами пищи, если

мамы не было поблизости, он шарил в скудных припасах на полке с едой.

Однажды им выдали шоколадный паек, чего не случалось уже много недель или даже месяцев. Он прекрасно помнил ту драгоценную плитку весом в две унции (в то время еще мерили унциями), которую следовало разделить на троих поровну. Внезапно Уинстон услышал себя со стороны: низкий, басовитый голос требовал себе весь шоколад. Мама велела не жадничать. Долго и нудно препирались — с криками, нытьем, слезами, возражениями, уговорами. Кроха-сестричка, цеплявшаяся за мать как обезьянка, смотрела на него огромными, скорбными глазами. В конце концов мама отломила три четверти плитки и отдала Уинстону, а сестре сунула оставшийся кусочек. Та взяла его с отрешенным видом, словно не знала, что это такое. Уинстон смерил ее взглядом, потом внезапно бросился к сестре, вырвал из ее ручонки шоколадку и метнулся к двери.

— Уинстон, Уинстон! — кричала ему вслед мать. — Вернись! Отдай сестре ее шоколад!

Он замер на месте, но в комнату не вернулся. Мама смотрела с тревогой. Сестра сообразила, что чего-то лишилась, и жалобно заплакала. Мама обняла ее, прижала к груди, и Уинстон понял:

сестра умирает. Он опрометью бросился вниз по лестнице, судорожно сжимая в кулаке липкий шоколад.

Больше он мать не видел. Слопав шоколад, Уинстон слегка устыдился и бродил по улицам несколько часов, пока голод не погнал его обратно. Вернувшись домой, он обнаружил, что мама исчезла. В то время это уже стало в порядке вещей. Из комнаты не пропало ничего, кроме матери и сестры. Они не взяли с собой никакой одежды, даже мамин плащ. До сегодняшнего дня Уинстон так и не узнал, умерла мама или нет. Вполне возможно, ее отправили в трудовой лагерь. Сестру могли поместить, как и Уинстона, в колонию для беспризорников (их называли исправительными центрами), которых из-за гражданской войны стало очень много, либо увезли в лагерь вместе с матерью, либо же просто бросили где-нибудь умирать.

Сон так и стоял у него перед глазами, особенно заботливый, успокаивающий жест матери, в каком и заключался главный смысл. Уинстон вспомнил другой сон, что приснился ему два месяца назад. Точно так же, как и на убогой кровати с белым покрывалом, мама сидела, прижимая к себе дитя, в тонущем корабле, далеко внизу,

и погружалась все глубже и глубже, глядя ему в глаза сквозь толщу темнеющей воды.

Он рассказал Джулии историю исчезновения своей матери. Не открывая глаз, она перевернулась на другой бок и устроилась поудобнее.

— Так и знала, что ты был гаденыш, — буркнула Джулия. — Все дети такие.

— Да, но смысл истории в ином…

По дыханию было ясно, что Джулия засыпает. Уинстону очень хотелось поговорить о матери. Судя по тому, что помнилось, вряд ли она была женщиной необыкновенной, тем более умной, хотя при этом отличалась некоторым благородством и праведностью, потому что руководствовалась своими собственными принципами. Ее чувства принадлежали только ей и не поддавались влиянию извне. Маме бы в голову не пришло, что действие, которое не венчает успех, лишено смысла. Если любишь человека, то любишь до конца, и если тебе нечего ему дать, то даешь ему любовь. Когда шоколада не осталось, мать обняла дитя. Ничего не изменилось, шоколада больше не стало, это не отсрочило ни смерть ребенка, ни ее смерть, но по-другому она бы не смогла. Беженка в лодке тоже укрыла ребенка, что защищало от пуль не лучше, чем лист бумаги.

Самое ужасное в том, что Партия совершенно обесценила простые человеческие позывы и чувства, а затем лишила людей всякой возможности влиять на материальный мир. В железных тисках Партии уже не важно, чувствуешь ты что-то или нет, действуешь или воздерживаешься от действия. Что бы ни случилось, ты исчезнешь, и ни о тебе, ни о твоих действиях уже никто не узнает. Тебя просто извлекают из потока истории. Всего пару поколений назад люди не считали это важным, потому что не пытались менять историю. Ими двигали личные привязанности, которые не ставились под сомнение. Тогда по-настоящему ценились человеческие взаимоотношения, и абсолютно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему, значили очень многое. Люди не были преданы партии, стране или идее, они были преданы друг другу. Внезапно Уинстон осознал, что пролы вовсе не презренные существа и не инертная масса, которая когда-нибудь пробудится от спячки и изменит мир. Пролы остались людьми. Они не ожесточились сердцем. Сохранили примитивные чувства, которым Уинстону приходилось учиться, прилагая усилия. Размышляя так, он случайно вспомнил, как несколько недель назад увидел на тротуаре

оторванную руку и пинком отбросил ее в канаву, словно капустную кочерыжку.

— Пролы остались людьми, — сказал он вслух. — А мы — нет…

— Почему? — спросила проснувшаяся Джулия.

Уинстон задумался.

— Тебе не приходило в голову, что лучше всего нам было бы уйти отсюда и больше не встречаться никогда?

— Да, милый, и не раз. Но я от тебя не уйду!

— Пока нам везло, однако скоро все может закончиться. Ты молода, выглядишь вполне нормальной и невинной. Будешь держаться подальше от таких, как я, проживешь еще лет пятьдесят.

— Нет. Я уже все продумала. Куда ты, туда и я. Не падай духом! Выживать я умею хорошо.

— Неизвестно, сколько еще нам осталось провести вместе: полгода, год. Под конец нас точно разлучат. Представляешь, как будет одиноко? Как только нас возьмут, мы не сможем помочь друг другу ничем! Если я признаюсь, тебя расстреляют, если откажусь признаться, тебе все равно не жить. Ничто из того, что я могу сделать, сказать или не сказать, не отсрочит твою смерть больше чем на пять минут. Ни один из нас не будет знать,

жив другой или мертв. Мы будем совершенно бессильны. Важно останется лишь одно: не предать друг друга — хотя и это мало что изменит.

— Коль ты заговорил о признании, — заметила Джулия, — так мы оба признаемся как миленькие. Признаются все и всегда. Под пытками чего только не сделаешь!

— Признание — еще не предательство. Не важно, что ты скажешь или сделаешь, важны лишь чувства. Если им удастся заставить меня разлюбить тебя, это и будет настоящим предательством.

Джулия задумалась.

— Не удастся, — наконец проговорила она. — Тебя могут заставить сказать все –*все* что угодно, — но им никак не заставить тебя в это поверить. В голову тебе им не влезть.

— Ты права, — согласился Уинстон, слегка обнадеженный. — Такое им не по силам. Чувствуешь, что остался человеком, несмотря ни на что, значит, ты победил.

Он вспомнил про вечно работающий телеэкран, недреманое око и ухо. Пусть шпионят день и ночь, главное — не терять голову, тогда их можно перехитрить. При всей своей ухищренности они так и не научились читать чужие

мысли. Впрочем, если попадаешь им в руки, то ситуация меняется. Никому не известно, что именно происходит в министерстве любви, хотя догадаться несложно: пытки, наркотики, чувствительные приборы, улавливающие малейшие реакции тела, постепенное нервное истощение из-за невозможности уснуть, одиночества и усердных допросов. В любом случае фактов не скроешь. Они могут всплыть в ходе дознания, их можно вытянуть под пыткой. Если твоя цель не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы остаться человеком, то какая разница? Над чувствами они не властны: тебе и самому их не изменить, даже если захочется. Они могут вызнать в мельчайших подробностях, что ты сделал или сказал, но в твой внутренний мир им хода нет.

VIII

Наконец-то им удалось!

Уинстон с Джулией стояли в длинной, мягко освещенной комнате. Звук телеэкрана был прикручен до полушепота, толстый синий ковер под ногами казался мягким, как бархат. В дальнем конце кабинета за столом с лампой под зеленым абажуром сидел О’Брайен, зарывшийся в бумаги.

Когда слуга провел Уинстона с Джулией, тот даже не потрудился поднять взгляд.

Сердце Уинстона буквально выпрыгивало из груди, и он сомневался, что сможет заговорить. В голове крутилась единственная мысль: наконец-то, наконец-то им удалось! Прийти сюда было крайне опрометчиво, тем более явиться вдвоем; впрочем, добирались они разными маршрутами и встретились только на пороге. Им потребовалось немалое мужество, чтобы войти в подобное место. Простые партийцы редко наведываются в кварталы, где живут члены Центра Партии, не говоря уже о том, чтобы посещать их апартаменты. Сама атмосфера многоквартирного дома, богатое убранство и просторные помещения, непривычные запахи хорошей еды и дорогого табака, бесшумные и невероятно быстрые лифты, снующая туда-сюда прислуга в белых пиджаках — буквально все здесь заставляло чувствовать себя лишними. Хотя у Уинстона был хороший предлог для визита, его на каждом шагу преследовал страх, что внезапно из-за угла возникнет охранник в черной униформе, потребует предъявить документы и укажет на выход. Однако слуга О'Брайена пустил их без возражений. Это был темноволосый коротышка в белом пиджаке;

судя по ромбовидному, лишенному всякого выражения лицу, он вполне мог иметь китайские корни. Коридор, по которому он провел посетителей, устилал мягкий ковер, на стенах — кремовые обои и белые панели, причем восхитительно чистые. Уинстон даже не помнил, доводилось ли ему видеть коридор, где стены не засалены от частых прикосновений.

О'Брайен держал в руке лист бумаги и внимательно изучал. Массивное лицо, склоненное таким образом, что становилась четко видна линия носа, выглядело одновременно внушительным и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно, затем придвинул к себе речеписец и отчеканил сообщение на гибридном жаргоне министерств:

«Пункты один запятая пять, запятая семь одобрены полностью точка предложение в пункте шесть дваждыплюс нелепо на грани помыслокриминала отменить точка прекратить контрпродуктивную практику заранее плюсполно оценивать производственные издержки точка конец сообщения».

Он неторопливо поднялся и пошел к ним, беззвучно ступая по толстому ковру. После того как хозяин закончил говорить на новослове,

строгости в нем немного убавилось, но вид оставался мрачным, словно его оторвали от важного дела. Уинстон вдобавок к ужасу испытывал и обычное смущение: он понял, что вполне мог глупейшим образом ошибиться. С чего он вообще взял, что О'Брайен политический заговорщик? Из доказательств у него лишь перехваченный взгляд и двусмысленное замечание, остальное же домыслы, вызванные сном. Слишком поздно притворяться, что он пришел за «Словником новослова», ведь как тогда объяснить присутствие Джулии? Проходя мимо телеэкрана, О'Брайен задумчиво остановился, протянул руку и нажал на выключатель. Раздался резкий щелчок, голос умолк.

Джулия ойкнула, не в силах скрыть удивления. Несмотря на приступ паники, Уинстон тоже не смог удержать язык за зубами.

— Вы можете его отключить!

— Могу, — кивнул О'Брайен, — есть у нас такая привилегия.

Теперь он стоял напротив Уинстона с Джулией. Его массивное тело возвышалось над ними, выражение лица оставалось непонятным. Он явно ждал, когда Уинстон заговорит, но о чем говорить? Даже сейчас шансы были велики, что он

просто занятой человек, который сердито недоумевает, зачем его оторвали от важного дела. Все молчали. После выключения телеэкрана в комнате повисла мертвая тишина. Тянулись тягостные секунды. Уинстон с трудом выдерживал тяжелый взгляд О'Брайена. Внезапно мрачное лицо смягчилось, выдав намек на улыбку, и О'Брайен поправил очки привычным жестом.

— Мне сказать или вы сами?.. — спросил он.

— Я сам, — с готовностью подхватил Уинстон. — Вы его действительно выключили?

— Да, все отключено. Мы одни.

— Мы пришли сюда, чтобы… — он помедлил, осознав неясность своих мотивов. Не имея представления, какой именно помощи ждать от О'Брайена, Уинстон не мог словами выразить, зачем пришел. И все же продолжил, хотя и понимал, насколько неубедительно и напыщенно это звучит: — Мы считаем, что существует некий заговор, некая тайная организация, действующая против Партии, и вы в ней состоите. Мы хотим в нее вступить. Мы враги Партии. Мы не верим в принципы ангсоца. Мы помыслокриминалы и прелюбодеи. Я рассказываю вам это потому, что мы предаем себя в ваши руки. Если вам угодно, чтобы мы изобличили себя еще в чем-то, то мы

готовы.

Уинстон умолк и глянул через плечо, почувствовав, что дверь открылась. Как и следовало ожидать, желтолицый слуга вошел без стука. Он держал в руках поднос с графином и бокалами.

— Мартин один из нас, — бесстрастно выговорил О'Брайен. — Неси напитки сюда, Мартин. Поставь на круглый столик. Нам хватает стульев? Тогда давайте присядем и спокойно поговорим. Себе тоже возьми стул, Мартин. Это по делу, так что пока можешь не притворяться слугой.

Коротышка расположился вольготно и в то же время подобострастно, с видом лакея, которому дарована привилегия. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Его поразил человек, всю жизнь играющий роль и страшащийся скинуть привычную маску даже на миг. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. В Уинстоне всколыхнулись смутные воспоминания: то ли на стене, то ли на рекламном щите он когда-то видел сделанную из электрических лампочек огромную бутылку, и огоньки двигались верх-вниз, словно переливая ее содержимое в бокал. Если смотреть сверху, то жидкость казалась почти черной, однако в графине выглядела рубиновой. Запах

был кисло-сладкий. Джулия подняла бокал и с любопытством понюхала.

— Это называется вино, — сообщил О'Брайен с легкой улыбкой. — Несомненно, вы читали о нем в книгах. Боюсь, до Масс Партии оно почти не доходит. — Он снова посерьезнел и поднял бокал. — Полагаю, нам следует начать с того, чтобы выпить за здоровье нашего вождя. За Эммануэля Гольдштейна!

Уинстон поднял бокал с готовностью. О вине он читал и давно мечтал попробовать. Как и стеклянное пресс-папье или полузабытые стихи Чаррингтона, оно принадлежало исчезнувшему, романтическому прошлому, старым добрым временам. Почему-то он всегда думал, что на вкус вино должно быть сладким, как смородиновый джем, и сразу кружить голову. Увы, проглотив залпом свою порцию, Уинстон ощутил лишь разочарование. После стольких лет употребления джина он не смог оценить вкус вина.

— Значит, Гольдштейн на самом деле существует? — спросил он, поставив бокал на стол.

— Да, такой человек есть. Только мне неизвестно, где он.

— А заговор… я имею в виду подпольную организацию… тоже есть? Разве ее не придумала

полиция помыслов?

— Нет, не придумала. Мы называем ее Братство. Вам не суждено узнать о Братстве ничего, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь. — Он посмотрел на наручные часы. — Для Масс Партии неразумно выключать телеэкран больше чем на полчаса. Вы, товарищ, — он поклонился Джулии, — уйдете первой. У нас остается около двадцати минут. Как вы сами понимаете, для начала я должен задать ряд вопросов. В общем и целом, на что вы готовы пойти?

— На все, что в наших силах, — заявил Уинстон.

О'Брайен слегка повернулся, чтобы лучше видеть лицо Уинстона. На Джулию он почти не обращал внимания, считая само собой разумеющимся, что Уинстон говорит за обоих. На миг он прикрыл веки и начал задавать вопросы низким, бесстрастным голосом, словно это была обычная рутина, своего рода катехизис, и бóльшую часть ответов он знал заранее.

— Вы готовы отдать свою жизнь?

— Да.

— Вы готовы убивать?

— Да.

— Совершать диверсии, которые могут погубить сотни невинных людей?

— Да.

— Предать свою страну и сотрудничать с иностранными государствами ей в ущерб?

— Да.

— Вы готовы прибегнуть к обману, лжи, шантажу, вы готовы развращать неокрепшие детские умы, распространять наркотики, поощрять проституцию, распространять венерические заболевания, то есть все то, что деморализует и ослабит Партию?

— Да.

— Если, к примеру, в интересах нашего общего дела нужно будет плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы на это готовы?

— Да.

— Вы готовы лишиться своего подлинного имени и прожить остаток жизни официантом или портовым грузчиком?

— Да.

— Вы готовы покончить с собой, если и когда вам прикажут?

— Да.

— Вы готовы расстаться и больше никогда не видеть друг друга?

— Нет! — не выдержала Джулия.

Уинстон мучительно долго молчал, прежде чем ответить. Казалось, он лишился дара речи. Язык беспомощно ворочался у него во рту, снова и снова пытаясь выговорить один-единственный слог то одного, то другого слова. До последнего он и сам не знал, что ответит.

— Нет, — наконец выдавил он.

— Хорошо, что признались, — похвалил О'Брайен. — Нам необходимо знать о вас все.

Он повернулся к Джулии и добавил чуть менее бесстрастным голосом:

— Вы понимаете, что даже если он выживет, то станет совсем другим человеком? Вероятно, нам понадобится дать ему новое имя. Лицо, манера двигаться, форма рук, цвет волос, даже голос могут измениться. Вы сами тоже станете другой. Наши хирурги способны изменять людей до неузнаваемости. Иногда это бывает необходимо. Иногда мы даже прибегаем к ампутации конечностей.

Уинстон невольно бросил взгляд на монголоидное лицо Мартина. Шрамов вроде бы не видно. Джулия побледнела так, что на лице проступили веснушки, но продолжала отважно смотреть на О'Брайена и даже пробормотала что-то в знак

согласия.

— Значит, договорились!

На столе стояла серебряная шкатулка с папиросами. О'Брайен с рассеянным видом подвинул ее гостям, взял себе одну папиросу, поднялся и начал медленно расхаживать взад-вперед, словно на ходу ему лучше думалось. Папиросы были очень хорошие, толстые и плотно набитые, в непривычно шелковистой бумаге. О'Брайен снова бросил взгляд на наручные часы.

— Мартин, тебе лучше вернуться на кухню, — заметил он. — Я включу телеэкран через четверть часа. Посмотри хорошенько на лица этих товарищей и запомни. Тебе предстоит увидеть их не раз, а мне, может, и нет.

Точно так же, как и у входной двери, коротышка смерил Уинстона с Джулией взглядом. В его манере поведения не было и тени любезности. Он запоминал их внешность, не испытывая к ним ни малейшего интереса. Уинстону пришло в голову, что после пластической операции лицо Мартина, похоже, просто не способно менять выражение. Не сказав ни слова, тот вышел и неслышно прикрыл за собой дверь. О'Брайен продолжал ходить взад-вперед, сунув одну руку в карман черного комбинезона, а в другой держа папиросу.

— Понимаете, — проговорил он, — вам придется сражаться в потемках, причем всегда. Вы будете получать приказы и исполнять их, даже не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, из которой вы узнаете истинную природу общества, в котором мы живем, и стратегию его уничтожения. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Кроме общих целей, за которые мы сражаемся, и своих непосредственных задач, вы не будете знать ничего. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сотни участников или десять миллионов. По своему личному опыту вы даже не сможете сказать, насчитывает ли оно хотя бы дюжину человек. У вас будет три-четыре контакта, они станут обновляться по мере исчезновения. Поскольку этот контакт для вас первый, он сохранится. Отдавать приказы вам буду я. Если понадобится с вами связаться, то привлеку Мартина. Когда вас в конце концов поймают, вы сознаетесь. Это неизбежно. Однако признаваться вам почти не в чем, кроме ваших собственных поступков. Вы сможете предать лишь горстку не особо важных людей. Вероятно, вам даже меня предать не удастся: к тому времени я сгину или стану другим человеком с другим лицом.

Он продолжал вышагивать взад-вперед по мягкому ковру. Двигался О'Брайен, несмотря на свою грузность, поразительно грациозно. Изящество проскальзывало и в его жестах, в том, как он клал руку в карман, как держал папиросу. В целом он производил впечатление не только силы, но и уверенности, проницательности и остроумия. Как бы серьезно ни выглядел, он ничуть не походил на узколобого фанатика. Даже об убийствах, суициде, венерических заболеваниях, ампутации конечностей и пластических операциях он отзывался с легкой иронией. «Ничего не поделаешь, — казалось, сквозило в его тоне, — мы должны прибегнуть к этим мерам без колебаний. Однако мы вполне обойдемся и без них, когда жизнь снова будет стоить того, чтобы жить». Уинстона затопила волна восхищения, граничащего с поклонением. На краткий миг призрачный силуэт Гольдштейна отошел на второй план, уступая место О'Брайену. Глядя на его мощные плечи, на суровое, волевое лицо, такое некрасивое и в то же время одухотворенное, просто не верилось, что он может потерпеть неудачу. Такому по плечу раскусить любые уловки противника, любую опасность он видит наперед. Джулия тоже прониклась к нему доверием, забыла про свою

папиросу и внимательно слушала.

— До вас наверняка доходили слухи о существовании Братства, — говорил О'Брайен. — Уверен, у вас сложилось о нем свое представление: эдакий параллельный мир, где заговорщики встречаются в подвалах, пишут послания на стенах, опознают друг друга по кодам, паролям или особым жестам. Ничего подобного! Члены Братства держатся поодиночке и почти ни с кем из своих не знакомы. Даже сам Гольдштейн, попади он в руки полиции помыслов, не сможет выдать им полный список организации. Такого списка попросту нет! Братство нельзя уничтожить, потому что оно не является организацией в обычном смысле. В его основе лежит идея, а идею уничтожить невозможно. Вы не найдете в нем ни дружбы, ни моральной поддержки, ничего, кроме идеи. Когда вас наконец поймают, вы не получите помощи. Мы никогда не помогаем своим. В лучшем случае, если нам понадобится заставить вас замолчать, можете рассчитывать на бритву, подброшенную в камеру. Вам придется привыкнуть жить без видимых результатов и без надежды. Вы немного поработаете, вас поймают, вы признаетесь и потом умрете. Вот единственный результат, на который вы вправе

рассчитывать. При нашей жизни не произойдет абсолютно никаких значимых изменений. Мы все мертвецы. Настоящая жизнь начнется в далеком будущем, от нас к тому времени останется лишь прах. Неизвестно, когда оно наступит, возможно, через тысячу лет. На данный момент все, что можно сделать, — это понемногу расширять границы здравомыслия. Действовать сообща нельзя. Остается лишь передавать наше знание вовне от человека к человеку, поколение за поколением. Противоборствуя полиции помыслов, действовать иначе просто невозможно.

Он остановился и посмотрел на часы в третий раз.

— Вам пора уходить, товарищ, — обратился он к Джулии. — Погодите! Графин все еще наполовину полон.

О'Брайен разлил вино по бокалам и взял свой за ножку.

— За что пьем на этот раз? — спросил он все с той же легкой иронией. — За бестолковость полиции помыслов? За смерть Большого Брата? За человечество? За будущее?

— За прошлое, — сказал Уинстон.

— Прошлое куда важнее, — серьезно кивнул О'Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О'Брайен достал из верхнего ящика стола коробочку, выдал девушке плоскую белую таблетку и велел положить на язык. Очень важно, пояснил он, чтобы от нее не пахло вином, потому что лифтеры отличаются изрядной наблюдательностью. Как только дверь за Джулией закрылась, О'Брайен словно забыл о ее существовании. Он прошелся по кабинету и замер.

— Нужно обсудить пару деталей. Полагаю, у вас есть какое-нибудь укромное место?

Уинстон рассказал ему о комнате над лавкой Чаррингтона.

— Пока сгодится. Позже мы для вас что-нибудь подыщем. Такие места нужно менять часто. А пока я пришлю вам*Книгу,* — произнес О'Брайен с особым упором на последнем слове, — я имею в виду книгу Гольдштейна. Мне может потребоваться несколько дней, чтобы найти свободный экземпляр. Их не очень много, как вы понимаете. Полиция помыслов охотится за ними и уничтожает, мы едва успеваем печатать. Впрочем, не важно. Книгу нельзя уничтожить. Даже если погибнет последний экземпляр, мы все равно знаем ее наизусть. Вы ходите на работу с портфелем?

— Обычно да.

— Как он выглядит?

— Черный, очень потертый. С двумя ремешками.

— Черный, два ремешка, очень потертый — хорошо. В ближайшие дни… точную дату не назову… одно из ваших утренних заданий придет с опечаткой, и вы попросите его повторить. На следующий день пойдете на работу без портфеля. На улице вашего плеча коснется прохожий и скажет: «Кажется, вы уронили портфель». В нем будет лежать книга Гольдштейна. Вернете ее через четырнадцать дней.

Они помолчали.

— У вас есть еще пара минут, — сообщил О'Брайен. — Мы с вами встретимся… если нам суждено встретиться…

Уинстон поднял взгляд.

— Там, где нет темноты? — нерешительно спросил он.

О'Брайен кивнул, ничуть не удивившись.

— Там, где нет темноты, — повторил он, словно поняв намек. — А пока этот момент не настал, вы ни о чем не хотите у меня спросить или чем-нибудь поделиться?

Уинстон задумался. Вопросов у него больше не было и тем более не возникало желания делиться

высокопарными сентенциями. Вместо чего-то, напрямую связанного с О'Брайеном или Братством, перед его мысленным взором всплыла и сложилась картинка: темная комната, где его мать провела свои последние дни, комнатка над лавкой Чаррингтона, стеклянное пресс-папье и старинная гравюра в палисандровой раме. Почти по наитию он выпалил:

— Вы случайно не знаете старый стишок, который начинается со слов: «Динь-дон, апельсины и лимон»?

О'Брайен снова кивнул. Подчеркнуто серьезно и в то же время учтиво он завершил строфу:

Динь-дон, апельсины и лимон,
С колокольни гудит Сент-Клемент.
За тобой три фартинга,
В ответ бряцает Сент-Мартин…
А Олд-Бейли звонит, вторя в такт:
Заплати-ка должок, дружок…
А Шордич в ответ гудит:
Отдам, как только подфартит.

— Вы знаете последнюю строчку! — воскликнул Уинстон.

— Да, знаю. А теперь, боюсь, вам пора. И возь-

мите-ка себе таблетку от запаха.

Уинстон поднялся, О'Брайен протянул ему руку. От его мощной хватки у Уинстона хрустнули кости. В дверях он оглянулся, но О'Брайен мыслями был уже далеко. Он стоял возле телеэкрана, положив руку на выключатель. За ним виднелись письменный стол, лампа с зеленым абажуром, речеписец и проволочные корзины, заваленные бумагами. Инцидент исчерпан, понял Уинстон, через тридцать секунд О'Брайен вновь вернется к своей важной работе, которую ведет на благо Партии.

IX

Усталость обратила Уинстона в студень. Пожалуй, это внезапно всплывшее в памяти слово обозначало его состояние лучше всего. Такое чувство, словно тело стало не только желеобразным, но и прозрачным: подними руку — и сквозь нее увидишь свет. На Уинстона обрушилась лавина работы, которая выкачала из него всю кровь и лимфу и оставила лишь хрупкий остов из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились до предела: комбинезон натирал плечи, тротуар щекотал ступни, простое сжатие и разжатие

пальцев требовали таких усилий, что хрустели суставы.

За пять дней он проработал более девяноста часов, как и остальные в министерстве. Теперь все закончилось, и до завтрашнего утра ему было совершенно нечем заняться: поручения Партии иссякли. Можно провести шесть часов в укрытии, а еще девять — в собственной кровати. Под мягким полуденным солнцем Уинстон медленно побрел по обветшалой улочке к лавке Чаррингтона, не забывая про патрули, хотя почему-то казалось, что сегодня о них беспокоиться не стоит. При каждом шаге Уинстона бил по колену тяжелый портфель, по ноге бежали мурашки. Внутри лежала книга, полученная шесть дней назад и пока даже не открытая.

На шестой день Недели ненависти, после демонстраций, речей, воплей, песен, транспарантов, плакатов, фильмов, боя барабанов и визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц по мостовым, рева самолетов, ружейных залпов, после шести дней всего этого буйства, которое в чудовищном оргазме достигало кульминации, когда повальная ненависть к Евразии дошла до такого исступления, что, попадись в руки толпы две тысячи евразийских военных

преступников, которых собирались повесить в последний день торжеств, она непременно разорвала бы их на куски, как раз тогда и объявили, что Океания вовсе не воюет с Евразией. Океания воюет с Востазией, а Евразия — союзник.

Разумеется, никто не признал, что ситуация изменилась. Просто вдруг везде и повсюду одновременно стало известно, что враг — Востазия, а не Евразия. В этот момент Уинстон принимал участие в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Стояла ночь, прожектора ярко освещали белые лица и алые транспаранты. На площадь набилось несколько тысяч человек, включая около тысячи школьников в форме Разведчиков. На обтянутой алой материей трибуне перед толпой выступал оратор из Центра Партии, тщедушный коротышка с непропорционально длинными руками и огромным лысым черепом, на котором торчали редкие пряди длинных волос, — вылитый Румпельштильцхен, злой карлик из сказки. Корчась от ненависти, он сжимал микрофон в одной костлявой руке, а другой угрожающе размахивал над головой. Усиленный динамиками голос громко выкрикивал бесконечный перечень кровавых бесчинств, массовых убийств, мародерства, изнасилований, пыток

заключенных, бомбежек мирного населения, лживой пропаганды, ничем не спровоцированной агрессии, нарушенных договоров. Слушать его и не верить было почти невозможно. Толпа раз за разом разражалась гневными воплями, и голос оратора тонул в диком реве тысяч глоток. Яростнее всех орали школьники. Карлик держал речь минут двадцать, когда на помост поспешно влез посыльный и сунул ему записку, которую оратор прочел, даже не сделав паузы. Ни в голосе, ни в поведении оратора, ни в содержании речи не изменилось ровным счетом ничего, но внезапно он стал выкрикивать другие имена. Понимание накрыло толпу волной: Океания воюет с Востазией! Поднялась ужасная суматоха. Транспаранты и плакаты, украшавшие площадь, все неправильные! На половине из них вовсе не те лица. Диверсия! Происки агентов Гольдштейна! Последовала бурная интермедия, во время которой со стен содрали плакаты, транспаранты порвали на куски и растоптали. Юные Разведчики проявили чудеса рвения и ловкости, вскарабкавшись на крыши и срезав растяжки, крепившиеся к дымоходам. Оратор, все еще сжимавший микрофон, сгорбился, потряс кулаком и продолжил речь. Уже через минуту толпу снова всколыхнул дикий

рев ярости. Ненависть бурлила, как и прежде, хотя ее объект изменился.

Больше всего Уинстона поразило, как ловко оратор сменил курс на середине фразы: ни паузы, ни нарушения синтаксиса. Впрочем, сейчас его заботило другое. Во время поднявшейся суматохи, когда толпа срывала плакаты, его хлопнули по плечу, и незнакомый голос произнес: «Кажется, вы обронили портфель». Уинстон рассеянно кивнул, не говоря ни слова. Он знал, что возможность заглянуть внутрь появится не скоро. Как только демонстрация закончилась, он прямиком пошел в министерство правды, хотя было уже почти двадцать три часа. Так поступили все сотрудники, не дожидаясь летевших с телеэкрана приказов.

Океания воюет с Востазией — Океания всегда воевала с Востазией. Бóльшая часть политической литературы совершенно устарела. Всевозможные репортажи и документы, газеты, книги, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все следовало молниеносно поправить. Хотя прямой директивы не вышло, все знали: руководство министерства рассчитывает, что в течение недели исчезнут все свидетельства войны с Евразией и союза с Востазией. Фронт работ удручал,

особенно учитывая, что вещи нельзя было называть своими именами. Все в департаменте документации работали по восемнадцать часов в сутки с двумя перерывами на трехчасовой сон. Из подвала принесли матрасы и разложили по коридорам, работники столовой сновали туда-сюда с сэндвичами и кофе «Победа». Каждый раз, уходя поспать, Уинстон старательно оставлял свой стол пустым, и каждый раз, когда он приползал обратно, продирая слипшиеся глаза и превозмогая боль, обнаруживал очередную лавину бумажных цилиндров, похоронивших под собой речеписец и валившихся на пол, так что первым делом ему приходилось раскладывать их по более-менее аккуратным стопкам, расчищая себе рабочее место. Хуже всего, что его труд ни в коей мере не являлся чисто механическим. Иногда можно было просто заменить одно название на другое, но подробные доклады с места событий требовали особого тщания и изобретательности. Чего стоил один перенос войны в другую часть света со сменой всех географических названий!

На третий день глаза у Уинстона болели невыносимо, очки приходилось протирать каждые пять минут. Он словно сражался с требующей неимоверных физических усилий задачей, от

какой имеешь право отказаться, но в то же время испытываешь невротическое стремление с ней справиться. Правду он помнил, но его ничуть не тревожило, что каждое слово, которое он бормотал в речеписец, каждый росчерк химического карандаша был намеренной ложью. Как и всех остальных сотрудников министерства, Уинстона чрезвычайно заботило, чтобы подделка получилась качественной. На утро шестого дня поток бумажных трубочек замедлился. За целых полчаса не выпало ничего, потом одна бумажка — и все. Работа пошла на спад повсюду почти одновременно, и по министерству разнесся тайный вздох облегчения. Героическое свершение, о каком нельзя упоминать, завершилось. Теперь ни один человек не смог бы документально подтвердить, что война с Евразией вообще имела место. В двенадцать ноль-ноль неожиданно объявили, что все работники министерства свободны до завтрашнего утра. Уинстон взял портфель с книгой, стоявший у него в ногах во время работы и лежавший под ним во время сна, пошел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплой.

С наслаждением похрустывая суставами, он поднялся по лестнице в комнату над лавкой

Чаррингтона. Хотя он устал, спать больше не хотелось. Открыв окно, Уинстон зажег керосиновую плитку и поставил воду для кофе. Скоро придет Джулия, а пока можно и почитать. Он сел в замызганное кресло и расстегнул портфель.

Тяжелая книга в черном самодельном переплете, на обложке ни имени автора, ни названия, шрифт слегка кривоватый. Страницы, захватанные по углам, едва держатся, словно книга прошла через много рук. На титульном листе значилось:

Эммануэль Гольдштейн
Теория и практика олигархического коллективизма

Уинстон начал читать:

Глава 1

Незнание есть сила

На протяжении всего известного нам времени и, вероятно, уже с конца неолита, в мире обитали три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. Они подразделялись множеством образов, носили бессчетные наименования, от эпохи к эпохе

менялась их относительная численность, равно как и отношения групп между собой, однако сущностная структура общества оставалась неизменной. Даже после самых страшных социальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен восстанавливался и утверждался все тот же порядок — так гироскоп всегда вернется к равновесию, как бы и в какую сторону его бы ни толкали.

Цели этих групп абсолютно несовместимы…

Уинстон прервал чтение. Главным образом, чтобы оценить сам факт: он *уже читает* — с удобством и в безопасности. Он совершенно один: нет ни телеэкрана, ни соглядатая у замочной скважины, ни нервного позыва глянуть за спину или прикрыть страницу рукой. В окно врывается ласковый летний ветерок, издалека доносятся детские крики, в комнате стоит полная тишина, не считая тиканья часов, похожего на стрекот насекомого. Он уселся в кресле поудобнее и положил ноги на каминную решетку. Какое блаженство! Повинуясь внезапному порыву, Уинстон открыл книгу наугад, словно текст ему хорошо знаком, читан-перечитан бесчисленное количество раз, и продолжил чтение с третьей главы.

Глава 3

Война есть мир

Разделение мира на три сверхдержавы стало событием, которое предвидели и ожидали задолго до середины двадцатого века. Россия поглотила Европу, США — Британскую империю, что привело к созданию Евразии и Океании. Третья, Востазия, появилась позднее, после десяти лет беспорядочных боев. Границы между тремя сверхдержавами кое-где произвольны, кое-где меняются в зависимости от военных успехов той или иной стороны, но в общем определяются географическим положением. Евразия занимает север европейской и азиатской частей континента, от Португалии до Берингова пролива. Океания включает в себя Северную и Южную Америку, острова Атлантики с Британскими островами, Австралию и юг Африки. Востазия, которая по размеру меньше двух других держав и с менее четкими границами на западе, состоит из Китая и стран к югу от него, Японских островов и большой, хотя и непостоянной территории Маньчжурии, Монголии и Тибета.

В той или иной комбинации три сверхдержавы

находятся в состоянии перманентной войны, и так продолжается уже двадцать пять лет. Впрочем, война больше не является решительной борьбой по уничтожению друг друга, как было в начале двадцатого века. Боевые действия ведутся ограниченным числом участников, которые не способны друг друга уничтожить, не имеют материальных причин сражаться и не разделены непримиримыми идеологическими противоречиями, что вовсе не свидетельствует о том, что правила ведения войны или отношение общества к ней стало менее кровожадным или более благородным. Напротив, во всех трех странах не прекращается военная истерия, а такие зверства, как изнасилования, мародерство, массовое уничтожение детей и обращение в рабство, издевательства над военнопленными, которых даже варят в кипятке и хоронят живьем, считаются вполне приемлемыми и даже обоснованными, если их совершают свои, а не враг. Ощутимо война затрагивает очень немногих, в основном обученных специалистов, что приводит к сравнительно небольшому числу жертв. Сражения ведутся на отдаленных границах, о местонахождении которых обычные люди могут лишь догадываться, или на плавучих крепостях, которые охраня-

ют стратегические точки на морских путях. В центрах государств война проявляется лишь в постоянной нехватке потребительских товаров и в падении баллистических ракет, губящих считаные десятки граждан. Фактически изменился сам характер войны. Точнее, изменения произошли в порядке значимости причин, по которым ведется война. Мотивы, так или иначе вызвавшие мировые войны первой половины двадцатого века, ныне превалируют, они давно общепризнаны и широко используются всеми участниками.

Для понимания природы нынешней войны (несмотря на перегруппировку сил, которая случается раз в несколько лет, ведется одна и та же война), в первую очередь следует осознать, что победа в ней невозможна. Ни одну из трех сверхдержав нельзя победить, даже если против нее объединятся две другие. Соперники равны по силам, специфика их географического положения служит им естественной защитой. Евразию оберегают обширные равнины, Океанию — Атлантический и Тихий океаны, Востазию — плодовитость и трудолюбие ее населения. Материальных причин для разногласий также нет. В контексте самодостаточных государственных экономик, в которых производство и потреб-

ление завязаны друг на друга, битва за рынки, основная причина войн прошлого, подошла к концу, а конкуренция за сырье потеряла актуальность, перестав быть вопросом жизни и смерти. В любом случае территории трех сверхдержав настолько обширны, что у них есть практически любые необходимые ресурсы. И если уж говорить об экономической цели войны, то это битва за рабочую силу. Между сверхдержавами находится территория, представляющая собой неровный четырехугольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, где проживает примерно пятая часть населения планеты. Собственно, за обладание этим густонаселенным регионом и за северную полярную шапку и борются наши три сверхдержавы. На самом деле всю спорную территорию не контролирует никто. Ее части постоянно переходят из рук в руки, и именно шанс захватить тот или иной участок благодаря внезапному вероломству обуславливает бесконечную смену союзников.

На всех спорных территориях имеются залежи полезных ископаемых, на некоторых добывают ценные продукты растениеводства вроде каучука, которые в холодном климате приходится синтезировать, что невыгодно с экономической

точки зрения. Но самое главное — практически неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы. Тот, кто контролирует Экваториальную Африку, страны Ближнего Востока, Южную Индию или Индонезийский архипелаг, также получает десятки или сотни миллионов низкооплачиваемых и трудолюбивых работяг. Жители этих земель, низведенные практически до состояния рабов, постоянно переходят от захватчика к захватчику и расходуются как уголь или нефть в гонке вооружений, в захвате новых территорий, в контроле над большим количеством рабочей силы, в выпуске большего количества оружия, в захвате новых территорий и так до бесконечности. Следует отметить, что военные действия редко выходят за пределы спорных территорий. Границы Евразии сдвигаются взад-вперед между бассейном Конго и северным берегом Средиземного моря; острова Индийского и Тихого океанов постоянно захватывает то Океания, то Востазия; линия раздела между Евразией и Востазией в Монголии не бывает стабильной никогда; вокруг Полюса все три сверхдержавы претендуют на огромные территории, которые почти не заселены и не исследованы, однако расстановка сил всегда остается более-менее неизменной, внут-

ренние территории сверхдержав — неприкосновенными. Более того, для мировой экономики труд эксплуатируемых народов в зоне экватора не очень-то и необходим. На благосостоянии планеты их труд не сказывается: все, что они производят, используется в военных целях, а цель войны в том и состоит, чтобы как можно лучше подготовиться к новой войне. Своим трудом порабощенное население лишь способствует ускорению темпа непрекращающейся войны. Впрочем, если бы этих рабов не существовало вовсе, ни структура мирового общества, ни процесс, посредством которого оно себя поддерживает, радикально не изменились бы.

Основная цель современной войны (согласно принципам *двоемыслия*, эта цель одновременно признается и не признается руководством в лице Центра Партии) — расходовать выпускаемую промышленностью продукцию без улучшения уровня жизни населения. В развитых странах проблема избытка товаров широкого потребления возникла уже в конце девятнадцатого века. В наши дни, когда мало кто ест досыта, эта проблема стоит не столь остро и могла бы не возникнуть вовсе даже в том случае, если не были бы искусственно запущены процессы раз-

рушения материальных благ. Мир сегодняшний — весьма убогое, голодное, разоренное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, не говоря уже о будущем, которое грезилось людям того времени. В начале двадцатого века практически любой грамотный человек мечтал об обществе невероятно богатом, вольном, добропорядочном и плодотворном, которое обитает в сверкающем стерильном мире из стекла, стали и белоснежного бетона. Наука и техника развивались с поразительной быстротой, и всем казалось, что так будет продолжаться вечно. Однако вышло совсем иначе. Отчасти тому виной обнищание, вызванное длинной чередой войн и революций, отчасти причина в том, что научно-технический прогресс зависит от эмпирического образа мыслей, поэтому стал невозможен в обществе, жизнь которого строго регламентирована. В целом мир теперь гораздо примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Некоторые — в свое время отсталые — сферы человеческой деятельности развились, появилась новая техника, так или иначе связанная с вооружением и полицейским надзором, однако эксперименты и изобретения по большей части прекратились, разрушительные последствия атомной войны пятидесятых

годов так и не устранили. Тем не менее опасности, которые таит в себе машина, никуда не делись. С момента появления первых станков всем мыслящим людям стало ясно, что отпала необходимость в тяжелом физическом труде, значит, должно исчезнуть и неравенство. Если машины использовать в этих целях, то голод, перенапряжение, грязь, неграмотность и болезни удастся уничтожить буквально через пару поколений. Фактически в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века пришедшая на смену ручному труду автоматизация значительно повысила уровень жизни среднего человека всего за каких-нибудь пятьдесят лет.

При этом стало ясно, что увеличение благосостояния грозит разрушением (более того, в каком-то смысле оно и есть разрушение) иерархического общества. В мире, где все работают неполный рабочий день, едят досыта, живут в доме с ванной и холодильником, имеют свой автомобиль или даже самолет, исчезает самая очевидная и, пожалуй, самая важная форма неравенства. Становясь всеобщим, богатство перестает порождать неравенство социальное. Несомненно, можно представить общество, в котором *богатство* в смысле личного имущества

и предметов роскоши распределено равномерно, в то время как *власть* сосредоточена в руках маленькой привилегированной касты. Однако на практике такое общество оставалось бы стабильным недолго. Если бы отдых, досуг и безопасность были доступны в равной мере всем, то огромные массы людей, чье сознание обычно задурманено нищетой, стали бы грамотными, научились думать своей головой и рано или поздно осознали бы, что привилегированное меньшинство не выполняет никаких функций и от него следует избавиться. В общем, иерархическое общество возможно построить лишь на основе нищеты и невежества. Возвращение к аграрному прошлому, которое грезилось мечтателям начала двадцатого века, проблемы не решило бы, поскольку противоречило тенденции к механизации, охватившей почти весь мир; любой индустриально отсталой стране грозили бы военная немощь и подчинение, прямое или косвенное, более развитому противнику.

Как показал опыт конечной стадии капитализма в 1920–1940 годы, держать массы в нищете с помощью искусственного ограничения производства товаров широкого потребления — тоже не выход. Экономике многих стран позволили

впасть в стагнацию, земли перестали возделывать, производство простаивало, огромная часть населения лишилась работы и жила лишь на государственные пособия. Это повлекло за собой военную немощь, и поскольку лишения, которые обрушились на народ, были явно ненужными, противостояние власти стало неизбежным. Проблема состояла в том, как заставить шестеренки промышленности крутиться без увеличения реального богатства мира. Товары должны производиться, но не доходить до потребителя. Единственный способ добиться этого на практике — вести непрерывную войну.

Сущность войны есть уничтожение, причем необязательно человеческих жизней, а продуктов человеческого труда. Война — способ разорвать на куски, отправить в стратосферу или в морские глубины материалы, которые могли бы сделать жизнь масс удобнее и, в долгосрочной перспективе, гораздо осмысленнее. Даже если орудия войны не уничтожаются, их производство позволяет расходовать рабочую силу без изготовления товаров, которые нужно потреблять. Плавучую крепость, к примеру, создают и обслуживают люди, которых хватило бы на постройку сотен грузовых судов. Крепость в

итоге устаревает и подлежит утилизации, так и не произведя ничего материально полезного, и вновь огромные ресурсы идут на следующую крепость. В принципе, военные действия всегда планируются таким образом, чтобы поглощать любые излишки, которые остаются после того, как удовлетворены минимальные потребности населения. На практике потребности населения всегда недооценивают, в результате чего существует постоянная нехватка предметов первой необходимости, но на деле это оборачивается большим преимуществом. Проводится целенаправленная политика, суть которой в том, чтобы держать на грани лишений даже привилегированные группы, потому что состояние тотальной нехватки увеличивает важность маленьких привилегий, тем самым увеличивая разрыв между группами. По стандартам начала двадцатого века даже члены Центра Партии ведут спартанский, многотрудный образ жизни. Тем не менее редкие предметы роскоши, которыми они пользуются в своих просторных, хорошо обставленных апартаментах, одежда из более добротной материи, лучшее качество еды, напитков и табака, два-три слуги, личный автомобиль или вертолет делают их на голову выше Массы Партии, а те,

в свою очередь, имеют сходные преимущества по сравнению с совсем обездоленными, которых мы зовем пролами. В обществе царит атмосфера осажденного города, где разницу между богатством и бедностью определяет обладание куском конины. И в то же время осознание того, что идет война и стране угрожает опасность, делает передачу всех прав и полномочий небольшой касте естественным и неизбежным условием для выживания.

Война, как нетрудно понять, приводит к необходимым разрушениям, причем осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе, чтобы избавиться от излишка трудовых ресурсов, можно было бы возводить храмы и пирамиды, рыть и закапывать ямы или даже производить большое количество товаров, и потом их сжигать. Однако это обеспечило бы лишь экономическую основу для иерархического общества, оставив в стороне психологическую. И речь здесь идет не о моральном духе масс, чье миропонимание не имеет значения, пока они заняты непрерывным трудом, а о духе самой Партии. Даже ее рядовой сторонник должен быть компетентен, трудолюбив и способен мыслить в узких рамках; в то же время он должен

быть легковерным и невежественным фанатиком, чьи преобладающие настроения — страх, ненависть, слепое поклонение и необузданный восторг. Иначе говоря, его менталитет должен соответствовать состоянию войны. Не важно, идет война на самом деле или нет, и, поскольку окончательная победа не возможна, неважно, успешны боевые действия или нет. Главное, чтобы война продолжалась. Расщепление сознания, которого требует от своих членов Партия и которого легче всего достичь в атмосфере войны, распространено практически повсеместно, и чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее оно проявляется. Военная истерия и ненависть к врагу особенно сильны именно в Центре Партии. Как руководителю члену Центра Партии необходимо знать, что та или иная сводка с места боевых действий не соответствует действительности, он может понимать, что война — фикция либо же ведется в целях совсем других, чем заявлено, однако это знание легко нейтрализуется с помощью принципа *двоемыслия*. В результате ни один из членов Центра Партии ни на миг не теряет мистической веры в то, что война происходит на самом деле и непременно окончится победой Океании, кото-

рая станет бесспорным властителем мира.

Все члены Центра Партии верят в грядущее покорение мира и признают его догмой. Оно случится либо благодаря постепенному захвату все бóльших территорий и достижению подавляющего перевеса в силе, либо благодаря изобретению нового, сверхмощного оружия. Разработки ведутся непрерывно, и это практически единственная сфера деятельности, где может найти себе применение изобретательный и склонный к абстрактному мышлению ум. В современной Океании наука практически прекратила свое существование. В новослове нет понятия «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все достижения прошлого, противоречит базовым принципам ангсоца. Технический прогресс допустим лишь в том случае, если способствует ограничению человеческой свободы. Все полезные ремесла либо перестали развиваться, либо деградировали. Поля обрабатываются с помощью плугов и лошадей, книги пишут станки. Но в вопросах жизненной необходимости, то есть войны и полицейского надзора, эмпирический подход все еще поощряют или смотрят на него сквозь пальцы. Перед Партией стоят две цели: завоевать всю планету и навсегда

уничтожить возможность мыслить независимо. Соответственно, насущных задач у Партии тоже две. Первая состоит в том, как против воли человека узнать, о чем он думает, вторая — как убить несколько сотен миллионов людей за считаные секунды. Пока научные изыскания еще ведутся, это и есть их предметная область. Сегодняшний ученый либо гибрид психолога и инквизитора, который изучает в мельчайших деталях значение мимики, жестов и интонаций голоса и использует для выяснения истины целый ряд средств вроде наркотиков, электрошока, гипноза и физических пыток, либо же он химик, физик или биолог, которого интересуют лишь те сферы его дисциплины, что связаны с умерщвлением людей. Команды экспертов трудятся без устали в огромных лабораториях министерства мира и на экспериментальных станциях в глубине джунглей Бразилии, в пустынях Австралии или на необитаемых островах Арктики. Одни заняты планированием материально-технического обеспечения будущих войн, другие конструируют все более и более крупные баллистические ракеты, мощную взрывчатку и неуязвимую броню; третьи создают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно производить

в промышленных масштабах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или разводят смертоносные микробы и бактерии, устойчивые к любым антителам; четвертые пытаются придумать транспортное средство, способное двигаться под землей как субмарина под водой, или самолет, которому не нужна дозаправка, как парусному кораблю; пятые изучают еще более незаурядные возможности вроде фокусировки солнечных лучей с помощью линз, расположенных в космосе, использование энергии ядра Земли для создания искусственных землетрясений и мощных приливных волн типа цунами.

Ни один из этих проектов не осуществится, и ни одна сверхдержава не обретет значительного преимущества перед другими. Самое удивительное, что у всех троих уже есть атомная бомба — оружие гораздо более мощное, чем способны изобрести их сегодняшние ученые. Хотя Партия и приписывает себе ее создание, первые атомные бомбы появились в сороковых годах двадцатого века. Широкое использование началось десятью годами позже, когда сотни бомб сбросили на промышленные центры, в основном в европейской части России, в Западной Европе и в

Северной Америке. Произведенный эффект убедил правящие верхушки всех стран в том, что дальнейшие взрывы положат конец организованному обществу и, соответственно, их власти. В дальнейшем, хотя никакого официального соглашения никто не подписывал, ядерные бомбежки прекратились. Все сверхдержавы продолжают производить и хранить атомные бомбы в ожидании подходящей возможности, которая, по их мнению, рано или поздно непременно представится. Между тем искусство войны за последние тридцать-сорок лет почти не изменилось. Вертолеты теперь используют чаще, чем раньше, самолеты-бомбардировщики постепенно вытесняются баллистическими ракетами, уязвимый подвижный линкор заменила почти непотопляемая плавучая крепость, но в остальном особых перемен нет. Танк, подводная лодка, торпеда, пулемет, винтовка и даже ручная граната все еще в ходу. Несмотря на нескончаемые массовые побоища, о которых сообщает пресса, ожесточенные сражения предшествовавших войн, где за считаные недели гибли тысячи и даже миллионы солдат, отошли в прошлое.

Ни одна сверхдержава больше не проводит маневров, которые грозят серьезным пораже-

нием. Любая крупная операция, как правило, представляет собой неожиданное нападение на союзника. Стратегия, которой придерживаются или делают вид, что придерживаются, все сверхдержавы, одна и та же: сочетая боевые действия, переговоры, хорошо выверенные предательские удары, взять соперника в кольцо, а потом подписать договор о дружбе и много лет жить с ним в мире, чтобы усыпить бдительность. Тем временем можно стянуть в стратегически важные места ракеты с атомными бомбами и запустить их одновременно, вызвав разрушения настолько смертоносные, что ни о каком ответном ударе не будет и речи. Далее настанет черед другого противника, с которым также заключается договор о дружбе и готовится очередное нападение. Едва ли стоит говорить, что подобная схема — всего лишь несбыточная мечта, осуществить которую невозможно. Более того, боевые действия ведутся исключительно вдоль экватора и вокруг полюса — никаких вторжений на территорию врага не предпринимается. Именно поэтому границы между сверхдержавами выглядят несколько произвольными. К примеру, Евразия могла бы с легкостью захватить Британские острова, которые с точки зрения географии относятся к Европе,

или Океания могла бы передвинуть границу до Рейна или даже до Вислы, однако это нарушило бы негласный, но признаваемый всеми сторонами принцип культурной целостности. Если бы Океания завоевала территории, ранее известные как Франция и Германия, то ей пришлось бы ликвидировать их жителей, что чисто физически весьма затратно, или же ассимилировать население в сто миллионов человек, которое в плане технического развития находится примерно на том же уровне, что и жители Океании. Для сохранения существующего порядка следует исключить всякие контакты граждан с иностранцами, за исключением, в ограниченной степени, военнопленных и цветных рабов. Даже к союзнику всегда следует относиться с подозрением. Не считая военнопленных, обычный гражданин Океании никогда не видит ни евразийцев, ни востазийцев, а владеть иностранными языками ему строго запрещено. Если разрешить контакты с иностранцами, то он узнает, что сходств между ними больше, чем различий, и бóльшая часть того, что о них рассказывали, ложь. Его замкнутый мирок рухнет, и страх, ненависть, уверенность в собственной правоте, которые определяют его моральный дух, могут испариться. Поэтому все

стороны прекрасно понимают: как бы часто Персия, Египет, Ява или Цейлон ни переходили из рук в руки, основные границы не должно пересекать ничто, кроме боеголовок.

В основе этого лежит факт, о котором вслух не говорят, но обязательно учитывают: условия жизни во всех трех сверхдержавах практически одинаковые. В Океании господствует идеология под названием ангсоц, в Евразии — необольшевизм, в Востазии — культ смерти, хотя более точно было бы перевести его с китайского как «уничтожение своего я». Гражданину Океании не дозволено знать ничего про основные принципы двух других концепций, его учат их презирать, поскольку они суть варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле все три мало чем отличаются, а социальные системы, которые они поддерживают, вообще идентичны. Везде та же пирамидальная структура, то же поклонение вождю, та же экономика, существующая благодаря непрекращающейся войне и работающая лишь на нее. Отсюда следует, что три сверхдержавы не только не могут завоевать друг друга, но и не получат от этого никаких преимуществ. Напротив, находясь в конфликте, они служат друг для друга подспорьем. Правящие

группы всех трех сверхдержав одновременно осознают и не осознают, что творят. Их жизни посвящены завоеванию мира, и в то же время они знают, что война должна продолжаться вечно и без победы. Между тем отсутствие опасности завоевания позволяет отрицать реальность, что является характерной особенностью ангсоца и систем взглядов его противников. Тут следует напомнить о сказанном выше: став непрерывной, война в корне изменилась.

В прошлом война по определению была событием, которое рано или поздно заканчивалось либо победой, либо поражением. Также война выполняла другую очень важную функцию — она помогала обществу поддерживать связь с действительностью. Во все века правители пытались навязать своим подданным ложные представления о мире, но не могли позволить себе поощрять иллюзии, которые способны ослабить военную мощь страны. Поскольку поражение означало утрату независимости или иные нежелательные последствия, меры предосторожности принимались самые серьезные. Игнорировать естественные процессы нельзя. В философии, религии, этике или политике дважды два может равняться пяти, однако если речь

идет о проектировании пушки или самолета, то дважды два четыре и только четыре. Отсталые народы рано или поздно подчинялись более технологически продвинутым, ведь технический прогресс с иллюзиями несовместим. Более того, достижения в настоящем невозможны без оглядки на достижения прошлого, и без хорошего знания истории тут не обойтись. Разумеется, газеты и книги всегда приукрашивали события и излагали их необъективно, но они не идут ни в какое сравнение с нынешней тотальной подтасовкой. Война стояла на страже здравого смысла и, насколько это вообще применимо к правящему классу, служила самым надежным его гарантом. Пока войну можно было выиграть или проиграть, ни один правящий класс не мог позволить себе полной безответственности.

Если война становится непрерывной, она перестает быть опасной. Исчезает само понятие военной необходимости. Технический прогресс может остановиться, самые очевидные факты можно отрицать или игнорировать. Как мы уже видели, так называемые научные исследования еще продолжаются, хотя, по сути, они стали бесполезными мечтаниями и отсутствие результатов уже не имеет значения. Больше не нужны

ни технический прогресс, ни боеспособность армии. В Океании эффективно действует и развивается лишь полиция помыслов. Поскольку ни одну сверхдержаву завоевать нельзя, каждая как бы отдельная вселенная, где с сознанием людей можно смело творить все что угодно. Реальность сводится к необходимости удовлетворять бытовые потребности: есть и пить, спать под крышей и одеваться, не проглотить яд, не вывалиться из окна верхнего этажа — и все в таком духе. Разница между жизнью и смертью, между удовольствием и болью все еще существует, но на том и все. Гражданин Океании отрезан и от внешнего мира, и от прошлого, он подобен человеку в межзвездном пространстве, который не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, даже не снившейся ни египетским фараонам, ни римским императорам. Они обязаны следить за тем, чтобы их подданные не мерли от голода в слишком больших количествах, и поддерживать свою военную технику на том же низком уровне, что и у соперников. Достигнув этого минимума, они могут искажать реальность, как им заблагорассудится.

Таким образом, по меркам предыдущих войн, нынешняя война — просто обман. Она подобна

поединку между жвачными животными, чьи рога изогнуты под таким углом, что поранить друг друга не могут. Впрочем, при всей своей нереальности война вовсе не бессмысленна: она пожирает избыток потребительских товаров и помогает сохранять особую атмосферу, необходимую для существования иерархического общества. Война, как мы видим, — дело исключительно внутреннее. В прошлом правящие группы всех стран хотя и осознавали общность своих интересов и старались ограничивать степень разрушений, действительно сражались друг с другом, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни правители держав сражаются вовсе не друг с другом. Войну ведет правящая верхушка против своих подданных; цель войны не захватить территорию или предотвратить ее захват противником, а сохранять структуру общества в неизменном виде. Следовательно, само слово «война» вводит в заблуждение. Вероятно, правильнее сказать, что, сделавшись непрерывной, война перестала существовать. Особое давление, которое она оказывала на людей с эпохи неолита и до начала двадцатого века, исчезло, и на смену ему пришло нечто совершенно иное. Если бы вместо того чтобы друг с другом

воевать, три сверхдержавы договорились жить в мире вечно и оставаться каждая в пределах своих границ, эффект был бы тот же самый, ведь в этом случае каждая оставалась бы замкнутой вселенной, навеки свободной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Бессрочный мир есть то же самое, что бессрочная война. В этом, хотя большинство членов Партии понимают его весьма поверхностно, и заключен истинный смысл партийного лозунга «Война есть мир».

Вдалеке прогремел мощный взрыв, и Уинстон прервал чтение. Блаженный настрой, который дарило ему уединение с запретной книгой в комнате без телеэкрана, не ослабевал. Одиночество и безопасность воспринимались на уровне физических ощущений, которые смешивались с усталостью тела, мягкостью кресла, легким дуновением ветерка из открытого окна. Книга глубоко поразила Уинстона или, точнее сказать, рассеяла его сомнения. В каком-то смысле она не поведала ничего нового, но это лишь придавало ей очарования. Она выразила то, что сказал бы сам Уинстон, если бы смог привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была продуктом ума, сходного с его собственным, только гораздо более мощного, более методичного и менее

запуганного. Лучшие книги, считал Уинстон, рассказывают о том, что тебе и самому известно. Он вернулся к первой главе, и тут на лестнице раздались шаги Джулии.

Уинстон поднялся с кресла ей навстречу. Девушка опустила коричневую сумку для инструментов на пол и бросилась к Уинстону. С их последней встречи прошло больше недели.

— Книга у меня! — выпалил Уинстон, едва они разомкнули объятия.

— Да ну? Вот и хорошо, — проговорила Джулия без особого интереса, встала на колени перед конфоркой и принялась готовить кофе.

Они не вспоминали о книге, пока не провели в кровати полчаса. К вечеру стало холодать, пришлось накрыться стеганым одеялом. Снизу доносились знакомая песня и шарканье ботинок по каменным плитам двора. Могучая женщина с красными руками, которую Уинстон заметил в свой первый приход, была почти неотъемлемой частью пейзажа. Такое чувство, что она все дни напролет сновала между корытом и бельевыми веревками, то набивая рот прищепками, то распевая слащавую песню. Джулия улеглась на бок и задремала. Уинстон поднял с пола книгу и сел повыше, прислонившись к спинке кровати.

— Мы обязаны ее прочитать, — сказал он. — Ты тоже. Ее должны прочесть все члены Братства.

— Давай лучше ты, — проговорила Джулия, не открывая глаз. — Читай вслух, заодно и объясняй мне по ходу дела.

Стрелки часов показывали шесть, то есть восемнадцать ноль-ноль. Впереди еще часа три-четыре. Уинстон прислонил книгу к коленям и начал читать:

Глава 1

Незнание есть сила

На протяжении всего известного нам времени и, вероятно, уже с конца неолита, в мире обитали три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. Они подразделялись множеством образов, носили бессчетные наименования, от эпохи к эпохе менялась их относительная численность, равно как и отношения групп между собой, однако сущностная структура общества оставалась неизменной. Даже после самых страшных социальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен восстанавливался и утверждался все тот же порядок — так гироскоп всегда вернется к равновесию, как бы и в какую сторону его бы

ни толкали.

— Джулия, ты не спишь?

— Нет, любимый, я слушаю, продолжай. Это поразительно!

Уинстон продолжил:

Цели этих групп абсолютно несовместимы.

Цель Высших — оставаться там, где они есть. Цель Средних — поменяться местами с Высшими. Цель Низших (если она у них вообще имеется, поскольку Низшие всегда слишком задавлены тяжким трудом и редко обращают внимание на то, что лежит за пределами повседневной жизни) — уничтожить все различия и создать общество, в котором все люди равны. Таким образом, на протяжении всей истории человечества идет борьба, в общих чертах повторяющаяся снова и снова. В течение долгого времени Высшим вроде бы удается надежно удерживать власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют или веру в себя, или способность управлять эффективно, или и то и другое сразу. Тогда их свергают Средние, которые привлекают на свою сторону Низших, придав этому вид борьбы за свободу и справедливость. Достигнув цели, Средние вновь обращают Низших в рабов, а сами

становятся Высшими. Вскоре новые Средние отделяются от одной из двух групп или от обеих, и все начинается сызнова. Из всех трех групп лишь Низшие никогда не преуспевают в достижении своих целей, даже временно. Вряд ли будет преувеличением сказать, что на протяжении всей истории человечества не произошло никаких изменений в материальном плане. Даже сейчас, в период упадка, среднестатистический человек живет гораздо лучше, чем несколько веков назад, однако ни рост благосостояния, ни смягчение нравов, ни реформы, ни революции ни на йоту не приблизили человеческое равенство. Для Низших любые исторические перемены заключаются одной только сменой имен их хозяев.

К концу девятнадцатого века повторяемость данной модели стала очевидна для многих наблюдателей. Появились целые школы мыслителей, которые понимали историю как циклический процесс и утверждали, что неравенство есть непреложный закон природы. Разумеется, у этой доктрины всегда хватало последователей, но ныне она претерпела значительные изменения. В прошлом иерархическая структура общества определялась исключительно Высшими. Доктрину проповедовали короли и аристократы,

священники, правоведы и иные им подобные паразиты, ее суровость смягчалась обещаниями компенсации в загробной жизни. В ходе борьбы за власть Средние всегда прибегали к идеям свободы, справедливости и братства. Теперь же концепция общечеловеческого братства стала подвергаться нападкам со стороны тех, кто еще не занял ключевые посты, но рвался к ним на всех парах. В прошлом Средние устраивали революции под лозунгом равенства и устанавливали новую тиранию, едва свергнув старую. Новые Средние, по сути, провозгласили свою тиранию заранее. Возникший в начале девятнадцатого века социализм стал последним звеном в цепи идей, восходивших к восстаниям рабов времен Античности, а потому по-прежнему испытывал сильное влияние утопизма прошлых эпох. Однако с начала двадцатого века его разновидности все более открыто порывали с принципами свободы и равенства. Появившиеся в середине века новые движения: ангсоц в Океании, необольшевизм в Евразии и так называемый культ смерти в Востазии — осознанно ставили своей целью увековечить *не*свободу и *не*равенство. Разумеется, новые движения выросли из старых и сохраняли некую видимость преемственности как в

плане названия, так и в плане идеологии, но их истинной целью было затормозить прогресс и остановить ход истории. Маятник должен был качнуться еще раз и остановиться. Как обычно, Высших сбросили бы Средние, которые затем сами стали бы Высшими, только теперь, благодаря осознанной стратегии, они смогли бы сохранить свое положение уже навсегда.

Отчасти новые доктрины возникли в результате накопления исторических знаний и роста исторического мышления, которое сформировалось лишь в конце девятнадцатого века. Цикличность истории стала понятной (или казалась таковой), значит, на нее можно влиять. Главная же подоплека заключалась в ином: уже в самом начале двадцатого века всеобщее равенство сделалось технически возможным. Разумеется, люди по-прежнему различались по способностям и разделение функций ставило бы одних в более выгодное положение, нежели других, зато необходимость в различиях классов или уровней благосостояния отпала. В прежние времена классовые различия были не только неизбежны, но и желательны: неравенство являлось платой за цивилизацию. С развитием машинного производства ситуация изменилась.

Хотя людям и приходилось заниматься разными видами деятельности, они вполне могли стоять на равных социальных или экономических уровнях. Таким образом, с точки зрения новых групп, собиравшихся захватить власть, человеческое равенство из идеала, к которому следует стремиться, превратилось в угрозу, которую следует предотвратить. В древности, когда построить справедливое и мирное общество было фактически невозможно, верилось в него легко. Идея земного рая, где люди живут как братья, без законов и тяжкого труда, преследовала человечество тысячи лет. И эта фантазия оказывала определенное влияние даже на тех, кто от исторических перемен только выигрывал. Наследники французской, английской и американской революций отчасти и сами верили в свои пустые слова о правах человека, свободе слова, равенстве перед законом и в какой-то мере даже руководствовались ими. Однако к сороковым годам двадцатого века все основные течения политической мысли сделались авторитарными. Идея земного рая была развенчана как раз тогда, когда стала вполне достижимой. Каждая новая политическая теория, как бы она себя ни именовала, снова призывала к иерархии и общественной регламентации. В

свете всеобщего ужесточения взглядов, произошедшего к 1930 году, старые методы, позабытые сотни лет назад (помещение в тюрьму без суда и следствия, использование военнопленных в качестве рабов, публичные казни, выбивание признаний под пытками, взятие заложников, насильственное переселение народов) не только получили широкое применение, но и нашли своих защитников и даже сторонников среди тех, кто считал себя людьми просвещенными и прогрессивными.

Лишь спустя десять лет гражданских войн, революций и контрреволюций англсоц и соперничавшие с ним доктрины полностью сформировались как законченные политические теории. Их предвестниками стали различные системы, которые обычно называют тоталитарными, и родившиеся из всеобщего хаоса основные правила мироустройства, очевидность которых уже давно никто не подвергал сомнению, как и то, кому предстоит этим новым миром управлять. Новая аристократия состояла по большей части из чиновников, ученых, инженерно-технического персонала, профсоюзных деятелей, спецов по связям с общественностью, социологов, учителей, журналистов и профессиональных политиков.

Этих выходцев из госслужащих среднего класса и верхнего слоя рабочего класса сформировал и свел воедино стерильный мир монополистической промышленности и централизованного правительства. По сравнению со своими предшественниками они были менее алчными и не так сильно любили роскошь, зато им больше хотелось власти, и, что самое главное, они прекрасно понимали, что делают, стремясь сокрушить оппозицию. Последнее отличие оказалось ключевым. По сравнению с нынешними режимами все диктатуры прошлого кажутся малодушными и неэффективными. Правящие группы всегда были в той или иной мере заражены либеральными идеями, на многие проблемы смотрели сквозь пальцы, действовали лишь в случае открытого неповиновения и не интересовались тем, о чем думают подданные. По современным меркам даже средневековая католическая церковь считается терпимой. Отчасти это обусловлено тем, что в прошлом правительство не имело возможности держать граждан под постоянным наблюдением. Впрочем, с изобретением книгопечатания манипулировать общественным мнением стало проще, а кино и радио стали пособниками дальнейшего развития этого процесса. Совершен-

ствование телевидения, создание оборудования, способного одновременно получать и передавать сигналы, прикончили частную жизнь. За любым гражданином или по крайней мере за любым гражданином, заслуживающим внимания, стало возможно вести круглосуточное наблюдение и одновременно пичкать его официальной пропагандой, перекрыв все другие каналы поступления информации. Так впервые реальным стало не только достичь полного подчинения населения воле государства, но и добиться полного единодушия по всем вопросам.

После революционного периода пятидесятых и шестидесятых годов общество, как всегда, разделилось на Высших, Средних и Низших. Однако новые Высшие, в отличие от своих предшественников, действовали отнюдь не по наитию, они прекрасно знали, как им удержать свои позиции. Давно признано, что единственное надежное основание для олигархии — это коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защищать, если ими владеют совместно. Так называемое «уничтожение частной собственности», случившееся в середине века, по сути означало сосредоточение собственности в руках более узкого круга лиц, только теперь новыми вла-

дельцами стала группа, а не масса индивидов. Порознь ни один член Партии не владеет ничем, кроме личных вещей. Сообща Партия владеет в Океании всем, потому что контролирует все и вся и распоряжается продукцией по своему усмотрению. После Революции ей удалось занять эту господствующую позицию почти без сопротивления, потому что процесс прошел под видом коллективизации. Всегда считалось, что за экспроприацией собственности у капиталистов неизбежно наступит социализм, и капиталистов лишили собственности. У них забрали все: заводы, шахты, землю, дома, транспорт, — и поскольку все это теперь перестало быть частной собственностью, то якобы перешло в разряд собственности общественной. Ангсоц, выросший из социалистического движения и усвоивший его риторику, осуществил главный пункт программы социалистов с результатом, который предвидел и к которому стремился: закрепить экономическое неравенство навсегда.

Впрочем, проблемы сохранения иерархического общества этим не исчерпываются. Существуют лишь четыре причины, по которым правящая группа лишается власти. Либо государство завоевывают извне, либо управление становится

неэффективным и массы поднимают мятеж, либо формируется сильная и недовольная своим положением группа Средних, либо верхушка теряет уверенность в себе и желание править. Эти причины не возникают по отдельности, обычно в той или иной мере наличествуют все четыре. Правящий класс, способный себя от них оградить, останется у власти навеки. По сути дела, определяющим фактором является психологический настрой самого правящего класса.

После середины нынешнего столетия первая опасность фактически исчезла. Каждая из трех сверхдержав, на которые разделился мир, по сути, непобедима и может утратить свою мощь лишь благодаря череде медленных демографических изменений, кои правительство с широкими полномочиями легко предотвратит. Вторая опасность также чисто теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе, тем более из-за того, что их угнетают. Пока не с чем сравнивать, они даже не понимают, что угнетены. В регулярных экономических кризисах прошлого не было никакой необходимости, и ныне их не допускают. Другие потрясения, не менее крупные, случаются и не имеют никаких политических последствий, поскольку выражать недовольство массам не

позволяют. Что же касается проблемы перепроизводства, зревшей начиная с перехода от ручного труда к машинному, то она решается с помощью непрерывной войны (см. главу 3), которая также способствует поднятию общественного морального духа до необходимого уровня. Следовательно, с точки зрения нынешних правителей, остаются лишь две опасности: формирование новой группы одаренных, недостаточно загруженных и жадных до власти людей и рост либерализма и нигилизма в их рядах. То есть проблема, так сказать, учебно-воспитательная. Она решается постепенной перековкой сознания правящей группы и большой группы исполнителей сразу под ней. На сознание широких масс достаточно воздействовать лишь в негативном ключе.

Исходя из этого можно вывести общую структуру общества Океании, если кто с ней еще не знаком. На вершине пирамиды находится Большой Брат — непогрешимый и всемогущий. Любой успех, любое достижение, любая победа, любое научное открытие, все знания, вся мудрость, все счастье, все достоинства проистекают исключительно из его мудрого правления. Большого Брата не видел никто. Он лицо на плакатах, голос с

телеэкрана. Мы можем быть абсолютно уверены, что он никогда не умрет, хотя есть серьезные сомнения в том, когда именно он родился. Большой Брат — это личина, в которой Партия являет себя миру. Его роль заключается в том, чтобы фокусировать на себе любовь, страх и поклонение масс, ведь эти эмоции легче испытывать к человеку, нежели к организации. Ниже Большого Брата находится Центр Партии числом в шесть миллионов человек, что составляет менее двух процентов населения Океании. Ниже Центра Партии находятся Массы Партии, которые можно приравнять к рукам государства, как Центр — к мозгу. Ниже находится тупая популяция, которую мы привыкли называть пролами, составляющая восемьдесят пять процентов населения. Согласно нашей классификации, пролы — Низшие, поскольку порабощенные жители стран экваториального пояса, переходящие от одного захватчика к другому, не являются постоянным или необходимым элементом структуры.

По замыслу принадлежность к любой из трех групп не является наследственной. Ребенок родителей из Центра Партии не принадлежит к нему по праву рождения. Вступление в любую из двух частей Партии происходит на основании экза-

мена, который сдают в шестнадцать лет. Также не существует дискриминации ни по расовому, ни по национальному признаку. Евреи, негры, латиноамериканцы занимают самые высокие посты, а руководящих чиновников в регионах всегда набирают из жителей этих регионов. Ни в одной части Океании у жителей не создается впечатления, что они живут в колонии, управляемой из далекой столицы. У Океании вообще нет столицы, и местонахождение номинальной главы державы не известно никому. Если не считать того, что все говорят по-английски и официальным языком является новослов, государство никоим образом не централизовано. Его правителей связывает не кровное родство, а приверженность общей доктрине. Наше общество действительно стратифицировано, причем весьма жестко, и на первый взгляд расслоение носит наследственный характер.

В отличие от эпохи капитализма или даже доиндустриальной эпохи, переход из группы в группу практически невозможен. Между двумя частями Партии определенный обмен ведется, но лишь для того, чтобы исключать слабаков из Центра и обезвреживать честолюбцев из Масс Партии, позволяя им прорваться наверх.

Пролетариев в Партию не принимают практически никогда. Самых одаренных, которые могут в будущем поднять бунт, полиция помыслов выслеживает и уничтожает. Однако такое положение вещей не носит постоянный характер и не является делом принципа. Партия не есть класс в привычном смысле этого слова. По сути, она не стремится передавать власть своим детям: если не сыщется иного способа сосредоточить в высшем эшелоне управления государством самых одаренных, она с готовностью наберет новое поколение функционеров из числа пролетариев. В переломные годы именно отсутствие наследственного преемства помогло Партии нейтрализовать оппозицию. Социалист старой закалки, который привык бороться с классовыми привилегиями, исходил из того, что ненаследственное не может быть бессрочным. Он не понял, что понятие преемственности олигархии не обязательно исходит из естества, он не задумался над тем, что потомственная аристократия всегда оказывалась недолговечна, в то время как адаптивные организации вроде католической церкви сохранялись сотни и даже тысячи лет. Суть олигархического правления заключается не в передаче власти от отца к сыну, а в обеспечении

постоянства определенного мировоззрения и образа жизни, навязанного живым мертвыми. Правящая группа остается таковой до тех пор, пока способна назначать преемников. Партия занимается не сохранением крови, а сохранением самой себя. Не важно, кто обладает властью, лишь бы иерархическая структура общества сохранялась неизменной.

Все убеждения, обычаи, вкусы, чувства, образ мышления, которые свойственны нашему времени, на самом деле призваны сохранять мистический ореол Партии и скрывать истинную природу нынешнего общества. Реальный бунт или даже подготовка к бунту в настоящее время невозможны. Пролов бояться нечего. Предоставленные самим себе, они из поколения в поколение, из века в век продолжают работать, плодиться и умирать, не только не испытывая желания бунтовать, но даже не в силах вообразить, что мир вокруг них может быть иным. Они станут опасны, лишь когда технический прогресс потребует, чтобы им дали лучшее образование; однако поскольку военная и торговая конкуренция уже утратили смысл, уровень народного образования снижается. Мнения плебса Партию больше не волнуют. Им дозволена интеллекту-

альная свобода, потому что интеллекта у них нет. С другой стороны, члену Партии не дозволено даже малейшее отклонение от общей линии по самому незначительному вопросу.

От рождения до смерти член Партии живет под надзором полиции помыслов. Даже в одиночестве он не может быть уверен, что за ним не следят. Где бы он ни был — спит он или бодрствует, работает или отдыхает, моется в ванне или лежит в постели, — за ним будут следить без предупреждения и без его ведома. Партии важно знать все: с кем дружит, как развлекается, как относится к жене и детям, какое у него выражение лица, когда он один, что шепчет во сне, как ходит и двигается — все это пристально изучается. От внимания не ускользнет ни проступок, ни даже самая малая причуда, ни изменение привычек, любые нервные жесты или непроизвольные движения, которые могут свидетельствовать о внутренней борьбе. У члена Партии нет свободы выбора абсолютно ни в чем. С другой стороны, его действия не регулируются законами или более-менее четко сформулированным уставом. Закона в Океании нет. Мысли и действия, которые (если их обнаружат) означают верную смерть, формально не запрещены, и бесконечные

чистки, пытки, заключения, казни считаются не наказанием за совершенные преступления, а уничтожением тех, кто способен совершить преступление в будущем. Член Партии обязан обладать правильными взглядами и правильными инстинктами. Многие взгляды и представления, которых от него требуют, никогда не озвучиваются и не следуют напрямую из ангсоца, поскольку ему противоречат. Если партиец прирожденный ортодокс (на новослове*«добродум»*), то при любых обстоятельствах знает, не задумываясь, какое убеждение верно и какое чувство желательно. Во всяком случае, в результате тщательной психологической подготовки в детстве, сосредоточенной на усвоении понятий новослова вроде *«криминалстоп»*, *«черныйбелый»* и *«двоемыслие»*, задумываться слишком глубоко он не способен, да и не желает.

Предполагается, что личных чувств у члена Партии нет и он постоянно пребывает в состоянии исступления: испытывает непреходящую ненависть к внешним врагам и внутренним изменникам, ликует от побед на фронтах и преклоняется пред силой и мудростью родной Партии. Недовольство от скудной и безрадостной жизни намеренно направляется вовне и выплес-

кивается на мероприятиях вроде Двухминутки ненависти, а умозрительные размышления, чреватые скептическим или бунтарским настроем, пресекаются на корню посредством самодисциплины. Самая первая и простая практика, которой обучают даже маленьких детей, на новослове называется*«криминалстоп»* и состоит в том, чтобы резко, будто по инстинкту остановиться на пороге любой опасной мысли. Практика включает в себя способность не проводить аналогии, не замечать логические ошибки, не воспринимать самые простые доводы, враждебные ангсоцу, и испытывать скуку или отвращение к любому ходу мыслей, ведущему к ереси. Короче говоря, *криминалстоп* означает защитную глупость, но глупостью не исчерпывается. Напротив, идеологический догматизм в полном смысле этого понятия требует от человека такого же полного контроля над своими умственными процессами, какой требуется от циркового акробата над телом. В конце концов, общество Океании основано на вере в то, что Большой Брат всемогущ, Партия абсолютно непогрешима, и, поскольку Большой Брат вовсе не всемогущ, а Партия иногда ошибается, то при обращении с фактами требуется неустанная, ежеминутная гибкость. И ключевое

понятие здесь *«черныйбелый»*. Многие термины новослова имеют два взаимоисключающих значения. Применительно к противнику он означает привычку нагло заявлять про черное, что оно белое, противореча очевидным фактам. Применительно к члену Партии он означает преданную готовность признать черное белым, если того потребует партийная дисциплина. Также *«черныйбелый»* означает возможность *уверовать*, что черное есть белое, даже *знать*, что черное есть белое, забыв, что некогда полагал иначе. И тут уже требуется постоянная подгонка прошлого, возможная благодаря системе взглядов, которая лежит в основе всех сфер современной реальности и известна на новослове как *«двоемыслие»*.

Подгонка прошлого необходима по двум причинам, одна из них второстепенная и, так сказать, превентивная. Партиец, как и прол, терпит современные условия жизни лишь потому, что сравнивать ему не с чем. Он отрезан от прошлого, как отрезан от зарубежных стран, поскольку в этом случае верит, что ему живется лучше, чем его предкам, и уровень материального благосостояния нации постоянно растет. Но гораздо более важной причиной для корректировки прошлого является необходимость поддерживать

веру в непогрешимость Партии. Дело не только в том, что постоянно приходится переделывать речи, статистику и любые документы, чтобы показать правильность прогнозов Партии по всем пунктам. Дело еще и в том, что ни в коем случае нельзя признавать поправки к доктрине или перемену курса. Допустим, сегодня наш враг Евразия (или Востазия, не важно, кто именно), значит, эта страна была нашим врагом всегда. Если факты говорят иное, то их нужно изменить. Таким вот образом история постоянно переписывается. Ежедневная фальсификация прошлого, которую проводит министерство правды, так же необходима для стабильности режима, как репрессии и слежка, которыми занято министерство любви.

Непостоянство прошлого — основной принцип ангсоца. В соответствии с ним события прошлого существуют не в реальности, а лишь в письменных документах и в людской памяти. Прошлое есть то, что согласуется с документами и воспоминаниями. И поскольку Партия полностью контролирует все записи и умы сторонников, то прошлое становится таким, каким его хочет видеть Партия. Отсюда также следует, что, хотя прошлое непостоянно, оно не меняется никогда:

если его воссоздают в любой форме, необходимой для текущего момента, то новая версия и есть прошлое — ничего другого никогда и не существовало. Это справедливо и в том случае, если в течение года одно и то же событие изменяют до неузнаваемости, причем такое случается довольно часто. Во все времена Партия владеет абсолютной истиной, которая совершенно определенно не может отличаться от той, что принята сейчас. Вместе с тем необходимо *помнить*, что события происходят так, как нужно Партии; если необходимо перестроить свои воспоминания или подогнать письменные свидетельства, то это необходимо проделать и тут же *забыть*. Обучиться этому трюку можно точно так же, как и любой другой психотехнике. Им овладевают большинство приверженцев Партии и, разумеется, все, кто обладает умом и правильными взглядами. На старослове это называется «контроль над реальностью», на новослове *«двоемыслие»*, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Двоемыслие означает способность удерживать в сознании и принимать одновременно два противоречащих друг другу утверждения. Партийный интеллигент знает, каким образом следует изменять свои воспоминания, и

понимает, что играет с реальностью, но, практикуя двоемыслие, он также убеждает себя, что реальность сохраняется в первоначальном виде. Процесс должен быть осознанным, иначе потеряет эффективность, и в то же время несознаваемым, иначе вызовет ощущение фальши и чувство вины. Двоемыслие составляет самую суть ангсоца, поскольку Партия сознательно идет на обман, сохраняя при этом твердость убеждений в сочетании с кристальной честностью. Говорить заведомую ложь и искренне в нее верить, забыть любой неудобный факт и, как только потребуется, извлечь его из забвения, отрицать существование объективной реальности и в то же время учитывать реальность, которую отрицаешь, — все это чрезвычайно необходимо. Даже употребляя слово *«двоемыслие»*, необходимо практиковать двоемыслие: признавая, что вмешиваешься в реальность, ты, согласно принципу двоемыслия, стираешь осознание этого и поступаешь так до бесконечности, скрывая правду под ворохом лжи. В конечном счете именно благодаря двоемыслию Партии удалось (и, судя по всему, будет удаваться тысячи лет) остановить ход истории.

Все прошлые олигархии пали либо из-за закоснелости, либо из-за одряхления. Первые погряза-

ли в глупости и спеси, не умели приспособиться к меняющимся условиям, и их свергали; вторые становились либеральными и малодушными, шли на уступки, когда нужно было применить силу, и их также свергали. Иными словами, они потеряли власть либо из-за чрезмерной сознательности, либо из-за ее отсутствия. Достижение Партии состоит в том, что ей удалось построить такую систему мышления, где оба условия могут существовать одновременно. Ни на какой другой теоретической основе ее владычество не смогло бы длиться вечно. Если правишь людьми и намерен продолжать править дальше, нужно уметь искажать ощущение реальности, поскольку ключ к успешному правлению лежит в сочетании веры в собственную непогрешимость и умения учиться на ошибках прошлого.

Само собой разумеется, искуснее всех двоемыслием владеют те, кто его изобрел и кто понимает, что двоемыслие дает широчайший простор для умственного морока. В нашем обществе те, кто лучше всех осознает, что происходит, меньше всех склонны видеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимание, тем больше заблуждение, чем умнее, тем безумнее. Наглядный тому пример — военная истерия, которая по мере

продвижения по социальной лестнице только усиливается. Жители спорных территорий относятся к войне наиболее здраво, насколько это возможно. Для них война — это затяжное стихийное бедствие, сметающее их словно приливная волна. Им совершенно не важно, какая сторона одерживает верх. Смена правителей для них означает только одно: им придется выполнять прежнюю работу для нового властелина, который будет обращаться с ними точно так же, как и предыдущий. В чуть более сносном положении находятся рабочие, кого мы зовем*«пролами»*, и война в их сознании всплывает лишь эпизодически. При необходимости их можно подтолкнуть к безудержному буйству, подогрев страх или ненависть, но оставшись сами по себе, они надолго забывают, что идет война. Натуральный военный экстаз присущ лишь членам Партии, особенно Центру. В мировое господство особенно твердо верят лишь знающие, что оно недостижимо. Как раз это единение противоположностей: знания с невежеством, цинизма с фанатизмом — одна из основных отличительных черт общества Океании. Официальная идеология изобилует противоречиями даже там, где в них нет подлинной необходимости. Получается, что Партия

отвергает и принижает все принципы, на которых изначально строился социализм, и делает это якобы во имя социализма. Она проповедует невиданное доселе презрение к рабочему классу и при этом обряжает своих членов в униформу, некогда типичную для рабочих, занятых физическим трудом, и принятую именно по этой причине. Партия целенаправленно подрывает семейные связи и при этом называет своего лидера именем, прямо указывающим на семейные ценности. Даже названия четырех министерств, которые нами управляют, служат наглядным примером бесстыдного искажения реальности: министерство мира сеет войну, министерство правды — ложь, министерство любви — пытки, министерство благоденствия — голод. Эти нелепости не случайны и проистекают вовсе не из лицемерия: они практическое воплощение двоемыслия. Власть можно удерживать бесконечно долго, лишь примирив противоречия, иначе извечный круговорот не прервать. Если равенство людей нужно искоренить навсегда, если, как мы их называем, Высшие намерены сохранить свои позиции до скончания веков, то в психическом плане преобладающим в обществе должно стать контролируемое безумие.

Но есть вопрос, который мы до сего времени почти не затрагивали. Он таков: почему необходимо предотвращать всеобщее равенство? Положим, механизм этого процесса описан верно, тогда что движет этим грандиозным, тщательно выверенным усилием остановить ход истории в определенный момент времени?

Тут мы подбираемся к сердцевине тайны. Как мы видели, мистическая сила Партии (и прежде всего Центра Партии), зиждется на *двоемыслии*. Но еще глубже лежит мотив первичный: всегда взывающий к послушанию инстинкт, приведший вначале к захвату власти, а впоследствии к существованию двоемыслия, полиции помыслов, непреходящим войнам и всей остальной необходимой атрибутики. Мотив этот на самом деле образуют…

Уинстон спохватился: давно стоит тишина, Джулия перестала ворочаться. Она лежала на боку, подложив руку под щеку, и прядь волос упала ей на глаза. Обнаженная грудь медленно вздымалась и опадала.

— Джулия.

Молчание.

— Джулия, ты спишь?

Молчание. Она спала. Уинстон закрыл книгу,

осторожно положил на пол, лег и укрыл себя и Джулию покрывалом.

Он так и не постиг высшей тайны. Понял *как*, но не понял *зачем.* Глава 1, как и глава 3, не поведали ему того, чего он не знал раньше, помогли лишь привести в систему познания, какими он уже обладал. Зато, прочитав, он убедился, что вовсе не сошел с ума. Если ты в меньшинстве или вообще в одиночестве, это еще не значит, что ты не в себе. Есть правда, есть ложь, и если ты на стороне правды, то это вовсе не делает тебя сумасшедшим. Косой желтый луч закатного солнца упал на подушку, и Уинстон зажмурился. Солнечный свет на лице и стройная девушка рядом придали ему уверенности в себе. Он в безопасности, все в порядке. Уинстон заснул, бормоча: «Здравый смысл не измеряется статистикой» — и чувствуя, что в этой фразе заключена великая мудрость.

* * *

Уинстон проснулся с ощущением, что проспал, взглянул на старомодные часы и увидел, что стрелки показывают всего двадцать тридцать. Он подремал еще немного, потом со двора раздался привычный женский грудной голос:

То была мимолетная блажь.
Миновала она, как весна,
Но мечты и любовный кураж
В моем сердце уже навсегда!

Похоже, чепуховая песенка сохранила популярность. Ее по-прежнему было слышно отовсюду. Она пережила Песню ненависти. Джулия открыла глаза, заслышав мелодию, с наслаждением потянулась и встала с постели.

— Я голодная! — заявила она. — Давай сварим еще кофе. Черт! Плитка погасла, вода остыла. — Она подняла керосинку и потрясла. — Пустая!

— Думаю, можно попросить керосина у старика Чаррингтона.

— Самое смешное, что она только что была полная. Сейчас оденусь, — добавила Джулия. — Похоже, похолодало.

Уинстон тоже поднялся и стал одеваться. Неутомимый голос продолжал напевать:

Говорят, что время лечит все,
Говорят, все забудется без труда,
Но улыбки и слезы свежи еще,
В моем сердце они навсегда!

Застегивая пояс комбинезона, он подошел к

окну. Солнце скрылось за домами, двор погрузился в тень. Каменные плиты мокро блестели, словно их только что отмыли, и бледно-голубое небо между дымоходами тоже казалось свежевымытым. Женщина без устали расхаживала туда-сюда, суя прищепки в рот и вынимая их, распевая и умолкая, и как ни в чем не бывало развешивала пеленки. Уинстон гадал, зарабатывает ли она стиркой на жизнь или просто стала рабой пары-тройки десятков внучат. Джулия встала с ним рядом, и они вместе наблюдали за могучей фигурой внизу. Глядя на женщину за привычным делом, на ее толстые руки, тянущиеся к бельевой веревке, на мощные, как у кобылы, ягодицы, он вдруг понял, что она красива. Ему никогда не приходило в голову, что женщина лет пятидесяти, от многочисленных родов располневшая до безобразия, затем от тяжелой работы загрубевшая, словно перезрелая репа, может быть красива. В конце концов, подумал Уинстон, почему бы и нет? Глубинная связь между грузной, бесформенной, как гранитная глыба, толстухой и прекрасной юной девушкой та же, что между плодом розы и свежим бутоном. Кто сказал, что плод уступает цветку?

— Какая красивая, — тихо проговорил он.

— Да у нее задница в метр шириной! — воскликнула Джулия.

— Она красива по-своему, — заметил Уинстон.

Он прижимал к себе Джулию, обхватив за талию, и они стояли бок о бок, касаясь друг друга. Их телам никогда не породить на свет ребенка, этого им не суждено. Они могут передать свою тайну из уст в уста, от разума к разуму. Женщина во дворе лишена разума, у нее есть лишь сильные руки, горячее сердце и способное к зачатию лоно. Уинстон подумал, сколько детей она родила. Вполне могла и пятнадцать. Пожалуй, какой-нибудь год в юности она была прекрасна, как дикая роза, потом внезапно раздулась, словно опыленный фрукт, стала твердой, красной и загрубелой, тридцать лет кряду стирала, скребла, штопала, готовила, подметала, чистила, латала, стирала — сперва для детей, потом для внуков. И после такой жизни она все еще способна петь! Мистическое благоговение, которое Уинстон испытывал к женщине, сливалось с образом бледного, безоблачного, уходившего в бесконечность неба над дымоходами. Как странно, небо, оно одно и то же и здесь, и в Евразии, и в Востазии. И люди под небом очень похожи, везде, во всем мире, сотни тысяч миллионов людей, не подозревающих о су-

ществовании друг друга и при этом совершенно одинаковых, людей, которые так и не научились мыслить, и все же хранят в своих сердцах, животах, мышцах силу, способную перевернуть мир. Если надежда и есть, то она в пролах! Даже не дочитав Книгу до конца, Уинстон знал, в чем заключается главный посыл Гольдштейна: будущее принадлежит пролам. Есть ли уверенность, что, когда время пролов придет, их мир не будет так же чужд ему, Уинстону Смиту, как и мир Партии? Есть, потому как там наверняка будет править здравый смысл. Где есть равенство, есть и здравый смысл. Рано или поздно это случится: силу сменит сознательность. Судя по этой героической женщине, пролы бессмертны. В конце концов они проснутся. А до тех пор пусть даже тысяча лет потребуется, они выживут, несмотря ни на что, словно птицы, передающие из поколения в поколение живучесть, какой Партия лишена и какую не способна истребить.

— Помнишь дрозда, что пел нам на опушке?

— Он пел не нам, — возразила Джулия. — Он пел для собственного удовольствия. Нет, даже не так. Он просто пел.

Поют птицы, поют пролы, а Партия — нет. По всему миру — в Лондоне и в Нью-Йорке, в Африке

и в Бразилии, в таинственных, запретных землях по ту сторону границ, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на уличных рынках Китая и Японии, — везде стоит одна и та же крепкая, непобедимая женщина, страшно раздувшаяся от родов и непосильного труда, и все равно поет. Из ее могучих чресел когда-нибудь выйдет раса людей мыслящих. Мы обречены, за ними будущее. Если нам удастся сохранить свой разум, как им удалось сохранить тело, то мы сможем с ними соединиться и передать тайное знание: два плюс два равно четыре.

— Мы мертвецы, — проговорил Уинстон.

— Мы мертвецы, — покорным эхом отозвалась Джулия.

— Вы мертвецы, — бухнул железный голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. У Уинстона кровь застыла в жилах. У Джулии глаза полезли на лоб, лицо покрылось смертной желтизной. Пятна румян на щеках резко выделялись, словно парили над кожей.

— Вы мертвецы, — повторил железный голос.

— За картиной был, — выдохнула Джулия.

— За картиной, — подтвердил голос. — Оставайтесь на своих местах. Не двигайтесь, пока не

прикажут.

Началось, наконец-то началось! Им оставалось лишь стоять и смотреть друг другу в глаза. Спасаться бегством, покинуть дом, пока не поздно, им даже не пришло в голову. Ослушаться железного голоса и в мыслях не было. Раздался щелчок и звон разбитого стекла — картина упала со стены, обнажив скрытый за ней телеэкран.

— Теперь им нас видно, — сказала Джулия.

— Нам вас видно, — подтвердил голос. — Выйдите на середину комнаты. Станьте спиной к спине. Руки за голову. Друг друга не касаться.

Они и не касались, но Уинстону казалось, что он чувствует дрожь Джулии, или то была его дрожь? Ему удалось сцепить зубы и не лязгать ими, вот только колени не слушались. Снизу донесся стук шагов — на лестнице и возле дома. Двор заполнился людьми, по плитам что-то протащили. Пение женщины резко оборвалось.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — повторил голос.

Джулия лязгнула зубами.

— Думаю, нам можно сразу попрощаться, — сказала она.

— Можете сразу попрощаться, — подтвердил железный голос. И тут встрял совершенно другой

голос, высокий, учтивый и смутно знакомый:

— Кстати, раз уж мы затронули эту тему! Последние строки детского стишка такие:

> *Вот свечка, на пути в кроватку светить,*
>
> *А вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!*

За спиной Уинстона раздался звон разбитого стекла, на кровать посыпались осколки. В окно просунулась пожарная лестница, кто-то стал по ней подниматься. Внизу загремели шаги, в комнату с дубинками наперевес ворвались дюжие парни в черной униформе и сапогах со стальными подковками.

Уинстон больше не дрожал, у него даже глаза словно на месте застыли. Сейчас главное — не шевелиться, стоять смирно и не дать им повода ударить! Перед ним встал мужчина, подбородок его напоминал челюсть классного бойца, где рот был лишь узкой щелью, и принялся задумчиво поигрывать дубинкой. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы оттого, что стоишь, сложив руки на затылке и не можешь защититься от удара, было почти невыносимым. Мужчина высунул кончик белого языка, облизнул то место,

где у других губы, и прошел мимо. Снова раздался звон осколков: кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и грохнул его о каминную решетку.

По половику покатился кусочек коралла, крохотный, розовый, похожий на сахарную розочку с торта. Какой маленький, подумал Уинстон, какой крохотный! За спиной раздался глухой удар и судорожный вздох, потом пинок в лодыжку едва не сбил его с ног. Джулия согнулась пополам, получив удар в солнечное сплетение, и корчилась на полу, хватая воздух ртом. Уинстон не отважился повернуть голову ни на миллиметр, но иногда краешком глаза видел ее мертвенно-бледное, искаженное лицо. Сам скованный ужасом, он чувствовал ее невыносимую боль и еще более мучительную, отчаянную попытку глотнуть воздуха. Он знал, каково ей: самая жуткая и нескончаемая боль меркнет по сравнению с тем, что не можешь дышать. Двое мужчин подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, словно мешок с тряпьем. Перед Уинстоном мелькнуло желтое, искаженное лицо с закрытыми глазами, все еще с пятнами румян на щеках. Больше он ее не видел.

Уинстон стоял как вкопанный. Его пока не били. В голове замелькали непрошеные, обры-

вочные мысли. Арестовали ли Чаррингтона? Что сделали с женщиной во дворе? Ему отчаянно захотелось помочиться, хотя он делал это всего пару-тройку часов назад. Часы на каминной полке показывали девять, то есть двадцать один час. Тогда почему еще светло? Разве августовским вечером в двадцать один час не должно быть гораздо темнее? Может, они с Джулией перепутали, проспали всю ночь и проснулись в восемь тридцать утра? Впрочем, эта мысль его мало занимала, и развивать ее он не стал.

В коридоре раздались легкие шаги, и в комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черной униформе заметно подобрались, да и Чаррингтон был уже не тот старик. Его взгляд упал на осколки стеклянного пресс-папье.

— Подобрать! — резко приказал он.

Один из людей в форме бросился исполнять. Пролский выговор исчез, и внезапно Уинстон понял, чей голос раздавался из телеэкрана пару минут назад. Чаррингтон остался в старом бархатном пиджаке, но его прежде седые волосы вдруг почернели, и очки он снял. Бросил на Уинстона пронзительный взгляд, словно личность сверил, и больше не обращал на него внимания. Теперь это был уже другой человек.

Тело распрямилось и заметно разрослось, лицо претерпело незначительные перемены, и все же произошедшая метаморфоза бросалась в глаза: черные брови утратили кустистость, морщины разгладились, черты неуловимо изменились, даже нос явно укоротился. К нему было обращено бдительное и безучастное лицо человека лет тридцати пяти. До Уинстона дошло, что он впервые в жизни доподлинно видит перед собой сотрудника полиции помыслов.

Часть третья
I

Уинстон не знал, где он. По-видимому, в министерстве любви, хотя наверняка не скажешь. Камера без окон с высоким потолком, сверкающий белый кафель на стенах. Скрытые лампы льют холодный свет, слышится низкое, монотонное гудение, наверное, вентиляция. По всему периметру тянется скамья или скорее узкая полка с разрывом в одном конце на дверь, а в другом на парашу, унитаз без деревянного стульчака. На каждой стене висело по телеэкрану.

Живот ныл тупой болью еще с тех пор, как его затащили в закрытый фургон и увезли. Вдобавок терзал нестерпимый голод. В последний раз Уинстон ел то ли сутки, то ли полтора суток назад. Он не знал, когда его забрали, и, верно, никогда не узнает, было то утром или вечером. С момента ареста его не кормили.

Он изо всех сил старался сидеть на узкой скамье неподвижно, сложив руки на коленях. К этому его уже приучили: стоило чуть пошельнуться, как с телеэкрана раздавался окрик. Между тем

чувство голода нарастало. Больше всего Уинстон мечтал о кусочке хлеба. В кармане комбинезона могли заваляться несколько крошек и того лучше (порой что-то под подкладкой чуть царапало ногу) целая корочка! В конце концов искушение пересилило страх, и Уинстон полез в карман.

— Смит! — раздался окрик с телеэкрана. — 6079, Смит У.! Руки из карманов!

Подчинившись, он снова замер. Перед тем как привезти сюда, его посадили то ли в обычную тюрьму, то ли во временный изолятор патрульной службы. Уинстон не знал, сколько там пробыл: без часов и дневного света определять время затруднительно. Почти такая же камера, как и здесь, только шумная, вонючая, жутко грязная и забитая чуть ли не битком. Одновременно в ней находились по десять-пятнадцать человек, в большинстве обычные уголовники, хотя политические тоже попадались. Уинстон молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, сам не свой от страха и боли в животе. По сторонам он особо не глядел, и все же поразился огромной разнице в поведении партийцев и уголовников. Перепуганные партийцы молчали и не разговаривали ни с кем, рецидивисты держались нагло и плевать хотели на всех. Они выкрикивали оскорбления

в адрес охранников, отчаянно дрались, когда у них изымали личные вещи, карябали на полу ругательства, поедали пронесенные тайком припасы и даже умудрялись переорать телеэкран, пытавшийся призвать их к порядку. Впрочем, некоторые отлично ладили с надзирателями, знали их прозвища и клянчили через дверной глазок папиросы. Надзиратели, в свою очередь, относились к уголовникам с долей снисходительности, даже когда к ним приходилось применять силу. Много говорилось о принудительных трудовых лагерях, куда отправляли бóльшую часть заключенных. Уинстон понял, что в лагерях «все путем», если есть нужные связи и знаешь, что к чему. Там берут взятки, приближают к себе любимчиков, запугивают неугодных, там процветают гомосексуализм и проституция, даже варят самогон из картофеля. Авторитетом пользуются только уголовные, особенно бандиты и убийцы, они считаются как бы аристократами. Всю грязную работу выполняют политические.

Уинстону довелось наблюдать преступников всех мастей: торговцев наркотиками, воров, бандитов, скупщиков краденого, пьяниц, проституток. Некоторые пьяницы были до того буйными, что их приходилось усмирять всей

камерой. Четверо надзирателей втащили за руки и за ноги огромную расхлябанную бабу лет шестидесяти, с болтающимися грудями и густыми растрепанными седыми патлами, которая орала как оглашенная и пиналась. Стянув с бабы ботинки, надзиратели швырнули ее прямо на колени Уинстону, едва не поломав ему кости. Пьянь встрепенулась и выкрикнула им вслед: «Выбл… ки!» Заметив, что сидит на чем-то неровном, сползла с коленей Уинстона на скамью.

— Прошу пардона, дорогуша! Если б не эти придурки, я б на тебя не села. Не умеют с дамой обходиться, согласен? — Помолчала, похлопала себя по бюсту и рыгнула. — Пардон! Что-то мне не по себе. — И, подавшись вперед, извергла содержимое желудка прямо на пол. — Другое дело, — довольно вздохнула пьянь, откинулась назад и прикрыла глаза. — Ничего не держи в себе, скажу я тебе! Гони из нутра, пока не всосалось, так-то.

Она оживилась, еще раз оглядела Уинстона и тут же прониклась к нему симпатией. Обняла за плечи, притянула к себе и задышала в лицо пивом и рвотой.

— Имечко твое как, дорогуша? — спросила.

— Смит, — ответил Уинстон.

— Смит?! Надо же! Я тоже Смит. А что, — доба-

вила, умилившись, — могла б и матерью твоей быть.

Могла бы, подумал Уинстон. Возрастом да статью вполне подходит, а после двадцати лет каторжных работ люди скорее всего меняются.

Больше с ним не заговаривал никто. Поразительно, до какой степени обычные уголовники не обращали внимания на заключенных-партийцев. Они и звали-то их «политухами», не скрывая холодного презрения. Сами же партийцы от ужаса не смели рта раскрыть, особенно же страшились заговорить друг с другом. Лишь однажды две партийные женщины, сидевшие бок о бок, осмелились в гуле голосов быстрым шепотом обменяться несколькими словами, упомянув некое «помещение один-ноль-один», но Уинстон не понял, о чем речь.

В эту камеру его перевели часа два, если не три назад. Тупая боль в животе не унималась, порой стихала, а порой обострялась, в такт ей ширились или ужимались мысли Уинстона. Когда делалось хуже, все мысли сходились на боли и голоде. Когда становилось легче, его охватывала паника. В иные моменты он с пугающей ясностью предвидел, что случится дальше, и сердце стучало как бешеное и прерывалось дыхание.

Он словно чувствовал удары дубинок по локтям, пинки стальных подковок по ногам, будто видел, как ползает по полу, моля о пощаде и сплевывая выбитые зубы. О Джулии он почти не думал, просто не мог сосредоточиться на мысли о ней. Он любил Джулию, и он ее не предаст, но то был лишь факт, хранившийся в памяти наряду с правилами арифметики. Любви он не чувствовал и почти не думал, что случилось с его подругой. Чаще думал об О'Брайене, причем с проблеском надежды. Вдруг О'Брайену уже известно, что его арестовали? Братство, предупреждал тот, никогда не пытается выручить своих из беды. Впрочем, оставалось лезвие: ему могут передать бритву, если удастся. Охранник сообразит, что происходит, только секунд через пять. Лезвие вопьется в шею, обдав жгучим холодом, и даже пальцы, которыми его держишь, прорежет до кости. Уинстон представил это воочию и содрогнулся всем своим немощным телом. Если и выпадет шанс, вряд ли он сможет воспользоваться лезвием. Пусть все идет как идет, лучше продлить жизнь хотя бы на десять минут, даже зная, что в конце ждет мучительная смерть.

Иногда он пытался сосчитать кафельные плитки на стенах камеры. Вроде бы задача несложная,

но рано или поздно Уинстон неминуемо сбивался. Он все чаще думал о том, где находится и какое сейчас время суток. То ему мнилось, что снаружи яркий день, то появлялась уверенность, что снаружи непроглядная тьма. Интуиция подсказывала: в подобном месте свет не выключают никогда. Здесь нет темноты — вот почему О'Брайен понял намек. В министерстве любви окон нет. Камера может располагаться в самом центре здания или у внешней стены, на десятом этаже под землей или на тридцатом над ней. Уинстон мысленно перемещался в пространстве, пытаясь определить по ощущениям, закинули его на самую верхотуру или он погребен в недрах.

Снаружи раздался звук тяжелых шагов. Железная дверь с лязгом распахнулась. В проем энергично вошел молодой подтянутый офицер в черной форме и начищенных до блеска ботинках. Бледное, бесстрастное лицо напоминало восковую маску. Он сделал знак конвоирам ввести заключенного. Едва волоча ноги, в камеру ввалился поэт Эмплфорт, и дверь снова лязгнула.

Эмплфорт неуверенно помыкался из стороны в сторону, словно надеясь увидеть еще одну дверь, через которую можно выйти, потом принялся бродить по камере взад-вперед. Уинстона он пока

не заметил и встревоженно смотрел на стену примерно в метре над головой. Он был в одних носках, из дыр которых выглядывали грязные пальцы. Судя по отросшей щетине, он давно не брился и теперь смахивал на разбойника с большой дороги, только очень щуплого, долговязого и дерганного.

Уинстон стряхнул оцепенение. Он должен поговорить с Эмплфортом, даже рискуя нарваться на окрики с телеэкрана! Вдруг Эмплфорт принес ему бритвенное лезвие?

— Эмплфорт, — окликнул Уинстон.

Телеэкран молчал. Эмплфорт остановился и удивленно моргнул. Его взгляд медленно остановился на Уинстоне.

— А, Смит! — воскликнул он. — Вы тоже здесь?

— За что вас забрали?

— Если уж на то пошло… — Эмплфорт неловко присел на скамью напротив Уинстона. — Есть только одно преступление, верно?

— И вы его совершили?

— Судя по всему, да.

Он поднес руку ко лбу и сжал виски, словно пытаясь что-то вспомнить.

— Всякое случается, — начал поэт издалека. — Мне удалось припомнить один эпизод…

возможный эпизод. Разумеется, я поступил неосмотрительно. Мы работали над академическим изданием Киплинга, и я позволил себе оставить в конце строки слово «Бог». Я ничего не мог поделать! — добавил Эмплфорт запальчиво, глядя Уинстону в лицо. — Изменить строчку не получилось бы — рифма там была «мог». Вы хоть понимаете, что во всем нашем языке односложные рифмы к слову «мог» можно перечесть по пальцам на руках? Я ломал голову много дней. Другой рифмы нет!

Выражение его лица изменилось: раздраженность ушла, вид у поэта стал чуть ли не довольный. На грязном, заросшем щетиной лице просиял восторг интеллектуала, радость буквоеда, обнаружившего очередной бесполезный факт.

— Вам не приходило в голову, что вся история английской поэзии определяется лишь скудностью рифм в нашем языке?

Об этом Уинстон как-то не задумывался. При данных обстоятельствах проблемы английской поэзии не казались ему ни интересными, ни важными.

— Знаете, какое сейчас время суток? — спросил он.

Эмплфорт слегка опешил.

— Понятия не имею. Меня арестовали два-три дня назад. — Его взгляд заметался по стенам, словно в надежде отыскать окно. — Здесь нет разницы между днем и ночью, так что вычислить время вряд ли возможно.

Они обменялись еще несколькими бессвязными репликами, и вдруг без видимой причины окрик с телеэкрана велел им замолчать. Уинстон затих, сложив руки на груди. Эмплфорт, едва помещавшийся на узкой скамье, ерзал из стороны в сторону, сцеплял тонкие руки то на одном колене, то на другом. Телеэкран крикнул ему, чтобы сидел смирно. Время шло. Двадцать минут, час… сложно судить, сколько именно. Снаружи снова затопали. У Уинстона вновь заныло нутро. Скоро, слишком скоро, минут через пять или прямо сейчас придут и за ним.

Дверь открылась, вошел молодой офицер с бесстрастным лицом, указал на Эмплфорта и произнес:

— Помещение 101.

Встревоженный, ничего не понимающий Эмплфорт неуклюже поплелся за конвоирами.

Казалось, прошло очень много времени. Снова разболелся живот. Разум Уинстона крутился

вокруг одних и тех же мыслей, словно шарик в лабиринте-головоломке, постоянно падающий в одну и ту же дырочку. Мыслей у него было шесть: боль в животе, кусочек хлеба, кровь и вопли, О'Брайен, Джулия, бритвенное лезвие. Живот скрутило: Уинстон вновь услышал топот. Дверь распахнулась, в камеру хлынул запах застарелого пота. Конвоиры ввели Парсонса, одетого в шорты цвета хаки и футболку.

На этот раз Уинстон так поразился, что глазам не поверил.

— И вы здесь?! — воскликнул он.

Бедняга Парсонс посмотрел на Уинстона без всякого интереса или удивления. Он начал нервно расхаживать взад-вперед, явно не в силах угомониться. При каждом шаге пухлые колени подкашивались. Он пристально смотрел вперед широко распахнутыми глазами, словно пытался что-то рассмотреть вдалеке.

— За что вас взяли? — поинтересовался Уинстон.

— Помыслокриминал! — почти прорыдал Парсонс. В его голосе было и признание вины, и недоверие, и ужас от того, что подобное слово может относиться к нему. Он замер напротив Уинстона и взволнованно зачастил: — Стари-

на, вы ведь не думаете, что меня расстреляют? Нельзя же расстрелять человека, если он ничего не сделал… только подумал! Я знаю, меня обязательно выслушают, изучат мое досье и во всем разберутся! Я им так доверяю! Вы-то знаете, что я за человек. Не такой уж и плохой, хотя и не слишком башковитый. Зато я старательный и для Партии делал все, что мог! Как думаете, отделаюсь я пятью годами? Или дадут лет десять? Да я и в трудовом лагере могу просто горы свернуть! Они же не расстреляют за то, что сошел с рельсов всего разок?

— Вы виновны? — спросил Уинстон.

— Ну конечно! — вскричал Парсонс, умильно взглянув на телеэкран. — Неужели вы думаете, что Партия арестует невиновного?! — Его лягушачье лицо стало спокойней и даже приняло слегка самодовольное выражение. — Помыслокриминал — ужасная штука, старина, — назидательно заметил он. — В открытую не проявляется и может завладеть тобой так, что не заметишь! Знаете, как он завладел мной? Во сне. Это же надо! Работал изо всех сил, старался на благо Партии и даже не подозревал, что творится у меня в голове. И вдруг начал разговаривать во сне. Как думаете, что именно я выдал?

Парсонс понизил голос, словно человек, который на приеме у врача вынужден произнести неприличное слово.

— Долой Большого Брата! Да, так и сказал, причем не раз и не два. Между нами, старина, я даже рад, что меня арестовали, пока дело не зашло слишком далеко. Знаете, что я скажу в трибунале? Спасибо, скажу я, спасибо, что спасли меня, пока не стало слишком поздно!

— Кто же вас сдал? — спросил Уинстон.

— Моя младшенькая, — со скорбной гордостью сообщил Парсонс. — Подслушала через замочную скважину и наутро быстренько доложила патрулю. Бойкая девчушка растет, а? Я не в обиде. Вообще-то я даже горжусь! Сразу видно, что детей я воспитал как надо.

Он пометался, бросил тоскливый взгляд на унитаз, и вдруг торопливо стянул шорты.

— Извиняюсь, но ничего не поделаешь! — воскликнул Парсонс. — Это от волнения.

Он умостил свой толстый зад на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками.

— Смит! — заорал голос с телеэкрана. — 6079, Смит У.! Открыть лицо! Никому в камере лиц не закрывать!

Уинстон опустил руки. Парсонс шумно и обиль-

но испражнился, и тут выяснилось, что слив забит. В камере еще много часов стояла ужасная вонь.

Парсонса увели. Непонятно зачем к Уинстону постоянно подсаживали других заключенных. Какая-то женщина, которую направили в камеру 101, заметно съежилась и побледнела. Если Уинстона привели сюда утром, то наступил вечер, если вечером, то была полночь. В камере остались шестеро, обоего пола. Все сидели очень смирно. У противоположной стены замер человек со скошенным подбородком и крупными зубами, похожий на упитанного, безвредного грызуна. Его пухлые, пятнистые щеки так раздувались книзу, словно он набил их съестными припасами. Светло-серые глаза робко перебегали с лица на лицо и поспешно опускались, наткнувшись на чей-нибудь взгляд.

Дверь открылась, вошел еще один заключенный. При виде него Уинстон похолодел. Вроде бы обычный, невзрачный человек, похожий на инженера или механика, но его лицо исхудало так, что стало похоже на череп. Из-за тонких губ глаза казались непропорционально большими, и в них читалась жгучая, неукротимая ненависть.

Он сел на скамью невдалеке от Уинстона. Смот-

реть на него Уинстон избегал, но изможденное, похожее на череп лицо так и стояло перед глазами. Внезапно он понял, в чем дело: этот человек умирал от голода! Видимо, та же мысль пришла и другим заключенным. По скамье пронесся тихий ропот. Взгляд человека без подбородка постоянно падал на новенького, виновато уходил в сторону и опять возвращался, словно притянутый магнитом. Вскоре он принялся неловко ерзать, потом встал, перешел через камеру, порылся в кармане комбинезона и сконфуженно протянул человеку с лицом-черепом грязный кусок хлеба.

Телеэкран разразился яростными, оглушительными криками. От неожиданности человек без подбородка подскочил на месте. Человек с лицом-черепом поспешно убрал руки за спину, демонстративно отказываясь от подарка.

— Бамстед! — приказал голос. — 2713, Бамстед Джей! Брось хлеб!

Человек без подбородка уронил хлеб на пол.

— Стоять на месте, — велел голос. — Лицом к двери. Не двигаться.

Человек без подбородка подчинился. Его большие пухлые щеки нервно подрагивали. Дверь с лязгом распахнулась, вошел молодой офицер и шагнул в сторону. Вслед за ним ввалился корена-

стый надзиратель с могучими руками и плечами, встал напротив человека без подбородка и по знаку офицера нанес провинившемуся страшный удар в лицо. Тело кубарем перелетело через камеру и свалилось возле параши. Упавший лежал неподвижно, из носа и рта у него текла темная кровь. Раздался тихий скулеж или писк, словно в полузабытьи, потом заключенный перевернулся на живот и кое-как встал на четвереньки. Вместе с кровью и слюной изо рта выпали две половинки зубного протеза.

Остальные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка вернулся на свое место. Половина лица темнела на глазах. Губы распухли, превратившись в бесформенную вишневую массу с черной дырой посередине.

Время от времени на грудь комбинезона капала кровь. Серые глаза метались по лицам сокамерников с еще более виноватым видом, словно он пытался понять, насколько его презирают за перенесенное унижение.

Дверь отворилась. Легким жестом офицер указал на человека с лицом-черепом и объявил:

— Помещение 101.

Сосед Уинстона охнул и завозился, потом бросился на колени и умоляюще сцепил руки.

— Товарищ! Товарищ офицер! — вскричал он. — Зачем мне туда? Разве я не рассказал вам все? Что еще вы хотите узнать? Я признаюсь в чем угодно! Только скажите, что нужно, и я тут же признаюсь! Я подпишу что угодно! Только не в помещение 101!

— Помещение 101, — произнес офицер.

И без того бледное лицо заключенного стало такого цвета, что Уинстон глазам своим не поверил. Оно совершенно определенно обрело зеленый оттенок.

— Делайте со мной все, что хотите! — провизжал он. — Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте мне умереть. Пристрелите меня, повесьте, приговорите к двадцати пяти годам. Кого мне еще сдать? Просто назовите имя, и я расскажу вам все что угодно. Мне плевать, кто это и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей, старшему нет и шести. Можете перерезать им глотки прямо у меня на глазах, а я буду стоять и смотреть. Только не помещение 101!

— Помещение 101, — произнес офицер.

Человек с лицом-черепом в отчаянии оглядел остальных заключенных, словно надеясь, что его место займет другая жертва. Глаза остановились на изуродованном лице человека без подбородка,

и он выбросил вперед тощую руку.

— Вот кто вам нужен! — завопил он. — Знали бы вы, что он говорил после того, как ему разбили лицо. Дайте мне случай, и я перескажу вам каждое слово! Это он против Партии, а не я! — Конвоиры шагнули вперед, голос несчастного перешел в визг. — Вы его не слышали! Наверное, что-то случилось с телеэкраном. Вам нужен он! Возьмите его, а не меня!

Двое крепких конвоиров склонились над ним, он бросился на пол, вцепился в железные ножки скамьи и утробно, по-зверски завыл. Конвоиры пытались его оторвать, он держался с поразительной силой. Остальные заключенные сидели неподвижно, сложив руки на коленях, и смотрели прямо перед собой. Вскоре вой прекратился, у человека с лицом-черепом хватало сил лишь на то, чтобы держаться. Потом раздался уже совсем другой вопль: ударом ноги один конвоир сломал заключенному пальцы. Вдвоем они подняли его на ноги.

— Помещение 101, — произнес офицер.

Заключенного вывели. Опустив голову, он покорно шел на подгибавшихся ногах и прижимал к себе изуродованную руку.

Времени прошло изрядно. Если человека с ли-

цом-черепом забрали в полночь, то наступило утро, если утром, то вечер. Уинстон остался один много часов назад. Боль от сидения на узкой скамье донимала так сильно, что он вставал и прохаживался по камере, и телеэкран не разражался окриками. Кусок хлеба все еще валялся там, где его выронил человек без подбородка. Вначале не смотреть было сложно, потом на смену голоду пришла жажда. Во рту стало липко и мерзко. Гудение и непрестанный белый свет навевали на Уинстона какое-то полуобморочное состояние, и голова казалась пустой. Он вставал, не в силах терпеть боль в костях, и почти сразу садился снова, боясь не устоять на ногах. Едва удавалось отвлечься от телесного неудобства, как охватывал ужас. Иногда с гаснущей надеждой он думал об О'Брайене и бритвенном лезвии. Если бы его кормили, то лезвие могли подложить в еду. В голове беспорядочно бродили мысли о Джулии. Наверное, ей гораздо хуже, чем ему. Возможно, прямо сейчас она кричит от боли. «Если бы я смог спасти Джулию, удвоив свою боль, — подумал Уинстон, — согласился бы я или нет? Да, согласился». Впрочем, решение было чисто умозрительное, принятое потому, что иначе он не мог. Уинстон его не чувствовал. В подобном месте

не чувствуешь ничего, кроме боли и предвидения боли. Да и можно ли в момент страдания желать, чтобы боль усилилась еще больше? Ответа на этот вопрос Уинстон пока не знал.

Снова раздались топающие шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил. Он так поразился, что потерял всякую осторожность. Впервые за много лет он позабыл о присутствии телеэкрана.

— Вы тоже попались! — вскричал он.

— Я попался много лет назад, — проговорил О'Брайен с мягкой, почти печальной иронией и отступил в сторону, пропуская дородного надзирателя с дубинкой. — Вы знали, Уинстон. Не обманывайте себя, вы всегда это знали.

Уинстон и сам понял, но раздумывать было некогда. Он не сводил глаз с дубинки в руках надзирателя. Она может ударить в любое место — по темечку, по кончику уха, по плечу, по локтю…

Локоть! Он рухнул на колени, онемев от боли и сжимая ушибленный локоть другой рукой. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, просто немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль! В глазах прояснилось, и он увидел, что над ним стоят двое и смотрят. Надзиратель смеялся, наблюдая за его конвульсиями. По край-

ней мере ответ на свой вопрос Уинстон получил: никогда, ни за что на свете нельзя желать себе еще большей боли. От боли можно ждать только одного: лишь бы она прекратилась. Хуже физической боли не может быть ничего. Перед ее лицом героев нет, героев нет, повторял Уинстон снова и снова, корчась на полу и тщетно сжимая разбитую левую руку.

II

Уинстон лежал на чем-то вроде раскладушки, только очень высокой, и был привязан так, что не мог пошевелиться. Прямо в лицо бил яркий свет. Сбоку стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону маячил человек в белом халате, держа наготове шприц.

Даже открыв глаза, Уинстон смог сориентироваться не сразу, словно попал сюда, вынырнув из совершенного другого, подводного, мира. Он не знал, сколько там находился. После ареста не видел он ни темноты, ни дневного света. Кроме того, воспоминания были обрывочными. Порой сознание, даже такое зыбкое, как во сне, выключалось, за ним следовала пустота, после которой сознание включалось снова. Невозможно ска-

зать, сколько длилось это беспамятство: то ли дни, то ли недели, то ли считаные секунды.

С удара по локтю начался кошмар. Позже Уинстон понял: то была лишь легкая разминка, обычный предварительный допрос, которому подвергаются все заключенные. Их в обязательном порядке заставляли признаться в целом ряде преступлений, шпионаже, диверсиях и тому подобном. Признание — чистая формальность, зато пытки — самые настоящие. Уинстон не помнил, ни сколько раз его избивали, ни как долго это продолжалось. Одновременно его обрабатывали пять-шесть молодцев в черной форме. Били то кулаками, то дубинками, то стальными прутами, то ногами. Временами Уинстон катался по полу, словно животное, потеряв всякий стыд и тщетно пытаясь увернуться, тем самым лишь провоцируя все новые удары по ребрам, по животу, по локтям, по голеням, в пах, в мошонку, в копчик. Временами это продолжалось до тех пор, пока ему не начинало казаться, что самое мучительное, подлое, постыдное не избиение, а то, что он никак не может потерять сознание. Временами нервы сдавали настолько, что он начинал умолять о пощаде, прежде, чем за него принимались надзиратели, и занесенного кулака

ему хватало, чтобы разразиться признаниями во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Иной раз он твердо решал не признаваться ни в чем, и каждое слово приходилось вытягивать словно клещами; или же вяло пытался найти компромисс, говоря себе: «Я признаюсь, но не сейчас. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два, и я расскажу им все, что хотят». Иногда его избивали так, что он едва держался на ногах, потом заносили в камеру и швыряли на каменный пол, словно мешок с картошкой, оставляли в покое на пару часов, чтобы слегка пришел в себя, выводили снова и продолжали бить. Порой восстановление занимало много времени, и бóльшую его часть Уинстон почти не помнил, потому что либо спал, либо валялся в беспамятстве. Он помнил камеру с деревянной лежанкой, похожей на пристенную полку, и цинковую раковину, и горячий суп с хлебом, иногда кофе. Он помнил угрюмого парикмахера, который побрил его и подстриг, помнил деловитых, бездушных людей в белых халатах, которые щупали его пульс, проверяли рефлексы, поднимали веки, водили жесткими пальцами по телу в поисках сломанных костей и втыкали ему в руку иголки, чтобы погрузить в сон.

Бить стали реже, в основном угрожали избить в любой момент, если ответы их не устроят. Допрашивали Уинстона теперь не молодцы в черной форме, а дознаватели-партийцы, проворные упитанные человечки в поблескивающих очках, которые работали с ним посменно по десять или даже двенадцать часов подряд. На допросах они внимательно следили, чтобы Уинстон испытывал постоянную легкую боль, но имелись в их арсенале и другие средства. Они отвешивали ему пощечины, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не давали помочиться, светили лампой в глаза, пока те не начинали слезиться, и все ради того, чтобы унизить и лишить способности спорить и рассуждать. Настоящим их оружием были беспощадные, нескончаемые допросы, во время которых дознаватели расставляли ловушки, переиначивали все сказанное, на каждом шагу уличали во лжи и противоречиях, пока Уинстон не начинал рыдать от стыда и нервного истощения. Иногда он плакал раз по шесть на одном допросе. Бóльшую часть времени его осыпали оскорблениями и угрожали снова отдать на растерзание черным молодцам, но иногда меняли тактику, называли товарищем, обращались от имени ангсоца и

Большого Брата и скорбно вопрошали: неужели в нем даже сейчас не проснулась преданность Партии и желание исправить причиненное зло? После многочасовых допросов у Уинстона сдавали нервы, и он мог расплакаться даже от такого обращения. В конце концов назойливые голоса сломили его больше, чем сапоги и кулаки надзирателей. Он обратился в сплошные губы, которые шептали признания, в руку, которая подписывала все подряд. Единственной его заботой было выяснить, что от него хотят услышать, и поскорее в этом признаться, пока следователи не возобновили издевательства. Уинстон признался в убийстве видных членов Партии, распространении антиправительственных листовок, хищении государственных средств, продаже военных тайн, всевозможных диверсиях. Он признался, что шпионил для правительства Востазии еще с шестьдесят восьмого года, что был верующим, приверженцем капитализма, сексуальным извращенцем. Признался в убийстве жены, хотя и он, и следователи прекрасно знали, что жена его жива и здорова. Признался, что много лет контактировал с самим Гольдштейном и состоял в подпольной организации, куда входили буквально все его знакомые до единого. Признаваться во

всем и топить всех оказалось легко. К тому же отчасти это была правда: Уинстон и в самом деле был врагом Партии, а в глазах Партии разницы между мыслью и делом не существует.

Память его сохранила и воспоминания иного рода, разрозненные картинки, окруженные темнотой.

Он в камере, но не знает, темно сейчас или светло, потому что не видит ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикает какой-то аппарат. Глаза становятся больше, светятся ярче. Внезапно Уинстон отсоединяется от тела, ныряет в эти глаза и тонет.

Он привязан к креслу под слепящими лампами, вокруг какие-то циферблаты. Человек в белом халате снимает с них показания. Снаружи приближаются тяжелые шаги, дверь с лязгом распахивается. Входит офицер с восковым лицом и два конвойных.

«Помещение 101», — говорит офицер.

Человек в белом халате не оборачивается. На Уинстона он тоже не смотрит, только на циферблаты.

Его везут по огромному коридору шириной в километр, залитому дивным золотистым светом, он хохочет в голос и выкрикивает признания.

Признается во всем, даже в том, что смог утаить под пытками. Рассказывает историю своей жизни слушателям, которые и так в курсе. Рядом с ним надзиратели, другие заключенные, люди в белых халатах, О'Брайен, Джулия, старик Чаррингтон — все катятся по коридору вместе и стонут от смеха. Нечто ужасное, ожидавшее их в будущем, почему-то не случилось. Все хорошо, боли больше нет, все до единой подробности жизни Уинстона разоблачены, его поняли и простили.

Всякий раз он приходил в себя почти уверенный, что слышал голос О'Брайена. На допросах тот не появлялся, но у Уинстона было ощущение, будто О'Брайен стоит неподалеку, просто его не видно. О'Брайен заправлял здесь всем: натравливал на Уинстона черных молодцев и в то же время не давал им забить его до смерти; решал, когда Уинстону кричать от боли, а когда получать передышку, когда ему есть, когда спать, когда накачивать его наркотиками. О'Брайен задавал вопросы и предлагал ответы. Он был и палачом, и инквизитором, и другом. Однажды (Уинстон не помнил, то ли в наркотическом забытьи, то ли во сне, то ли в момент бодрствования) голос прошептал ему на ухо: «Не бойтесь, Уинстон, теперь вы в моих руках. Я наблюдал за вами семь долгих лет.

Решающий момент настал. Я вас спасу, я сделаю вас безупречным». Уинстон не знал наверняка, принадлежал ли голос О'Брайену, хотя тот же голос когда-то пообещал ему в другом сне, семь лет назад: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Окончания допроса Уинстон не помнил: наступила темнота, потом вокруг него материализовалась эта камера или комната. Он лежал на спине и не мог пошевелиться, тело стягивали путы, даже голова была надежно закреплена. О'Брайен смотрел на него сверху вниз с серьезным и довольно печальным видом. Лицо его погрубело и постарело, под глазами залегли мешки, от носа к подбородку обозначились усталые складки. Он выглядел старше, чем помнилось Уинстону, лет на сорок восемь или даже пятьдесят. Рука его лежала на аппарате с круговой шкалой.

— Говорил же вам, — напомнил О'Брайен, — если мы и встретимся, то здесь.

— Да, — ответил Уинстон.

Не было ни малейшего предупреждения, лишь легкое движение руки О'Брайена, а тело Уинстона затопила волна боли. Самое страшное, что он не мог понять ее источник, хотя чувствовал: боль чревата смертью. То ли так казалось под действием электричества, то ли его тело на

самом деле корежилось, теряя форму, и связки между суставами медленно рвались. От боли лоб покрылся испариной, но хуже всего был страх, что вот-вот переломится позвоночник. Уинстон сжал зубы и тяжело задышал через нос, пытаясь сдержать крик.

— Вы боитесь, — заметил О'Брайен, наблюдая за ним, — что сейчас у вас что-то сломается. Особенно вам страшно за позвоночник. Вы наглядно представили, как позвоночный столб переламывается пополам, как спинномозговая жидкость устремляется наружу. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон промолчал. О'Брайен вернул регулятор напряжения в прежнее положение. Волна боли схлынула почти так же быстро, как и накатила.

— Это сорок единиц, — пояснил О'Брайен. — Сами видите, цифры на шкале идут до ста. Во время нашей беседы помните, что в моих силах причинить вам столько боли, сколько я захочу. Солжете, попытаетесь увильнуть от ответа или дурачком прикинуться, сразу закричите от боли. Вам ясно?

— Да, — ответил Уинстон.

О'Брайен отставил суровость, задумчиво по-

правил очки, немного походил по комнате. Когда он заговорил снова, голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на доктора, на учителя или даже на священника, который стремится скорее объяснить и убедить в своей правоте, нежели наказать.

— Я вожусь с вами, Уинстон, потому что вы того стоите. Вы прекрасно знаете, что́ с вами не так. И знаете уже много лет, хотя признаться самому себе не пожелали. Вы страдаете психическим расстройством, вас преследуют ложные воспоминания. Настоящих событий вы не помните и убеждаете себя, что помните события, которых не было. К счастью, ваш недуг излечим. Вы не смогли от него избавиться, потому что предпочли этого не делать. Нужно было лишь приложить немного усилий, но вы так и не сподобились. Я прекрасно понимаю, что даже теперь вы цепляетесь за свою болезнь, наивно принимая ее за героизм. Поясню на примере. С какой державой воюет Океания в данный момент?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Востазией.

— С Востазией. Хорошо. И Океания воевала с Востазией всегда, верно?

Уинстон вздохнул. Он открыл рот и не сказал

ничего. Он не мог отвести глаз от шкалы.

— Правду, Уинстон.*Вашу* правду. Скажите, что вы помните, как вам думается.

— Я помню, что за неделю до моего ареста мы вообще не воевали с Востазией. Она была нашим союзником. Война шла с Евразией. И так продолжалось четыре года, а перед этим…

О'Брайен жестом велел ему замолчать.

— Другой пример, — сказал он. — Несколько лет назад у вас случился серьезный, опасный бред. Вы считали, что трое бывших членов Партии по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд, которых казнили за измену и вредительство после того, как они полностью сознались в своих преступлениях, не виновны. Вы якобы видели неопровержимое документальное свидетельство, доказывающее, что их признания ложны. У вас возникла некая галлюцинация, точнее, вам привиделась некая фотография. Вы якобы держали ее в руках. Фотография была наподобие этой…

Между пальцами О'Брайена появилась продолговатая газетная вырезка. Секунд пять она маячила перед глазами Уинстона. Это была фотография, причем та самая! Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке, снимок, который попал ему в руки

одиннадцать лет назад и был тут же им уничтожен. Вот снимок есть, а вот его нет. Он же видел, точно видел! Уинстон рванулся, тщетно пытаясь освободиться, но не сдвинулся ни на сантиметр. На миг он даже забыл про шкалу. Ему отчаянно хотелось подержать фотографию в руках или, на худой конец, увидеть ее снова.

— Она существует!

— Нет, — сказал О'Брайен.

Он отошел к противоположной стене, где была дыра памяти, поднял решетку. Теплый поток воздуха подхватил клочок газеты, и тот исчез во вспышке пламени. О'Брайен отвернулся.

— Пепел, прах, — проговорил он. — Восстановлению не подлежит. Фотографии нет и не было никогда.

— Я же сам видел! Она осталась в памяти, я ее помню! И вы тоже.

— Нет, не помню, — заявил О'Брайен.

Сердце Уинстона упало. Вот оно, двоемыслие в действии. Его охватило полное бессилие. Если бы О'Брайен лгал, то ничего страшного. Однако О'Брайен действительно забыл, что видел фотографию! И если так, то он забыл уже и то, что отрицал ее существование, и забыл, что забыл. Вряд ли это можно считать обычным надуватель-

ством: скорее безумный вывих мозга… Эта мысль Уинстона буквально добила.

О’Брайен смотрел на него изучающе: вылитый учитель, который пытается вразумить своенравного, но подающего надежды ребенка.

— У Партии есть лозунг про контроль над прошлым, — произнес он. — Будьте так добры его повторить.

— Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, — послушно повторил Уинстон, — кто контролирует настоящее, контролирует прошлое.

— Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, — назидательно покивал О’Брайен. — По-вашему, Уинстон, прошлое на самом деле существует?

И снова Уинстоном овладело чувство беспомощности. Его глаза метнулись к шкале. Он не только не знал, какой ответ: да или нет — спасет его от боли, он даже не знал, какой ответ сам считает верным.

О’Брайен чуть улыбнулся.

— Уинстон, вы явно не философ, — заметил он. — До сих пор вы даже не задумывались, что значит существовать. Сформулирую иначе. Существует ли прошлое где-нибудь конкретно,

например в пространстве? Есть ли такое место, мир материальных объектов, где прошлое все еще происходит?

— Нет.

— Тогда где же существует прошлое?

— В документах.

— Отлично, а еще где?

— В памяти. В памяти людей.

— Прекрасно. Так вот, мы, то есть Партия, контролируем все документы и память всех людей. Значит, мы контролируем прошлое, верно?

— Разве можно помешать людям помнить? — вскричал Уинстон, на миг позабыв про шкалу. — Это происходит непроизвольно. Это нам неподвластно. Разве вы способны контролировать память? Мою-то вы не контролируете!

О'Брайен снова посуровел и положил руку на регулятор напряжения.

— Напротив, — проговорил он, — это*вы* ее не контролируете. Потому-то вы сюда и попали. В вас нет ни смирения, ни самодисциплины. Вы не пожелали подчиниться и за это поплатились рассудком. Вы предпочли сойти с ума, остаться в меньшинстве. Лишь приученное к дисциплине сознание способно видеть реальность, Уинстон. По-вашему, реальность материальна, находит-

ся извне и существует сама по себе. Природа реальности представляется вам очевидной. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что видите что-нибудь, и считая, что все остальные видят то же самое. И вот что я вам скажу, Уинстон: реальность находится не где-нибудь вовне, она прямо в человеческом сознании. Разумеется, речь идет не о сознании одного человека (индивид может ошибаться и потому обречен), а о сознании Партии, которое коллективно и бессмертно. Правда то, что считает правдой Партия. Невозможно видеть реальность иначе, кроме как глазами Партии. Этому вам предстоит научиться заново, Уинстон. От вас требуется лишь отказ от ложных убеждений, достигаемый усилием воли. Для того чтобы стать нормальным, вы должны научиться смирению.

Он помолчал, давая Уинстону проникнуться важностью услышанного.

— Помните, — продолжил О'Брайен, — как вы писали в дневнике: «Свобода — это свобода заявить, что два плюс два равно четырем»?

— Помню, — ответил Уинстон.

О'Брайен поднял левую руку тыльной стороной ладони к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив остальные четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

— А если Партия скажет, что не четыре, а пять — сколько тогда?

— Четыре.

Не успев договорить, Уинстон задохнулся от боли. Стрелка на шкале подскочила до отметки пятьдесят пять. По всему телу выступил пот. Воздух ворвался в легкие и вышел глубоким стоном, которого не смогли удержать даже стиснутые зубы. О'Брайен наблюдал за ним, вытянув четыре пальца. Он перевел регулятор в другое положение. На этот раз боль ослабела лишь слегка.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка метнулась к шестидесяти.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Сколько же еще? Четыре!

Вероятно, стрелка поднялась снова, но Уинстон на нее не смотрел. Он видел одно только массивное, суровое лицо и четыре пальца, которые возвышались перед ним словно огромные, расплывчатые колонны. Хотя они слегка подрагивали, их совершенно точно было четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Хватит, хватит! Сколько можно?

Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, Уинстон, лгать бесполезно. Вы все еще думаете, что их четыре. Итак, сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно. Только хватит, хватит боли!

Внезапно Уинстон обнаружил, что сидит и О'Брайен придерживает его за плечи. Похоже, он потерял сознание. Стягивавшие тело путы ослабили. Уинстону было очень холодно, он весь дрожал и лязгал зубами, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену словно дитя, успокоившись под тяжестью руки на плечах. Ему казалось, что О'Брайен — его защитник, что боль исходила извне, от какого-то внешнего источника, и что О'Брайен непременно его спасет.

— Долго же до вас доходит, Уинстон, — ласково заметил О'Брайен.

— А что мне остается? — всхлипнул он. — Разве могу я не видеть того, что перед глазами? Два и два четыре.

— Иногда, Уинстон. А иногда и пять, и три. Бывает, что и то, и другое, и третье одновременно. Вам нужно больше стараться. Нормальным стать нелегко.

О’Брайен уложил его обратно на койку. Путы снова закрепили, зато боль понемногу ушла, дрожь прекратилась, оставив после себя слабость и холод. О’Брайен кивнул человеку в белом халате, который во время процедур неподвижно стоял рядом. Тот склонился над Уинстоном, заглянул ему в глаза, посчитал пульс. Приложил ухо к груди, постучал в разных местах, затем кивнул О’Брайену.

— Еще, — велел О’Брайен.

Тело Уинстона утонуло в боли. На этот раз он зажмурился. Похоже, стрелка поднялась до семидесяти или даже семидесяти пяти. Он знал, что пальцы перед ним и их по-прежнему четыре. Самое главное сейчас пережить конвульсии. Он перестал замечать, кричит или нет. Наконец боль снова уменьшилась. Он открыл глаза. О’Брайен перевел регулятор обратно.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Полагаю, их четыре. Будь их пять, я бы увидел. Я стараюсь увидеть пять.

— Чего вы хотите — убедить меня в том, что видите пять пальцев, или действительно их увидеть?

— Увидеть.

— Еще, — произнес О’Брайен.

Наверное, стрелка показывала восемьдесят-девяносто. Периодически Уинстон забывал, отчего ему так больно. Под веками целый лес пальцев двигался в причудливом танце, сплетаясь друг с другом, исчезая и появляясь вновь. Он пытался их сосчитать, но не помнил зачем. Знал, что сосчитать их невозможно, и это как-то следовало из непостижимого тождества четырех и пяти. Боль снова угасла. Он открыл глаза и увидел то же самое: бесчисленные пальцы двигались, словно ходячие деревья, мелькали туда-сюда, переплетались и разъединялись. Уинстон снова зажмурился.

— Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

— Не знаю. Не знаю. Вы же меня так убьете! Четыре, пять, шесть… честное слово, я не знаю…

— Уже лучше, — одобрил О'Брайен.

В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу по телу разлилось блаженное, живительное тепло. Боль почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде грузного, в глубоких складках лица, такого некрасивого и такого умного, он расчувствовался. Если бы Уинстон мог, то вытянул бы руку и положил ее О'Брайену на плечо. Сейчас он любил его всем сердцем и не только потому, что тот остановил

боль. Вернулось давнее ощущение: по сути, вовсе не важно, друг он или враг, О'Брайен был единственным, с кем можно поговорить. Пожалуй, человек нуждается в понимании куда больше, чем в любви. О'Брайен пытал его и едва не свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит на смерть. Но это не имело значения. В некотором смысле они стали больше, чем просто друзьями, так или иначе, они смогли встретиться и поговорить, хотя те самые слова и не прозвучали. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, словно думал о том же. Легко и непринужденно он обратился к Уинстону:

— Вы знаете, где находитесь?

— Нет, хотя догадываюсь. В министерстве любви.

— Вы знаете, сколько здесь находитесь?

— Нет. Несколько дней, недель, месяцев… наверное, несколько месяцев.

— Как думаете, зачем мы приводим сюда людей?

— Заставить их признаться.

— Нет, причина в другом. Попробуйте еще раз.

— Чтобы покарать.

— Нет же! — резко вскричал О'Брайен изменившимся голосом. Внезапно лицо его стало

одновременно строгим и оживленным. — Нет! Не просто вырвать у вас признание, не покарать. Знаете зачем? Чтобы исцелить! Сделать вас нормальным! Когда вы наконец поймете, Уинстон, что никто не покидает нас неисцеленным? На ваши дурацкие грешки нам плевать. Партию интересуют не действия, а помыслы. Мы не уничтожаем своих врагов, мы их меняем. Понимаете, что я имею в виду?

Он навис над Уинстоном. Снизу его лицо казалось огромным и ужасно уродливым. Вдобавок на нем сиял безудержный восторг, безумная одержимость. Сердце Уинстона сжалось. Сумей он, так вжался бы в койку еще глубже. Он был уверен, что сейчас О'Брайен повернет регулятор просто забавы ради. Однако О'Брайен отвернулся, походил туда-сюда и продолжил уже менее возбужденно:

— Прежде всего учтите вот что: здесь нет места мученикам. Вы наверняка читали про времена религиозных гонений. В Средние века инквизиция потерпела полное поражение. Она намеревалась искоренить ересь, а закончила тем, что ее увековечила. Взамен каждого еретика, сожженного на костре, вставали тысячи других. Почему так вышло? Потому что инквизиция уби-

вала своих врагов в открытую, причем до того, как те раскаются — фактически еретиков убивали из-за того, что те упорствовали в ереси. Люди гибли, не желая отказываться от своих истинных убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор ложился на голову устроившего костер инквизитора. Позже, в двадцатом веке, появились так называемые тоталитарные режимы: немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские искореняли ересь куда более жестоко, чем инквизиция. И они вообразили, будто усвоили ошибки прошлого; в любом случае они знали, что нельзя создавать мучеников. Прежде чем устроить показательный суд, они лишали свои жертвы человеческого достоинства: изнуряли пытками и одиночеством, пока те не превращались в жалких, изуродованных доходяг, которые признаются во всем, что им велят, возводят на себя напраслину, сваливают вину друг на друга, молят о пощаде. И все же через несколько лет история повторилась. Убиенные стали мучениками, их позор забылся. Опять-таки почему? В первую очередь потому, что признания были явно вынужденными и лживыми. Мы подобных ошибок не допускаем. Все признания, которые звучат в этих стенах, — правда. И правдой их

делаем мы. И самое главное — мы не позволяем мертвым восстать против нас. Не думайте, что грядущие поколения оценят вас по достоинству, Уинстон. Они о вас даже не услышат. Мы изымем вас из потока истории, превратим в газ и отправим в стратосферу. От вас не останется ничего — ни имени в архивах, ни памяти в головах живых. Вас уничтожат и в прошлом, и в будущем. Словно вас никогда и не было вовсе.

«Тогда зачем меня пытать?» — с горечью подумал Уинстон.

О'Брайен замедлил шаг, словно Уинстон произнес это вслух. Крупное, некрасивое лицо приблизилось, глаза чуть сузились.

— Вы думаете, раз уж мы намерены вас уничтожить, чтобы ничего из сказанного или сделанного вами не имело ни малейшего значения, то зачем утруждаться допросами? Вы ведь это подумали, верно?

— Да, — ответил Уинстон.

О'Брайен слегка улыбнулся.

— Вы изъян в системе, Уинстон. Вы пятно, которое следует вычистить. Разве я не говорил вам, что мы разительно отличаемся от карателей прошлых эпох? Нас не устраивает ни пассивное подчинение, ни угодливая покорность. Когда

вы наконец сдадитесь, это должно произойти по вашей собственной воле. Мы не уничтожаем еретика за непокорность — покуда он нам сопротивляется, мы над ним работаем. Обращаем в свою веру, подчиняем себе его разум, перекраиваем на свой лад. Мы выжигаем все зло и иллюзии, перетягиваем инакомыслящего на свою сторону, причем он отдается нам не только внешне, а всем сердцем, всей душой. Прежде чем убить, мы делаем его одним из нас. Партия не намерена мириться с чужим заблуждением, каким бы тайным и бессильным оно ни было. Мы не потерпим отклонений от нашей линии даже в миг смерти! В прошлом еретик восходил на костер все тем же еретиком, провозглашая свою ересь и упиваясь ею. Даже жертва русских чисток, идущая по коридору и ожидающая пули в затылок, могла таить в своих мозговых извилинах мятеж. Мы же приводим мозги в полный порядок, прежде чем их вышибить. Заповеди древних деспотий начинались со слов: «Ты не должен», — заповеди тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь другая, она прямо объявляет: «Ты — это мы!» Никто из тех, кого мы приводим сюда, не смеет идти против нас. Каждого мы очищаем от всей скверны. Даже тех жалких предателей, в чью

невиновность вы верили — Джонса, Аронсона и Резерфорда, — мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Сам видел, как постепенно они прогибались, ломались, скулили и валялись у нас в ногах, а под конец рыдали — не от боли, не от страха, а от раскаяния. К тому моменту, как мы с ними закончили, они были лишь пустыми оболочками. В них не осталось ничего, кроме сожаления о том, что они совершили, и любви к Большому Брату. Весьма трогательное зрелище. Они умоляли пристрелить их поскорее, мечтали умереть, пока совесть чиста.

Голос О'Брайена звучал мечтательно, на лице проступил самозабвенный восторг фанатика. Он ведь не притворяется, думал Уинстон, не лицемерит, он и в самом деле верит в то, что говорит. Хуже всего на него подействовало сознание собственной неполноценности. Уинстон наблюдал за грузной и в то же время элегантной фигурой, что расхаживала взад-вперед, то исчезая, то снова попадая в поле зрения. О'Брайен превосходил его по всем статьям. Не было и не могло прийти ему в голову такой мысли, какую О'Брайен не узнал бы, не изучил и не отбросил уже давным-давно. Его разум*вбирал* в себя разум Уинстона. Но если так, то разве мог О'Брайен быть сумасшедшим?

Нет, сумасшедший здесь он, Уинстон…

О’Брайен остановился и посмотрел сверху вниз. Голос его снова посуровел.

— Не думайте, что вам удастся спастись, Уинстон. Тех, кто сбился с пути хоть раз, щадить нельзя. Даже если мы позволим вам прожить отведенный срок, вы все равно никуда от нас не денетесь. То, что происходит здесь, — навсегда. Усвойте это уже наконец. Мы сломаем вас навсегда, возврата не будет. От такого не оправиться и за тысячу лет! Обычные человеческие чувства станут вам недоступны. Внутри все вымрет. Можете забыть о любви, о дружбе, о радостях жизни, о смехе, о любопытстве, о мужестве, о чести. Мы выжмем из вас последние соки, сделаем совершенно пустым, а потом заполним собой.

Он замолчал и кивнул человеку в белом халате. Уинстон почувствовал, как к голове приставили какой-то громоздкий прибор. О’Брайен присел возле койки почти вровень с лицом Уинстона.

— Три тысячи, — велел он человеку в белом халате.

К вискам Уинстона приложили две мягкие, чуть влажные подкладки. Он содрогнулся в ожидании новой боли. О’Брайен успокаивающе, чуть ли не ласково коснулся его руки.

— Больно не будет, — пообещал он. — Смотрите мне в глаза.

И тут грянул всесокрушающий взрыв, хотя шума вроде и не было. По глазам ударила вспышка света. Никакой боли, лишь ступор. Хотя Уинстон и так лежал на спине, у него возникло странное чувство, словно его сбила с ног и распластала по койке взрывная волна чудовищной силы. И еще что-то случилось внутри головы. Когда вернулась четкость взгляда, он вспомнил, кто он и где находится, узнал маячившее перед ним лицо, однако при этом ощущал зияющую пустоту, словно из черепа вынули кусок мозга.

— Это продлится недолго, — сказал О'Брайен. — Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон подумал. Он знал, что такое Океания и что он ее гражданин. Еще он помнил Евразию и Востазию, но понятия не имел, кто с кем воюет. Собственно, он даже не знал, что идет война.

— Не помню.

— Океания воюет с Востазией. Теперь помните?

— Да.

— Океания всегда воевала с Востазией. С самого начала вашей жизни, с самого основания Партии,

с самого начала истории война шла беспрерывно, всегда одна и та же война. Вы это помните?

— Да.

— Одиннадцать лет назад вы состряпали легенду про трех человек, которых приговорили к смерти за измену. Вы притворились, что видели кусок газеты, который доказывал их невиновность. Газета — фикция, которую вы сами выдумали, а потом в нее уверовали. Теперь вспомните тот самый момент, когда это произошло. Вспомнили?

— Да.

— Только что я держал перед вами руку. Вы видели пять пальцев. Помните?

— Да.

О'Брайен поднял левую руку, спрятав большой палец.

— Их пять. Вы видите пять пальцев?

— Да.

Уинстон и впрямь видел их — мимолетно — до того, как в мозгу сменилась картинка. Он видел пять пальцев, и не было в том никакого уродства. Потом все опять стало нормальным, и прежний страх, ненависть и оторопь вновь всей толпой навалились на него. Но был кусочек времени… он не помнил, сколько тот длился, секунд тридцать,

пожалуй… сиятельной определенности, когда каждое новое предложение О'Брайена заполняло пустоту и становилось абсолютной истиной и когда два и два давали в сумме три столь же легко, как и пять, смотря, сколько требовалось. Ощущение исчезло еще до того, как О'Брайен опустил руку, но Уинстон его запомнил, хотя и не смог бы воспроизвести. Так помнится яркое событие прошлого, когда ты был, по сути, другим человеком.

— Теперь понимаете, что при желании возможно все? — спросил О'Брайен.

— Да, — ответил Уинстон.

О'Брайен встал с довольным видом. Слева от него человек в белом халате вскрыл ампулу и наполнил шприц. О'Брайен с улыбкой повернулся к Уинстону и почти в прежней манере поправил очки на носу.

— Помните, вы написали в дневнике, что абсолютно не важно, друг я или враг, поскольку я единственный, кто вас понимает и с кем можно поговорить? Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Ваш разум мне по вкусу. Отчасти он напоминает мой, только вы безумны. Прежде чем закончим сегодняшний сеанс, можете задать мне пару вопросов, если хотите.

— Любых?

— Любых. — Заметив, что Уинстон смотрит на шкалу, добавил: — Аппарат выключен. Каков первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? — спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

— Она предала вас, Уинстон. Причем сразу и безоговорочно. Мне редко доводилось видеть такую готовность к сотрудничеству. Теперь вы ее не узнали бы. Куда девались бунтарский дух, лживость, сумасбродство, бесстыдство? Все сгорело дотла. Прямо-таки хрестоматийный случай обращения на путь истинный.

— Ее пытали?

О'Брайен воздержался от ответа.

— Следующий вопрос, — сказал он.

— Существует ли Большой Брат?

— Конечно, да. Партия существует. Большой Брат — воплощение Партии.

— Существует ли он точно так же, как существую я?

— Вы не существуете, — произнес О'Брайен.

И снова Уинстона одолело ощущение беспомощности. Он понимал или мог вообразить доводы, подтверждавшие, что его не существует,

но они были чепухой, игрой в слова. Разве утверждение: «Вы не существуете» — не абсурдно с точки зрения логики? Только что толку об этом говорить? При мысли о том, какими неоспоримыми, безумными доводами забьет его О'Брайен, Уинстон содрогнулся.

— Я думаю, что существую, — вяло проговорил Уинстон. — Я осознаю себя как личность. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенное место в пространстве. Никакой другой объект не может находиться одновременно в той же точке, что и я. В этом смысле Большой Брат существует?

— Это все не важно. Он существует.

— Большой Брат когда-нибудь умрет?

— Конечно, нет. Разве он может умереть? Следующий вопрос.

— Братство существует?

— Этого, Уинстон, вы не узнаете никогда. Если мы решим освободить вас после того, как с вами закончим, и вы проживете лет до девяноста, то все равно не узнаете, каков ответ на этот вопрос: да или нет. Пока вы живы, это останется в вашем сознании неразрешимой загадкой.

Уинстон лежал молча. Его грудь поднималась и опадала немного чаще. Он все еще не задал во-

прос, что пришел ему в голову в первую очередь. Должен был спросить, но язык не слушался. На лице О'Брайена мелькнула насмешка. Казалось, даже его очки иронично блеснули. Он знает, внезапно подумал Уинстон, он знает, что я хочу спросить!

— Что в «помещении 101»? — выпалил Уинстон.

Выражение лица О'Брайена ничуть не изменилось. Он сухо ответил:

— Вам известно, что в «помещении 101», Уинстон. Всякому известно, что в «помещении 101».

Движением пальца он дал знак человеку в белом халате. Сеанс явно подошел к концу. В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу он погрузился в глубокий сон.

III

— Ваша реабилитация состоит из трех этапов, — объяснял О'Брайен. — Обучение, осмысление и приятие. Пора переходить ко второму этапу.

Как всегда, Уинстон лежал на спине, но с недавних пор его привязывали уже не так крепко. Встать бы не получилось, зато он мог двигать коленями, поворачивать голову и поднимать руки

до локтей. Шкала прибора уже не внушала панический ужас: ударов током можно было избежать, если не тупить и отвечать быстро. Как правило, О'Брайен поворачивал регулятор, стоило лишь Уинстону замешкаться. Иногда удавалось обходиться без наказания весь сеанс. Уинстон не помнил, сколько таких сеансов прошел. Процесс растянулся надолго, наверное, на много недель, и промежутки между сеансами могли длиться нескольких дней, а могли час или два.

— Находясь здесь, — сказал О'Брайен, — вы часто недоумевали и даже спрашивали у меня, почему министерство любви тратит на вас столько времени и сил. Будучи на свободе, вы задавались примерно тем же вопросом. Вы смогли уяснить устройство общества, в котором живете, но не лежащие в его основе мотивы. Помните, как написали в своем дневнике: «*Я понимаю* как. *Понять не могу* зачем»? Как раз, ломая голову над «зачем», вы и сомневались в своей адекватности. Вы прочли *Книгу*, книгу Гольдштейна, по крайней мере несколько глав. Узнали что-нибудь новое?

— Вы ее читали? — спросил Уинстон.

— Я ее написал. Так сказать, участвовал в ее написании. Ни одна книга не создается одиночкой,

как вам известно.

— То, что в ней написано, правда?

— Как описание — да. Предлагаемая в ней программа — чепуха. Тайное накопление знаний… постепенное просвещение масс… в довершение всего восстание пролетариев… свержение Партии… Вы и сами предвидели, что будет в ней говориться. Все это чепуха. Пролетарии не восстанут никогда: ни через тысячу, ни через миллион лет. Неспособны. Мне незачем называть вам причину: вы ее и так знаете. Если вы когда-либо лелеяли мечты о вооруженном мятеже, распрощайтесь с ними. Партию никоим образом нельзя свергнуть. Правление Партии вечно. Из этого впредь и исходите.

О'Брайен подошел вплотную к койке.

— Вечно! А теперь вернемся к вопросу о «как?» и «зачем?». Вы понимаете,*как* Партия сохраняет свою власть. Теперь расскажите мне, *зачем* мы держимся за власть. Каков наш мотив? Зачем нам нужна власть? Ну же, говорите, — понукал он умолкшего Уинстона.

Но тот продолжал подавленно молчать. На лице О'Брайена вновь проступило безумие фанатика. Уинстон заранее знал, что тот скажет. Что Партия стремится к власти не для себя, а ради

благополучия большинства. Что люди в массе своей слабые, трусливые создания, неспособные вынести ни свободы, ни правды, ими должны управлять и планомерно их обманывать те, кто сильнее. Что человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, — и для подавляющего большинства счастье куда предпочтительнее. Что Партия — вечный покровитель слабых, ревностный орден единомышленников, который прибегает ко злу во имя добра, жертвует своим счастьем ради остальных… Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное, что О'Брайен действительно всему этому верит. Это написано у него на лице. О'Брайен знает все. Ему в тысячу раз больше, чем Уинстону, известно, что из себя представляет реальный мир, в каком убожестве живут люди и какой ложью и зверствами Партии удается удерживать их в таком положении. О'Брайен все понял, взвесил и отмел за ненадобностью: высшая цель оправдывает любые средства. Что противопоставить фанатику, размышлял Уинстон, который гораздо умнее тебя, который выслушивает твои доводы и продолжает упорствовать в своем безумии?

— Вы правите нами ради нашего блага, — вяло отозвался Уинстон. — Вы верите, что люди не в

состоянии позаботиться о себе сами, поэтому…

Он вздрогнул и едва сдержал крик. Тело пронзила боль. О'Брайен перевел регулятор напряжения на тридцать пять.

— Глупо, Уинстон, глупо! — воскликнул он. — Думайте, прежде чем говорить! — Убавил напряжение и продолжил: — Я сам отвечу на свой вопрос. Дело вот в чем. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не интересует общее благо, нас интересует лишь власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, абсолютная власть. Скоро вы поймете, что мы под ней подразумеваем. В отличие от олигархий прошлого, мы знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, — трусы и лицемеры. Методы немецких нацистов и русских коммунистов очень близки нашим, только им не хватило мужества разобраться в своих мотивах. Они прикидывались (а то и верили), что захватили власть против своей воли и на ограниченное время, что буквально за углом ждет рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что никто не захватывает власть, чтобы потом от нее отказаться. Власть — не средство, власть — это цель. Никто не устанавливает диктатуру, чтобы защитить

революцию, революцию устраивают ради того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть. Теперь вы начинаете меня понимать?

Уинстона опять поразило, каким усталым выглядит лицо О'Брайена. Сильное, грузное и суровое, на этом лице в глазах светились ум и сдерживаемая страсть, перед которой Уинстон пасовал, и в то же время на нем проступала усталость. Под глазами набрякли мешки, щеки ввалились. О'Брайен склонился над ним, намеренно приблизив усталое лицо.

— Вы думаете, — проговорил он, — что лицо у меня старое и усталое. Думаете, что я разглагольствую о власти, а сам не в силах предотвратить распад собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид — всего лишь клетка? Усталость для клетки — энергия для организма. Разве вы умираете, когда состригаете ногти?

О'Брайен отвернулся и стал расхаживать взад-вперед, сунув руку в карман.

— Мы жрецы власти, — заявил он. — Сила — бог. А вот для вас, Уинстон, власть — всего лишь слово. Пора вам уяснить, что такое власть. Первое, что вы должны усвоить: власть коллективна.

Индивид обретает власть лишь тогда, когда перестает быть индивидом. Вы знаете лозунг Партии: «Свобода есть рабство». Вам не приходило в голову, что верно и обратное? Рабство есть свобода. Одинокий, то есть свободный, человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, потому что человек обречен на смерть, и в этом его самый главный дефект. Если же человек полностью, безоговорочно подчинится, если сможет отрешиться от своей личности, если сольется с Партией и станет ею, то обретет абсолютную власть и бессмертие. Второе, что вы должны усвоить: власть — это власть над людьми. Над телом и, самое главное, над разумом. Власть над материей — над объективной реальностью, как вы бы ее назвали, — не важна. Материю мы уже подчинили себе полностью.

На миг Уинстон позабыл про шкалу. Он отчаянно, до боли рванулся всем телом, пытаясь сесть, но путы держали крепко.

— Разве вы способны управлять материей?! — выпалил он. — Вам не подвластен ни климат, ни закон гравитации! А еще есть болезни, боль, смерть…

О’Брайен жестом велел ему умолкнуть.

— Мы управляем материей, потому что управ-

ляем разумом. Реальность находится внутри черепа. Постепенно вы этому научитесь, Уинстон. Мы способны абсолютно на все. Невидимость, левитация — все, что угодно. Я мог бы взмыть над полом как мыльный пузырь, если бы захотел. Но я не хочу, потому что этого не хочет Партия. Пора вам избавиться от этих понятий девятнадцатого века о законах природы. Мы устанавливаем законы природы.

— Ничего подобного! Вы даже не хозяева всей планеты! Как насчет Евразии и Востазии? Их-то вы пока не завоевали.

— Не имеет значения. Завоюем, когда понадобится. А если и нет, то какая разница? Мы можем от них отгородиться. Океания и есть весь мир.

— Этот ваш мир — всего лишь пылинка во Вселенной, и человек так мал… так беспомощен! Да и появился он совсем недавно. Миллионы лет на нашей планете вообще никто не жил.

— Вздор! Земле столько же, сколько нам. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания вообще ничего нет.

— В земле полно костей вымерших животных, мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили здесь задолго до того, как появился человек!

— Вы сами-то эти кости видели, Уинстон? Разумеется, нет. Биологи девятнадцатого века их придумали. До человека не было ничего. После человека, если он вымрет, тоже не останется ничего. Вне человека — ничто!

— Как же так, ведь вне нас целая Вселенная! Взгляните на звезды! Некоторые из них в миллионе световых лет отсюда. Нам до них не добраться никогда.

— Что такое звезды? — равнодушно заметил О'Брайен. — Всего лишь огоньки в нескольких километрах. Если захотим, мы доберемся до них или же просто погасим. Земля — центр Вселенной. Вокруг нее вращаются и Солнце, и звезды.

Уинстон снова судорожно рванулся, но промолчал. О'Брайен продолжил говорить, как бы отвечая на невысказанное возражение.

— Для решения определенных задач, конечно, это неправда. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, то для удобства предполагаем, что Земля вращается вокруг Солнца и звезды находятся в миллионах и миллионах километров от нас. И что с того? Неужели вы думаете, что мы не в силах разработать двойную астрономию? Неужели считаете, что наши математики на это не способны? Забыли про

двоемыслие?

Уинстон поежился. Что бы он ни сказал, у О'Брайена на все был готов молниеносный ответ. И все же он знал, что прав. Уверенность в том, что вне разума ничего не существует… как же она называется? Вроде бы это заблуждение давно развенчано… Уголки губ О'Брайена поползли вверх.

— Говорил же вам, Уинстон: философия не ваш конек. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить, — солипсизм. Так вот, ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. Хотя тут иное, нечто совершенно противоположное. Впрочем, мы отклонились от темы, — добавил он другим тоном. — Реальная власть, за которую нам приходится сражаться день и ночь, есть не власть над вещами, а власть над людьми. — Он помолчал и снова заговорил как школьный учитель с подающим надежды учеником: — Как один человек утверждает свою власть над другим, Уинстон?

Уинстон задумался.

— Заставляя его страдать, — ответил он.

— Именно. Заставляя его страдать. Одного послушания недостаточно. Если другой человек не страдает, то как быть уверенным, что он исполняет вашу волю, а не свою? Власть состоит в том,

чтобы причинять боль и унижения. Власть состоит в том, чтобы разрывать сознание человека на куски и компоновать их как заблагорассудится. Вы начинаете понимать, какой мир мы создаем? Совершенно противоположный бестолковым гедонистическим утопиям, что грезились реформаторам прошлого. Мир страха, предательства и мучений. Мир, где одни топчут других. Мир, который по мере своего развития будет становиться все более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет идти в сторону увеличения боли. Прежние цивилизации заявляли, что основаны на принципах любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не останется чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Остальные чувства мы уничтожим все до единого. Мы уже крушим стереотипы мышления, сохранившиеся с дореволюционных времен. Мы прервали связь между ребенком и родителем, между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и женщиной. Никто больше не осмеливается доверять ни жене, ни ребенку, ни другу. В будущем ни жен, ни друзей уже не будет. Детей станут забирать у матерей при родах, как яйца у кур. Половой инстинкт мы искореним. Размножение превратится в ежегодную формальность вроде об-

новления продовольственной карточки. Оргазм мы упраздним — наши неврологи уже над этим работают. Не останется иной преданности, кроме преданности Партии. Не останется иной любви, кроме любви к Большому Брату. Не останется иного смеха, кроме хохота над поверженным врагом. Не останется ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы станем всемогущими, необходимость в науке отпадет. Не останется разницы между красотой и уродством. Не останется ни любознательности, ни удовольствия от жизни. Все отвлекающие способы получить удовольствие будут уничтожены. Но навсегда… не забывайте об этом, Уинстон… навсегда останется опьянение властью, постоянно усиливаясь и постоянно делаясь все изощреннее. Всегда, в любое время пребудет упоение победой и ощущение того, что топчешь поверженного врага. Если угодно представить картину будущего, представьте грубый, тяжелый ботинок, который растаптывает лицо человека — вечно…

Он выжидательно помедлил, словно ожидая ответа. Уинстон попытался опять вжаться в койку. Он не мог и слова вымолвить. Сердце, казалось, смерзлось в ледышку. О'Брайен продолжил:

— И помните: это навсегда. Всегда отыщется

лицо, чтобы его топтать. Всегда сыщется и еретик, враг общества, кого можно будет громить и унижать. Все, что вы пережили с тех пор, как попали к нам в руки, продолжится и усугубится. Слежки, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения не прекратятся никогда. Это будет мир террора и мир триумфа. Чем сильнее Партия, тем она безжалостнее; чем слабее сопротивление, тем жестче тирания. Гольдштейн и его лжеучение будут живы вечно. Каждый день, каждый миг их будут опровергать и развенчивать, высмеивать и поносить, и все равно они уцелеют. Пьеса, которую я разыгрывал с вами целых семь лет, будет ставиться снова и снова, поколение за поколением, и становиться все изощреннее. Всегда в нашей власти будет еретик, кто, сломленный и ничтожный, завопит от боли, а под конец, спасенный от себя самого, раскается во всем, угодливо валяясь у нас в ногах. Вот какой мир мы создадим, Уинстон. Мир победы за победой, мир триумфа за триумфом: давление все жестче, жестче, жестче! Вижу, вы начинаете понимать, каким станет наш мир. В конце концов вы не просто поймете, вы его примете, станете его частью.

Уинстон кое-как оправился и вяло возразил:

— Не сумеете.

— Что означает ваша реплика, Уинстон?

— Вы не сумеете создать тот мир, какой только что описали. Это блажь, утопия! Это невозможно.

— Почему?

— Невозможно основать цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Долго она ни за что не протянула бы.

— Почему же?

— В ней не было бы жизненной силы. Она развалилась бы. Покончила бы с собой.

— Чепуха! В вас говорит убеждение, будто ненависть изнурительнее любви. С чего бы это? А если бы так оно и было, то какая разница? Предположим, мы предпочтем жить на износ. Предположим, станем ускорять темп человеческой жизни, пока человек не одряхлеет к тридцати годам. Что с того? Неужели вы не понимаете, что смерть индивида не есть смерть? Партия бессмертна.

Как обычно, этот голос вверг Уинстона в беспомощность. Более того, давил страх, что если он станет упорствовать в несогласии, то О'Брайен вновь приведет в движение стрелку. И все же смолчать не мог. Слабенько, бездоказательно, безо всякой опоры на что-либо, кроме своего невыразимого ужаса от сказанного О'Брайеном,

он вновь повел атаку.

— Я не знаю… мне все равно. Так или иначе, у вас не получится. Что-то вас одолеет. Жизнь одолеет вас.

— Уинстон, жизнь мы держим в узде, на всех уровнях. Вам представляется, будто существует некая человеческая природа, что придет в ярость от того, что мы делаем, и обернется против нас. Только человеческую природу мы создаем. Люди бесконечно податливы. Или, по-видимому, вы вернулись к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут и свергнут нас. Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скоты. Партия и есть человечество. Остальные вне его значения не имеют.

— Мне все равно. В конечном счете они побьют вас. Рано или поздно поймут, что вы из себя представляете, и тогда порвут вас в куски.

— Есть у вас хоть какое свидетельство, что это происходит? Или назвать причину, почему должно происходить?

— Нет. Я верю в это. *Я знаю*, что у вас не получится. Есть во вселенной что-то… не знаю, некий дух, принцип некий… который вам никогда не одолеть.

— Вы верите в Бога, Уинстон?

— Нет.

— Тогда что же оно такое, этот принцип, что одолеет нас?

— Не знаю. Дух Человека.

— Вы считаете себя человеком?

— Да.

— Если вы человек, Уинстон, то последний человек. Ваш вид вымер, а мы ему унаследовали. Вы понимаете, что вы *один*? Вы вне истории, вас не существует. — О'Брайен сменил тактику и жестко бросил: — Вы верите в свое моральное превосходство над нами, *лживыми* и жестокими?

— Да, я верю в свое превосходство.

О'Брайен молчал. Заговорили два других голоса. Не сразу, но в одном из них Уинстон узнал свой. Запись разговора, который он вел с О'Брайеном в тот вечер, когда вступил в Братство. Слышал себя, уверявшего, что готов прибегнуть к обману, *лжи*, шантажу, поощрять проституцию и наркоманию, распространять венерические заболевания, плеснуть кислотой в лицо ребенку… О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, словно давая понять, что продолжать не имеет смысла, повернул выключатель — и голоса умолкли.

— Вставайте с кровати, — велел он.

Путы ослабли. Уинстон спустил ноги на пол и

неуверенно поднялся.

— Вы, последний человек, — произнес О'Брайен. — Вы, хранитель человеческого духа. Вам предстоит увидеть, что вы из себя представляете. Разденьтесь.

Уинстон развязал тесемку на комбинезоне. Молнию из него давно выпороли. Он не помнил, раздевался ли донага после ареста. Под одеждой к телу липли грязные, желтоватые лохмотья — остатки нижнего белья. Бросив их на пол, он заметил в дальнем конце комнаты зеркало с тремя створками. Подошел ближе и остановился как вкопанный. При виде своего отражения он не смог сдержать крик.

— Ну же, — понукал О'Брайен, — встаньте между створками. Сбоку тоже стоит взглянуть.

Уинстон замер в испуге. Навстречу ему двигалось нечто согбенное, посеревшее, похожее на скелет. То, как он (а он себя узнавал) выглядел на самом деле, страшило. Он подошел ближе. Из зеркала свирепо и настороженно смотрело существо с выпуклым лбом, переходящим в бритый наголо череп, со сломанным носом, с разбитыми скулами. На щеках залегли глубокие складки, рот запал. Безусловно, лицо его собственное, но изменилось оно куда больше, чем внутренне

изменился сам Уинстон: проступавшие на нем чувства отличались от тех, что он испытывал. Волос на голове почти не осталось. Сперва Уинстон решил, что он еще и поседел, потом понял: это всего лишь грязь, тело посерело от застарелой, въевшейся грязи. Среди нее краснели недавние шрамы, на голени алела трофическая язва — незаживающая, гноящаяся рана вся в ошметках кожи. Особенно пугала худоба: грудная клетка ввалилась, как у скелета, ноги иссохли до такой степени, что колени были толще бедер. Теперь Уинстон понял, почему О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку… Позвоночник искривился до невозможности, плечи сместились вперед, грудь как бы вдавилась внутрь, тощая шея под весом черепа сгибалась чуть ли не вдвое. Он превратился в старика лет шестидесяти, да еще и неизлечимо больного на вид.

— Иногда вы думали, — заметил О'Брайен, — что мое лицо — лицо члена Центра Партии — выглядит старым и потрепанным. Что же вы думаете о своем?

Он стиснул плечо Уинстона и развернул к зеркалу лицом.

— Взгляните, на что вы похожи! — вскричал он. — Взгляните на отвратительную, въевшуюся в

кожу грязь, на мерзкую, гноящуюся рану на ноге. Вы хоть знаете, что смердите, как козел? Видно, уже принюхались. Взгляните, как вы отощали. Я могу сомкнуть пальцы вокруг вашего бицепса. Я могу сломать вашу шею, как кочерыжку. Вы хоть знаете, что похудели на двадцать пять килограммов? Да у вас волосы клочьями лезут — глядите! — О'Брайен вырвал с его головы клок волос. — Рот откройте. Осталось девять, десять, одиннадцать зубов. Сколько у вас было, когда пришли к нам? А уцелевшие едва держатся. Смотрите!

Он схватил двумя мощными пальцами передний резец. Уинстона пронзила боль. О'Брайен с легкостью вытянул расшатанный зуб с корнями и швырнул на пол.

— Вы гниете заживо, распадаетесь на куски. Во что вы превратились, Уинстон? В мешок с дерьмом. Ну-ка, повернитесь к зеркалу. Видите, кто на вас смотрит? Последний человек. Если вы человек, то таково и все человечество! А теперь одевайтесь.

Руки и ноги не слушались, и Уинстон долго не мог натянуть жалкие лохмотья. До сих пор он не замечал ни худобы, ни слабости. В голове крутилась лишь одна мысль: видимо, он пробыл здесь гораздо дольше, чем казалось. И вдруг его охвати-

ла невыносимая жалость к своему истерзанному телу. Не помня себя, он рухнул на табурет возле кровати и разрыдался. Уинстон сознавал свое уродство, свою неприглядность: мешок костей в грязном белье сидит и ревет под слепящим белым светом — но остановиться не мог. О'Брайен ласково положил руку ему на плечо.

— Вы можете прекратить свои мучения, если захотите, — заверил он. — Все зависит только от вас.

— Это все вы! — всхлипнул Уинстон. — Вы меня довели…

— Нет, Уинстон, вы сами себя довели. На что еще вы рассчитывали, решив корчить из себя борца против Партии? С того все и пошло. Вы предвидели, что так и будет.

Он помолчал, потом продолжил:

— Мы победили вас, Уинстон. Мы вас сломали. Сами видите, на что похоже ваше тело. Ваш разум в таком же состоянии. Не думаю, что от вашей гордости хоть что-то осталось. Вас били, хлестали и оскорбляли, вы кричали от боли, катались по полу в своей крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали всех и вся. Осталось ли хоть что-то, чем вы можете гордиться?

Уинстон перестал рыдать, хотя слезы еще кати-

лись по лицу. Он поднял взгляд.

— Я не предал Джулию.

О'Брайен посмотрел на него задумчиво.

— Совершенно верно, — согласился он. — Джулию вы не предали.

Сердце Уинстона вновь исполнилось благоговейным почтением, которого ничто не могло уничтожить. Как умно, подумал он, как умно! О'Брайен всегда понимает, что ему говорят. Любой другой не преминул бы напомнить, как Уинстон предал Джулию. Чего только они не вытрясли из него под пытками! Уинстон рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом; поведал обо всех, даже самых интимных подробностях их встреч, включая разговоры, купленную на черном рынке еду и бестолковые планы заговора против Партии. И тем не менее он не предал ее в том смысле, какой для себя вкладывал в слово «предательство». Он не разлюбил Джулию, его чувство к ней осталось прежним. О'Брайен без лишних объяснений понял, что Уинстон имеет в виду.

— Скажите, скоро ли меня расстреляют?

— Может, и совсем не скоро, — ответил О'Брайен. — Вы тяжелый случай. Впрочем, надежду терять не стоит, рано или поздно исцеляются все.

В конечном итоге мы вас расстреляем.

IV

Уинстону стало гораздо лучше. Он набирал вес и силы с каждым днем, если уместно говорить о днях. Хотя слепящий свет и непрестанный гул никуда не делись, его перевели в чуть более удобную камеру. На нарах теперь лежали подушка и матрас, и еще был табурет, чтобы сидеть. Уинстону дали помыться целиком и позволили регулярно споласкиваться в жестяном тазу, причем в теплой воде. Ему выделили новый комплект белья и чистый комбинезон. На трофическую язву наложили повязку с болеутоляющей мазью. Остатки зубов удалили, их заменили протезы.

Вероятно, прошли недели или даже месяцы. Поскольку кормили теперь регулярно, Уинстон мог бы следить за временем, если б захотел. Судя по всему, питание он получал трижды в сутки, иногда он задавался вопросом, происходит ли это днем или ночью. Еда была на удивление вкусной, каждый третий раз с мясом. Однажды ему выдали пачку папирос. Спичек не полагалось, но молчаливый надзиратель иногда давал прикурить. От первой папиросы Уинстону стало дурно, потом

пошло полегче, и он растянул пачку надолго, выкуривая после еды по полпапиросы.

Ему выдали белую доску для безопасного письма с привязанным в углу огрызком карандаша. Сначала Уинстон ею не пользовался. Даже бодрствуя, он ощущал полное безразличие. Между приемами пищи лежал почти неподвижно, иногда дремал, иногда просто не мог открыть глаза, предаваясь смутным грезам. Он давно привык спать с бьющим в лицо светом — это больше не мешало, лишь делало сны чуть более упорядоченными. В последнее время Уинстону снилось много снов, причем всегда радостных. То он бродит по Золотой стране, то сидит среди грандиозных, живописных, залитых солнцем развалин с матерью, Джулией и О'Брайеном, просто сидит на солнышке и беседует с ними о приятных вещах. Просыпаясь, Уинстон думал в основном о том, что ему приснилось. Похоже, с исчезновением болевого стимула он разучился прилагать умственные усилия. Он не испытывал ни скуки, ни желания беседовать или развлекаться. Его вполне устраивало, что он может побыть один, что его не бьют и не допрашивают, да еще кормят вдоволь и дают помыться.

Постепенно Уинстон стал меньше спать, но

подниматься с койки не испытывал ни малейшего желания. Ему хотелось просто лежать и чувствовать, как в теле накапливаются силы. Он ощупывал себя, стараясь убедиться, что ему не мерещится и мышцы действительно наливаются, а кожа становится более упругой. Наконец он уверился, что набрал вес: бедра определенно стали толще коленей. После этого взялся, поначалу нехотя, за зарядку. Он понемногу занялся моционом. Вскоре он проходил по три километра, меряя камеру шагами, и согнутые плечи постепенно распрямились. Попробовав более сложные упражнения, Уинстон с удивлением и негодованием обнаружил, сколько всего ему не удается. Он не мог перейти с ходьбы на бег, не мог держать табурет в вытянутой руке, не мог стоять на одной ноге, не падая. Приседая, он чувствовал мучительную боль в икрах и бедрах и едва поднимался в исходное положение. Уинстон лег на пол, попробовал отжаться. Бесполезно: не сдвинулся ни на сантиметр. И лишь через несколько дней — и приемов пищи — даже этот подвиг ему удался. Пришло время, когда он смог отжаться целых шесть раз подряд! Уинстон начал гордиться своим телом и тешить себя надеждой, что лицо тоже приходит в норму. Лишь случай-

но касаясь рукой лысого черепа, он вспоминал морщинистое, изуродованное лицо, какое увидел в зеркале.

Разум тоже прояснялся. Уинстон садился на койку, прислонялся к стене, клал на колени доску и методично занимался самообразованием.

Он капитулировал, в том не оставалось сомнений. На самом деле, как Уинстону стало ясно теперь, капитулировал он задолго до того, как принял осознанное решение. Попав в министерство любви — и даже в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли, выслушивая указания железного голоса с телеэкрана, — Уинстон понял несерьезность попытки пойти против Партии. Как выяснилось, полиция помыслов семь лет наблюдала за ним, словно за жуком под лупой. Замечалось абсолютно все: любой поступок, любое сказанное вслух слово, любая мысль, промелькнувшая на лице. Даже белесую соринку с обложки дневника аккуратно возвращали на место. Ему проиграли аудиозаписи, показали фотографии. На некоторых Уинстон с Джулией… Да, в мельчайших подробностях… Бороться с Партией он больше не мог. К тому же Партия всегда права. Так и должно быть, разве может ошибаться бессмертный коллективный разум?

По каким внешним стандартам проверишь его на вменяемость? Здравый смысл измеряется статистикой. Нужно всего лишь научиться думать, как они. Всего лишь!..

С непривычки карандаш казался толстым и неудобным. Уинстон начал записывать мысли, приходившие ему в голову. Он вывел неуклюжими заглавными буквами:

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

И почти без паузы написал ниже:

2 + 2 = 5

Дело застопорилось. Уинстону никак не удавалось сосредоточиться, он словно нарочно увиливал. Знал, что должно следовать дальше, но не мог припомнить. И лишь приложив сознательное усилие, а не по наитию, написал:

БОГ ЕСТЬ ВЛАСТЬ

Уинстон принял все. Прошлое изменяемо — прошлое не менялось никогда. Океания воюет с Востазией — Океания всегда воевала с Востазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в предъ-

явленных обвинениях. Он никогда не видел фотографию, доказывавшую их невиновность. Ее никогда не существовало, он сам ее придумал. Он помнил и обратное, но то были ложные воспоминания, результат самообмана. До чего все легко! Лишь сдайся, а остальное приложится. Все равно что плыть против течения, которое сносит назад, как бы сильно ты ни выкладывался, а потом вдруг решить развернуться и поплыть по течению. Не изменилось ничего, кроме твоего отношения: предначертанное произойдет в любом случае. Уинстон уже не понимал, зачем вообще стал бунтарем. Все теперь легко, кроме…

Правдой может быть что угодно. Так называемые законы природы — чепуха. Закон гравитации — чепуха. «Если бы я захотел, — сказал О'Брайен, — то мог бы взмыть над полом как мыльный пузырь». Уинстон задумался. «Если он *думает,* что взмыл над полом, и я тоже *думаю,* что вижу, как он это сделал, значит, так и есть на самом деле». Внезапно, как на поверхности воды появляется обломок кораблекрушения, в его сознании всплыла мысль: «Этого нет. Мы все выдумали. Это галлюцинация». Уинстон поспешно ее подавил, как заведомо ложную. Мысль предполагала, что где-то вне его сознания существует некий *реаль-*

ный мир, где происходят *реальные* события. Разве такой мир существует? Любые знания дает нам наше сознание. Значит, все происходит лишь в нашем сознании, и что бы там ни происходило, оно и есть правда.

Уинстон избавился от этого заблуждения без труда и не поддался ему. Тем не менее он понимал, что таким мыслям вообще в голове не место. Как только опасная мысль западает, сознание создает своего рода слепое пятно, причем процесс должен происходить автоматически, по инстинкту. На новослове это называется*«криминалстоп»*.

Он начал упражняться в*криминалстопе*: формулировал утверждения («Партия говорит, что Земля плоская», «Партия говорит, что лед тяжелее воды») и заставлял себя не видеть или не понимать доводов, которые им противоречат. Это давалось нелегко, требовало огромных мыслительных усилий и большой ловкости. Арифметические сложности, связанные с задачей «два и два равно пяти», лежали за пределами его умственных возможностей. К тому же требовался своего рода атлетизм ума, способность одномоментно виртуозно пользоваться логикой, а в следующий миг по-глупому игнорировать

грубейшие логические ошибки. Глупость требовалась не меньше, чем разумение, и давалась с не меньшим трудом.

И все это время он задавался вопросом: когда же его расстреляют? «Все зависит только от вас», — заверил О'Брайен, но Уинстон знал, что никоим образом не в силах приблизить этот миг сознательно. Это могло произойти и через десять минут, и через десять лет. Его могут продержать в одиночке долгие годы, могут послать в трудовой лагерь, могут ненадолго выпустить. Вполне вероятно, что перед расстрелом будет снова разыграна та же пьеса: арест, допросы. Единственное, что известно наверняка: смерть всегда внезапна. По традиции (по негласной традиции, разумеется) в приговоренного стреляют сзади, в затылок, без предупреждения, пока ведут по коридору из камеры в камеру.

Однажды — как всегда, непонятно, то ли днем, то ли ночью, Уинстон впал в странное, блаженное забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Знал, что это произойдет в любую минуту. Вопрос был решен, все дела улажены, все противоречия устранены. Не осталось ни сомнений, ни возражений, ни боли, ни страха. Он шагал легко, радуясь движению и почему-то чувствуя на себе

лучи солнца. И вот он уже не в длинном белом коридоре министерства любви, а в огромной, залитой солнцем галерее километр шириной, в которую вроде бы уже попадал, когда его накачивали наркотиками. Он очутился в Золотой стране и шел по тропинке через изрытый кроличьими норами луг. Под ногами пружинил мягкий дерн, кожу ласкало солнце. На краю поля чуть покачивались на ветру вязы, вдали струился ручей, где в заводях под ивами плавают ельцы.

Внезапно Уинстон в ужасе вскочил, обливаясь по́том, и услышал свой громкий крик:

— Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!

На миг ему показалось, что она рядом. Точнее, не с ним, а внутри его, словно проникла ему под кожу. И в этот миг он любил ее гораздо больше, чем когда они были вместе и на свободе. Еще каким-то чутьем он угадывал, что она жива и нуждается в помощи.

Уинстон опустился на койку и попытался взять себя в руки. Что же он наделал? Сколько еще лет добавил к своему тюремному заключению, поддавшись минутной слабости?

Скоро раздастся топот шагов. Такой порыв чувств они просто не могут оставить безнаказан-

ным. Теперь они точно знают, что он нарушил соглашение. Он подчинился Партии, но все еще ненавидел ее. Прежде Уинстон скрывал еретические мысли под маской подчинения, теперь отступил еще на шаг: разумом сдался, в душе же надеялся остаться прежним. Уинстон знал, что не прав, и продолжал упорствовать. Его поймут: О'Брайен наверняка все понял! Уинстон выдал себя одним глупым воплем.

Придется все начинать заново. На это могут уйти годы… Уинстон провел рукой по лицу, пытаясь свыкнуться с новыми очертаниями. На щеках залегли глубокие складки, скулы заострились, нос стал плоским. Кроме того, ему сделали зубные протезы. Нелегко сохранять невозмутимость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае владения мимикой явно недостаточно. Впервые до него дошло, что скрывать тайну нужно не только от окружающих, но и от себя самого. Знаешь, что она есть, и до поры до времени держишь ее за границей сознания, не позволяя обрести ни форму, ни имя. Отныне он должен не только думать правильно, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. И в то же время должен держать свою ненависть под замком, словно шарик материи, который стал его

частью и в то же время существует отдельно от организма, как киста.

Когда-нибудь они решат его расстрелять. Заранее не узнаешь, но за несколько секунд догадаться можно. Выстрелят сзади, пока будут вести по коридору. Десяти секунд хватит. И тогда мир внутри его перевернется. И вот без единого слова, не сбиваясь с шага, не дрогнув лицом, он сбросит маску — и бах! врубит свою ненависть на полную. Ненависть заполнит его, как ревущее пламя. И почти в тот же миг — бах! — вылетит пуля, и будет слишком поздно или слишком рано. Они разнесут его мозг прежде, чем сумеют им завладеть. Еретическая мысль останется безнаказанной, грешник ускользнет нераскаянным. Они сами пробьют брешь в своей безупречности. Умереть с ненавистью к ним и есть свобода.

Уинстон прикрыл глаза. Это куда сложнее, чем дисциплина ума. Придется распрощаться с остатками достоинства, изувечить себя, нырнуть в самую клоаку. Что может быть страшнее всего? Он вспомнил Большого Брата. Перед мысленным взором Уинстона возникло огромное, метр в ширину, лицо с густыми черными усами и неусыпно следящим за тобой взглядом — такое как на плакатах. Что же он на самом деле испытывает к

Большому Брату?

В коридоре раздались тяжелые шаги. Железная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. За ним маячили офицер с восковым лицом и надзиратели в черной униформе.

— Встаньте, — велел О'Брайен. — Подойдите сюда.

Уинстон подчинился. О'Брайен сжал его плечи обеими руками и пристально взглянул в глаза.

— Вы хотели меня обмануть, — сказал он. — Зря. Станьте прямо. Не отводите взгляд.

О'Брайен помолчал, потом несколько смягчил тон.

— Вы делаете успехи, Уинстон. Умом вы почти исцелились, но в эмоциональном плане продвинулись мало. Скажите… и помните, не смейте мне лгать, ложь я всегда распознаю… скажите, что вы испытываете к Большому Брату?

— Я его ненавижу.

— Ненавидите, значит. Отлично. Значит, настало время для последнего этапа. Вы должны любить Большого Брата. Простого подчинения недостаточно, вы должны его полюбить.

О'Брайен выпустил Уинстона и чуть подтолкнул к надзирателям.

— Помещение сто один, — произнес он.

V

На каждом этапе своего заключения в этой башне без окон Уинстон знал, где находится, или думал, что знает. Возможно, сказывались небольшие различия в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, располагались в подземной части. Комната, где его допрашивал О'Брайен, — под самой крышей. А это помещение скрывалось глубоко под землей, в самом низу.

Здесь было просторнее, чем в других камерах, хотя обстановку Уинстон особо не разглядывал. Он обратил внимание лишь на два небольших столика, покрытых грубым зеленым сукном. Один стоял в метре или двух перед ним, другой вдалеке, возле двери. Он сидел на стуле, привязанный так крепко, что не пошевелиться. Голову сзади обхватывал мягкий держатель, позволявший смотреть только вперед.

Дверь открылась, вошел О'Брайен.

— Как-то вы спросили, что находится в помещении сто один, — напомнил он. — Я ответил, что это и вам самому известно. Это всем известно. В помещении сто один то, что ужаснее всего на свете.

Дверь снова открылась. Вошел надзиратель с какой-то проволочной клеткой или корзиной и поставил ее на дальний стол. О'Брайен загораживал обзор, поэтому Уинстон не смог ничего разглядеть.

— То, что ужаснее всего на свете, — пояснил О'Брайен, — у всех разное. Кто-то боится быть похороненным заживо или посаженным на кол, погибнуть в огне или утонуть… способов казни существует предостаточно. Некоторые боятся чего-то вполне банального, даже несмертельного.

Он чуть отступил в сторону, и Уинстон увидел, что стоит на столике. Прямоугольная проволочная клетка с ручкой для переноски наверху. К передней части крепилась штука, похожая на фехтовальную маску, вогнутой стороной внутрь. Даже на расстоянии трех-четырех метров Уинстон разглядел, что клетка делится на две части и в каждой кто-то копошится. Крысы.

— В вашем случае, — заметил О'Брайен, — самое ужасное на свете — крысы.

Уинстон содрогнулся, едва внесли клетку, и предчувствие не обмануло. Он сразу сообразил, для чего нужна маска, и его точно ударили под дых.

— Не надо! — вскрикнул он высоким, надтрес-

нутым голосом. — Только не это! Только не это!

— Помните, — осведомился О'Брайен, — миг паники в своем кошмаре? Вы стоите перед стеной мрака, в ушах рев. За стеной что-то ужасное. Вы всегда знали, что там, но не отваживались себе признаться. Там были крысы, Уинстон.

— О'Брайен! — воскликнул Уинстон, пытаясь унять дрожь в голосе. — Вы же знаете, что это лишнее. Чего еще вы от меня хотите?

От прямого ответа О'Брайен уклонился. Он задумчиво посмотрел вдаль и заговорил тоном школьного учителя, словно обращаясь к невидимой аудитории за спиной Уинстона.

— Случается, одной боли недостаточно. Некоторые люди способны терпеть боль до самой смерти. Однако у всех есть то, что для них невыносимо. Мужество и трусость тут ни при чем. Если падаешь с высоты, то схватиться за веревку не трусость. Если выныриваешь из воды, то наполнить легкие воздухом не трусость. Это всего лишь инстинкт, который нельзя подавить. То же самое и с крысами. Для вас они невыносимы. Такого давления вы не в силах выдержать, даже если захотите. Вы сделаете все, что от вас потребуют.

— Но что, что? Как я могу сделать то, чего не знаю?!

О’Брайен поднял клетку, перенес к ближнему столу и аккуратно поставил на зеленое сукно. В ушах Уинстона застучала кровь. Внезапно он ощутил полное одиночество, словно сидит посредине громадной бесплодной равнины, плоской выжженной пустыни, и все звуки доносятся с огромного расстояния. При этом клетка с крысами находилась всего метрах в двух от него… Крысы были чудовищные, матерые, с побуревшей шкурой, с тупыми носами.

— Крыса, — продолжал О’Брайен, обращаясь к своим невидимым слушателям, — хотя и грызун, зато плотоядный. Полагаю, вам это известно. Вы слышали, что творится в беднейших кварталах нашего города. Женщины боятся оставить маленьких детей одних даже на минуту. Крысы тут же нападут и за считаные минуты обглодают младенца до костей. Еще у них удивительное чутье на хворых и умирающих, которые неспособны защититься.

В клетке поднялся визг. До Уинстона он донесся словно издалека. Крысы устроили драку: пытались достать друг друга через перегородку. Еще он услышал глухой стон отчаяния, тоже донесшийся как бы извне.

О’Брайен поднял клетку и на что-то нажал.

Раздался громкий щелчок. Уинстон рванул изо всех сил, пытаясь высвободиться. Бесполезно, все части тела и даже голова были совершенно обездвижены. О'Брайен придвинул клетку. До лица Уинстона оставалось меньше метра.

— Я нажал на первый рычаг, — пояснил О'Брайен. — Конструкция клетки вам понятна. Маска обхватывает лицо плотно, деться вам некуда. Когда я нажму на второй рычаг, дверца клетки поднимется и эти ненасытные твари вылетят из нее пулей. Доводилось видеть крысу в прыжке? Они прыгнут вам на лицо и вгрызутся в плоть. Иногда они начинают с глаз. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

Клетка придвигалась все ближе и ближе. Уинстон услышал череду пронзительных воплей, раздававшихся где-то над головой, но продолжал яростно бороться с паникой. Думать, думать, думать до последнего — единственная надежда. Вдруг его ноздрей коснулась смрадная, затхлая вонь. К горлу подкатила тошнота, и он едва не лишился сознания. Вокруг все почернело. На миг он превратился в безумное, визжащее животное. И все же из темноты Уинстон вынырнул, цепляясь за мысль. Спастись можно только одним-единственным способом: закрыться от крыс другим

человеком, подставить его вместо себя.

Проволочная маска заслонила собой все. Дверца находилась совсем близко от лица. Крысы сообразили, что скоро произойдет. Одна принялась скакать вверх-вниз, другая тварь с длинным чешуйчатым хвостом, владыка сточных канав, встала, схватилась розовыми лапками за решетку и яростно втянула носом воздух. Уинстон разглядел усы, желтые зубы, и на него вновь нахлынула черная паника. Он ослеп, оглох, ошалел от ужаса.

— Подобный вид пытки был весьма распространен в Китайской империи, — назидательно сообщил О'Брайен.

Маска почти закрыла лицо, проволока коснулась щеки. И тогда Уинстон испытал еще не облегчение, нет, лишь проблеск надежды. Поздно, наверное, слишком поздно. Внезапно он понял, что на всем свете найдется лишь*один* человек, которого можно подставить вместо себя, — *одно* тело, которым он может отгородиться от крыс. И он истошно завопил, повторяя снова и снова.

— Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что с ней будет. Пусть крысы сгрызут с ее лица кожу, пусть обглодают до костей. Только не меня! Джулию! Не меня!

Он падал назад, в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще сидел, прикрученный к стулу, но при этом проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в открытый космос, в межзвездное пространство — прочь, прочь, прочь от крыс. Он был в миллионах световых лет отсюда, и все же О'Брайен стоял рядом, щеки еще касалась холодная проволока. И тут сквозь сомкнувшуюся мглу до Уинстона донесся металлический щелчок, и он понял, что дверца клетки закрылась.

VI

В кафе «Каштан» было почти пусто — посетителей в пятнадцать часов всегда немного. На пыльные столешницы падал косой луч солнца.

С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка.

Уинстон сидел в своем привычном углу, глядя в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на лицо, смотревшее с противоположной стены. «Большой Брат следит за тобой», — гласила надпись. Не дожидаясь просьбы повторить, подошел официант, вновь наполнил стакан джином «Победа» и добавил несколько капель сахарина

с гвоздикой из бутылки с трубочкой в пробке. Фирменный коктейль кафе «Каштан».

Уинстон прислушивался к телеэкрану. Сейчас передавали музыку, но в любой момент следовало ждать специальной сводки из министерства мира. Новости с африканского фронта поступали чрезвычайно тревожные. Уинстон переживал из-за этого целый день. Евразийская армия (Океания воюет с Евразией — Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась на юг ужасающими темпами. В дневном спецвыпуске конкретных мест не называли, и вполне вероятно, что битва уже идет в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль в опасности, и не нужно смотреть на карту, чтобы понять, насколько все серьезно. Теперь речь шла не только о потере Центральной Африки, впервые за всю войну под угрозой оказалась территория Океании.

Уинстона охватило душевное волнение, не совсем страх, скорее неясное смятение, и тут же сошло на нет. Думать о войне он перестал. В эти дни он не мог сосредоточиться ни на чем дольше нескольких секунд. Поднял стакан и осушил его залпом. Как всегда, джин заставил содрогнуться и чуть не пошел обратно. Отвратное пойло. Даже гвоздика с сахарином, сами по себе весьма мерз-

кие, не могли заглушить убогий сивушный запах, а хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем, ни ночью, напоминала запах…

Он никогда не называл их, даже мысленно, и пока удавалось гасить в сознании их вид. Крысы чудились ему постоянно, копошились возле лица, их запах щекотал ноздри. Джин поднялся к горлу, и Уинстон рыгнул сквозь сиреневые губы. С тех пор как его выпустили, он располнел и обрел прежний цвет лица, если не сказать больше. Черты погрубели, кожа на носу и скулах стала грубой и красной, даже лысина налилась темно-малиновым. Снова подошел официант, принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», открытый на шахматном этюде. Увидев, что стакан Уинстона пуст, сходил за бутылкой и налил джина. Звать официанта и делать заказ даже не требовалось: тут его привычки знали. Шахматная доска всегда ждала Уинстона, угловой столик всегда отведен для него; даже если в кафе становилось людно, он сидел в одиночестве, поскольку никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Время от времени официант подавал грязный клочок бумаги, так называемый счет, но Уинстону чудилось, что с него берут подозрительно мало. Впрочем, деньги его не заботили, теперь их

хватало с избытком. У него даже была работа — настоящая синекура, куда лучше оплачиваемая, чем прежняя.

Музыка с телеэкрана прекратилась, зазвучал голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Не сводка с фронта, всего лишь короткое объявление от министерства благоденствия. Сообщили, что в прошлом квартале Десятый трехгодичный план по производству шнурков перевыполнен на девяносто восемь процентов.

Уинстон изучил этюд и расставил шахматы на доске. Это было сложное окончание партии с двумя конями. «Белые начинают и ставят мат в два хода». Уинстон посмотрел на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, суеверно подумал он. Всегда, без исключения, так уж устроено. Ни в одном шахматном этюде с сотворения мира черные никогда не выигрывали. Не символизирует ли это вечный, неизбежный триумф добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда ставят мат.

Голос с телеэкрана сделал паузу и добавил другим, гораздо более мрачным тоном:

— Внимание! В пятнадцать тридцать мы сделаем важное объявление. В пятнадцать тридцать! Новости крайне важные, не пропустите. В пятна-

дцать тридцать!

И снова забренчала назойливая музыка.

Сердце Уинстона забилось чаще. Вот и сводка с фронта, интуиция подсказывала, что грядут плохие новости. Весь день при мысли о разгромном поражении в Африке на него накатывали короткие приливы волнения. Он так и видел, как евразийская армия ломится сквозь прежде неприступную границу и заполоняет оконечность континента, словно колонна муравьев. Почему не удалось как-нибудь обойти их с флангов? Береговая линия Западного побережья буквально стояла у него перед глазами. Он взял белого коня и перенес на противоположный конец доски. Вот где правильное место! Он видел, как черная орда несется к югу, и вдруг таинственным образом появляется другая сила, врезается ей в тыл, перекрывает сообщение с сушей и морем. Уинстон чувствовал, что усилием воли вызывает эту силу к жизни. Действовать надо без промедления. Если им удастся взять под контроль всю Африку, если захватят аэродромы и базы подлодок на мысе Доброй Надежды, то Океания расколется надвое. И тогда возможно буквально все: поражение в войне, развал страны, передел мира, уничтожение Партии! Уинстон глубоко вздохнул. В нем

боролись весьма противоречивые чувства, причем в их дикой мешанине отдельные элементы располагались слоями, и нельзя было разобрать, чего там больше.

Наконец волнение отхлынуло. Он поставил белого коня на место, но уже не мог сосредоточиться на этюде. Мысли снова разбрелись. Почти неосознанно Уинстон вывел пальцем на пыльном столике:

2 + 2 = 5

«В нутро к тебе им не влезть», — сказала когда-то Джулия. Зато в твое влезть сумели. «Происходящее здесь с вами, оно*навсегда*», — сказал когда-то О'Брайен. Точное слово нашел. Есть такое, твои собственные поступки, от чего не оправиться никогда. Что-то убито в твоей груди: сгорело, выжжено дотла.

Он виделся с ней, даже разговаривал. Уинстон ничем не рисковал, он интуитивно чувствовал, что его дела их почти не интересуют. Мог бы увидеться с Джулией и еще раз, если б возникло такое желание. На самом деле встретились они случайно, в парке. Стоял промозглый мартовский день, когда земля тверда, как железо, трава кажется мертвой, и нигде ни единого зеленого

листочка, не считая жалких крокусов, вылезших будто на растерзание ветру. Он торопливо шел, руки заиндевели, глаза слезились, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Джулия разительно изменилась, хотя Уинстон сразу не понял, что именно не так. Они почти разминулись, и тут он, передумав, неохотно последовал за ней. Джулия молча свернула на лужайку, надеясь, что Уинстон отстанет, потом смирилась с его присутствием. Вскоре они очутились в жалких зарослях безлистного кустарника, не укрывающего ни от чужих взглядов, ни от ветра. Было ужасно холодно. Ветер свистел в ветвях и безжалостно трепал редкие, замызганные крокусы. Уинстон обнял девушку за талию.

Телеэкранов рядом нет, зато наверняка есть скрытые микрофоны. К тому же их было видно. Значения это не имело, ничто уже не значило. Они могли бы улечься на землю и заняться*этим*, если б захотели. Мысль эта всю его плоть вогнала в ужас. Джулия оставила без ответа все пожатия его руки на талии, даже отстраниться не пыталась. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо стало еще более землистым, через лоб к виску тянулся длинный шрам, чуть прикрытый волосами, но не в том была перемена. Она в том была, что талия ее раздалась и как-то удивитель-

но отвердела. Ему вспомнилось, как однажды после разрыва ракеты он помогал вытаскивать из развалин труп, как поразился не столько невероятной тяжести тела, сколько его жесткости и неподатливости, так и казалось, что держишь не плоть, а камень. Таким же под его рукой было сейчас и тело Джулии. В голове его гнездилась мысль, что и кожа ее уже совсем не та, какою когда-то была.

Он не пытался ее поцеловать, оба молчали. Когда шли по траве обратно, она в первый раз в упор взглянула на него. Один краткий взгляд, зато полный презрения и неприязни. Уинстон гадал, вызвана ли неприязнь одним только прошлым или еще и его пропитым лицом да влагой, какую то и дело выжимал ветер из его глаз. Они сели в железные кресла, бок о бок, но не слишком близко. Он видел, что Джулия вот-вот заговорит. Она передвинула свой грубый башмак на несколько сантиметров и нарочито хрустко переломила ветку. «Ступни у нее стали шире», — отметил про себя Уинстон.

— Я тебя предала, — напрямик выговорила она.

— Я тебя предал, — произнес он.

Она вновь бросила на него быстрый неприяз-

ненный взгляд.

— Иногда тебе грозят тем, чего ты не в силах вынести, даже в мыслях. И тогда ты говоришь: не делайте этого со мной, сделайте с кем-то другим, сделайте это с тем-то и тем-то. После, может, и притворишься, будто ты просто схитрила и сказала так, чтоб только пытки прекратились, а на самом деле ничего это не про то. Только это неправда. В тот момент, когда пытают, ты и впрямь про то. Думаешь, мол, никак иначе себя не спасешь и вполне готова спастись именно так. Ты *хочешь*, чтоб оно случилось с кем-то другим. Тебе плевать, что кто-то будет страдать. Заботишься только о себе.

— Заботишься только о себе, — эхом отозвался он.

— А после такого нет у тебя больше прежних чувств к тому, другому.

— Да, — молвил он, — того же уже не чувствуешь.

Больше, похоже, говорить было не о чем. На ветру их тонкие комбинезоны липли к телу. Внезапно сидеть и молчать стало слишком неловко, к тому же они замерзли. Джулия, пробормотав что-то про то, что надо успеть в подземку, поднялась.

— Нам надо еще встретиться, — предложил он.

— Да, — кивнула она, — нам надо еще встретиться.

Уинстон нерешительно двинулся следом, чуть позади. Больше они не разговаривали. Джулия вовсе не пыталась от него ускользнуть, просто торопливо шагала вперед, не давая себя нагнать. Поначалу Уинстон собирался проводить ее до подземки, но вдруг понял, сколь бессмысленна и невыносима эта прогулка по холоду. Захотелось поскорее очутиться подальше от Джулии, желательно в теплом кафе «Каштан», что сейчас манило как никогда. Он затосковал по своему столику в углу, по газете и шахматам, по нескончаемому джину. Самое главное, там тепло. И он дал группе прохожих обойти себя, потом для очистки совести попытался нагнать Джулию, наконец замедлил шаг и двинулся в противоположную сторону. Пройдя метров пятьдесят, оглянулся. Хотя на улице было не особо людно, среди дюжины спешащих прохожих разглядеть Джулию уже не сумел или просто не узнал сзади ее раздавшееся, ожесточившееся тело.

«В тот момент, когда пытают, — сказала она, — ты и впрямь про то». И он тогда говорил про то. Уинстон не просто выговорил слова, он хотел того. Хотел, чтобы ее, а не его подсадили к этим…

Что-то сменилось в сочившейся с телеэкрана музыке. В ней проскочили надсадные, глумливые нотки, зазвучала бульварщина. А потом… наверное, и не было этого, лишь злую шутку сыграла память, уцепившаяся за знакомый мотив… голос пропел:

Под раскидистым каштаном
Сдал я тебя, а ты меня.

Слезы навернулись на глаза. Проходивший мимо официант заметил, что стакан Уинстона пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Уинстон поднял стакан и поморщился. С каждым глотком эта дрянь казалась только хуже, но она стала его стихией. В ней была его жизнь, его смерть, его воскрешение. Джин помогал погрузиться в беспамятство каждый вечер, и джин возвращал его к жизни каждое утро. Когда Уинстон просыпался в одиннадцать ноль-ноль со слипшимися веками, пересохшим от нестерпимой жажды ртом и скованной болью спиной, то без глотка джина вряд ли смог бы принять вертикальное положение. В течение дня он заливал глаза у телеэкрана в компании с бутылкой, с пятнадцати часов и до закрытия просиживал в кафе «Каштан». Никому до него не было дела,

свисток не будил, телеэкран замечаний не делал. Иногда, пару раз в неделю, он ходил в пыльный, заброшенный кабинет в министерстве правды и немного работал или же просто делал вид, что работает. Его назначили в подкомитет подкомитета, который отделился от одного из бесчисленных комитетов для устранения мелких неурядиц, возникших при составлении одиннадцатого издания «Словника новослова». Они занимались подготовкой так называемого промежуточного отчета, но в чем собирались отчитываться, так и осталось для Уинстона загадкой. Вроде что-то, связанное с расстановкой запятых: ставить их внутри кавычек или снаружи. В комитете состояли еще четверо, все вроде Уинстона. Иногда они собирались и снова расходились, откровенно признав, что заниматься им нечем. Случалось, рьяно хватались за работу, устраивали грандиозное представление: заводили протоколы заседаний, составляли черновики длиннющих меморандумов, так никогда и не завершенные, спорили до хрипоты, влезая в непроходимые дебри, цеплялись к определениям, вдавались в пространные описания и делали невразумительные отступления, ссорились, даже сыпали угрозами обратиться к вышестоящему началь-

ству. Потом вдруг искра жизни их покидала, они сидели вокруг стола, обмениваясь пустыми взглядами, словно призраки, что исчезают при первом петушином крике.

Телеэкран умолк. Уинстон снова поднял голову. Сводка с фронта? Нет, просто сменили музыку. Перед глазами выплыла карта Африки. Движение армий указывали стрелки: жирная черная рвалась вертикально на юг, маленькая белая — горизонтально на восток, пересекая хвост первой. Словно надеясь на поддержку, он посмотрел на невозмутимое лицо на портрете. Возможно ли, что второй стрелы вообще не существует?

Интерес Уинстона снова угас. Он отпил еще джина, взял белого коня и сделал пробный ход. Шах. Но ход был явно неправильный, потому что…

В памяти всплыло незваное воспоминание. Он увидел освещенную огарком комнату с большой кроватью под белым покрывалом и себя, мальчика лет девяти-десяти: сидит на полу, трясет стаканчик с игральными костями и задорно хохочет. Мать устроилась напротив и тоже смеется.

Это было примерно за месяц до ее исчезновения, в редкий момент примирения, когда ноющий голод позабылся, а любовь к матери на

время вернулась. Уинстон хорошо запомнил тот дождливый и промозглый день: по оконным стеклам струилась вода, и тусклого света в комнате не хватало, чтобы читать. Детям ужасно наскучило сидеть в темной, тесной спальне. Уинстон канючил и капризничал, тщетно требовал еды, сердито метался, пиная стены и сваливая все, что попадется на пути, пока соседи не застучали в стену, а малышка непрерывно ревела. В конце концов мать сказала: «Будь хорошим мальчиком, и я куплю тебе чудную игрушку!» Она сбегала по дождю в магазинчик неподалеку и вернулась с картонной коробкой, настольной игрой «Змеи и лестницы». Уинстон до сих пор помнил запах мокрого картона. Игра его не впечатлила: доска в трещинах, деревянные кубики вырезаны плохо, катаются кое-как. Уинстон насупился, глядя на новую игрушку без интереса. Потом мать зажгла огарок, они уселись на пол, и вскоре он ужасно увлекся игрой и заливался смехом, когда фишки с надеждой карабкались по лесенкам и снова скатывались по змеям почти в самое начало. Они сыграли восемь конов, и каждый победил по четыре раза. Маленькая сестренка не понимала сути игры и просто сидела в изголовье кровати, радостно хохоча вместе со всеми. До самого ве-

чера они были счастливы вместе, как в раннем детстве Уинстона.

Усилием воли он выбросил воспоминание из головы. Очередная ложь памяти. Она тревожила его иногда. Главное — суметь ложь вовремя распознать. Он снова посмотрел на шахматную доску, взял коня и тут же уронил с громким стуком. Уинстона словно булавкой ткнули.

Пронзительно зазвучали фанфары. Сводка с фронта! Победа! Фанфары перед новостями всегда означают победу. По кафе будто пробежал электрический заряд. Даже официанты вздрогнули и навострили уши.

Поднялся невероятный шум. Возбужденный голос с телеэкрана уже почти утонул в радостном реве с улицы. Новость обежала город как по волшебству. Уинстон расслышал достаточно и понял, что все случилось так, как он и предполагал: огромная морская армада тайком подобралась к противнику и нанесла удар с фланга, белая стрелка перерезала хвост черной. Сквозь шум пробивались обрывки восторженных фраз: «Масштабный стратегический маневр… превосходная согласованность действий… стремительное отступление… полмиллиона пленных… полностью деморализован… контроль над всей Африкой…

показался конец войны… победа… величайшая победа в истории человечества… победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона под столом судорожно дергались. С места он не вскочил, но мысленно бежал, стремительно несся по улицам вместе с толпой, оглушительно вопя. Он снова посмотрел на портрет Большого Брата. Колосс, оседлавший мир! Скала, о которую разбились азиатские орды! Всего десять минут назад сердце Уинстона язвила скверна, и он гадал, какими будут новости с фронта: победа или поражение. Сгинула не только вражеская армия! Многое переменилось в нем с того первого дня в министерстве любви, но окончательная, необратимая, целительная перемена так и не происходила до этого самого момента.

Голос с телеэкрана все еще плел сказ про пленных, про трофеи, про кровавую резню, но крики с улицы немного поутихли. Официанты вернулись к работе. Один из них подошел к столику с бутылкой джина. Уинстон, погруженный в блаженные мечтания, не обратил внимания, когда наполнили его стакан. Ему было уже не до беганья и не до восторженных криков. Он вновь пребывал в министерстве любви, полностью прощенный, с душою чистою, как снег. Сидел на скамье под-

судимых, во всем признавался, обличал всех и вся. Шагал под конвоем по выложенному белым кафелем коридору, чувствуя на себе лучи солнца, и долгожданная пуля входила в его мозг.

Он поднял взгляд на огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы разглядеть под темными усами отеческую улыбку. О, жестокое, ненужное недоразумение! О, упрямый, своевольный побег от любящей груди! Две налитые джином слезинки скатились по крыльям носа. Только все хорошо, все в порядке, борьба закончена. Он одержал победу над самим собой. Он любил Большого Брата.

Приложение
Основные принципы Новослова

Новослов — официальный язык Океании, разработанный для удовлетворения идеологических потребностей англоса, или английского социализма. В 1984 году еще никто ни устно, ни письменно не использовал *новослов* в качестве единственного средства общения. На нем печатались передовицы в «Таймс», но то был высший пилотаж, доступный лишь специалистам. Намечалось, что *новослов* окончательно заменит *старослов* (или, как мы его называем, общепринятый английский) к две тысячи пятидесятому году. Тем временем он неуклонно набирал силу: члены Партии все больше и больше использовали слова и грамматические конструкции *новослова* в повседневной речи. Версия, бывшая в ходу в 1984-м и закрепленная в девятом и десятом изданиях «Словника новослова», считалась пробной и содержала много избыточных слов и устаревших выражений, впоследствии устраненных. В данном приложении речь идет об окончательной, улучшенной версии, закреплен-

ной в одиннадцатом издании «Словника».

Новослов был призван не только выразить в материальной форме идеологию и убеждения адептов ангсоца, но и сделать иной образ мысли невозможным. Предполагалось, что после того как *новослов* будет введен и поголовно всеми принят, а старослов забыт, еретическая мысль (то есть любая мысль, идущая вразрез с принципами ангсоца) станет в буквальном смысле немыслимой, по крайней мере ее нельзя будет облечь в слова. Лексический состав языка сконструирован таким образом, чтобы дать точное и часто весьма поверхностное выражение любому значению, которое член Партии захочет использовать, избегая многозначности и возможности выразить ненужное окольными путями. Частично это удалось благодаря изобретению новых терминов, но в первую очередь помогло уничтожение старой лексики и неправильных значений оставшихся слов, то есть любых второстепенных значений. Вот простой пример. Слово *«свободный»* все еще существовало, но могло употребляться лишь в утверждениях вроде: «Эта собака свободна от блох» или «Это поле свободно от сорняков». Его нельзя было использовать в старом значении: свободный в идейном или политическом отно-

шении, поскольку ни идейной, ни политической свободы больше не существовало, поэтому и надобность выражать эти понятия отпала. В отличие от уничтожения заведомо еретических слов, сокращение лексического состава языка рассматривалось как самоцель, и ни единому слову, без какого можно обойтись, не суждено было уцелеть. *Новослов* предназначался вовсе не для расширения, а для сужения диапазона человеческой мысли, и этой цели косвенно способствовало сокращение выбора слов до минимума.

Хотя *новослов* и основан на том английском языке, каким мы его знаем сейчас, многие фразы, даже не содержащие искусственно сконструированных слов, вряд ли будут понятны англоговорящему наших дней. Лексика *новослова* делится на три категории, известные как Лексикон А, Лексикон Б (сложные слова) и Лексикон В. Проще рассмотреть их по отдельности, однако грамматические особенности языка можно постичь в разделе А, поскольку они применимы ко всем трем лексическим категориям.

Лексикон А

Лексикон А составляют слова, необходимые для повседневной жизни, связанные с простейшими

действиями, такими как есть, пить, работать, одеваться, перемещаться в пространстве, заниматься садоводством, готовить пищу и тому подобными. В него входят слова, которые в ходу у нас с вами*(«бить», «бег», «пес», «дом», «лес»*), но в сравнении с нынешним английским их чрезвычайно мало, а их значения гораздо более однозначны. Любая неточность и лишние смысловые оттенки устранены. По большей части слова этой категории — просто отрывистый звук, выражающий *одно* понятие. Использовать Лексикон А в литературных, политических или философских беседах совершенно невозможно. Он предназначен для выражения простых, конкретных мыслей, обычно относящихся к реальным объектам или физическим действиям.

Грамматика*новослова* имеет две примечательные особенности. Во-первых, почти полная взаимозаменяемость разных частей речи. Любое слово (в принципе, даже абстрактные слова вроде *«если»* или *«когда»*) можно использовать как глагол, существительное, прилагательное или наречие. Если слова одного корня, то не важно, какой части речи они принадлежат: выглядят и произносятся они одинаково. Это позволило уничтожить многие архаичные формы. К примеру,

слова *«думать»* в новом языке не существует. Его заменил корень *«мысл»*, выполняющий функцию и существительного, и глагола. Этимологический принцип здесь неприменим: в одних случаях сохраняли существительное, в других — глагол. Даже если существительное и глагол сходного значения не связаны этимологически, одно из двух слов обычно устраняли. К примеру, слова *«резать»* в *новослове* нет, его значение принял на себя глагол-существительное *«нож»*. Прилагательные образуются добавлением одного — и только одного — типичного для прилагательных окончания, для наречий — добавлением суффикса. Таким образом, *«скоростной»* означает *«быстрый»*, *«скоростно»* — *«быстро»*. Некоторые из наших нынешних прилагательных, такие как *«хороший»*, *«сильный»*, *«большой»*, *«черный»*, *«мягкий»*, сохранились, но их очень мало. Нужда в них практически отпала, ведь почти любое прилагательное можно получить, добавив окончание к существительному. Современные нам наречия не уцелели, за исключением тех, что уже оканчиваются на подобающий суффикс. К примеру, слово *«здóрово»* заменено на *«хорошо»*.

Кроме того, любому слову этой категории (и это опять-таки применимо к любому слову в

языке) можно придать отрицательное значение, добавив приставку *«не-»*, или усилить, добавив приставку *«плюс-»* или *«дваждыплюс-»*. К примеру, *«нехолодный»* означает *«теплый»*, а *«плюсхолодный»* и *«дваждыплюсхолодный»*, соответственно, *«очень холодный»* и *«чрезвычайно холодный»*. Как и в нынешнем английском, в *новослове* можно видоизменять значение практически любого слова, добавив приставку *«анти-»*, *«после-»*, *«вверх-»*, *«вниз-»* и так далее. С помощью таких методов удалось существенно сократить словарный запас языка. К примеру, если есть слово *«добрый»*, то нет нужды в слове *«злой»*, поскольку с его функцией вполне — да что там, гораздо лучше! — справляется слово *«недобрый»*. Требовалось лишь выбрать из двух слов одно, а второе списать в утиль. К примеру, *«темный»* можно заменить на *«несветлый»* или, наоборот, *«светлый»* на *«нетемный»*, в зависимости от предпочтений создателей лексиконов.

Второй отличительный признак грамматики-*новослова* — ее единообразие. По раз и навсегда установленным правилам (кроме редких исключений, о которых мы поговорим чуть позже) все части речи изменяются по временам, по числам и тому подобному. Неправильные глаголы *ста-*

рослова со всеми их формами упразднили, и все глаголы образуют прошедшее время добавлением одного суффикса к инфинитиву. Множественное число существительных привели в порядок, исключения убрали и оставили одно окончание. Например слова *«человек», «ребенок»* во множественном числе стали *«человеки», «ребенки»*. Степени сравнения прилагательных образуются только добавлением слов *«более»* и *«самый»* (*хороший — более хороший — самый хороший),* неправильные формы с добавлением окончаний упразднили.

Единственная группа слов, где допускаются исключения, — это местоимения (личные, указательные, относительные) и вспомогательные глаголы. Они сохранили свои архаические формы, кроме, пожалуй, модальных глаголов (их разнообразие сократили до одного*«должен»*) и относительных местоимений, которые свелись к использованию *«кто»* и *«что»*. Также остались отклонения в словообразовании, вызванные необходимостью говорить бегло и не напрягаясь. Слово, которое трудно произнести или можно расслышать неправильно, автоматически считалось плохим, и поэтому часто ради благозвучия в него подставлялись лишние буквы или же со-

храняли архаическую форму. В основном такая нужда возникала в связи с Лексиконом Б. Мы объясним чуть позже, *почему* так важна легкость произношения.

Лексикон Б

Лексикон Б составляют слова, созданные специально для политических целей, то есть слова, которые не только имеют политический подтекст, но и навязывают правильное мировоззрение. Их сложно использовать без полного понимания принципов ангсоца. В отдельных случаях их можно перевести на *старослов* или даже выразить словами из Лексикона А, хотя это и потребует долгого пересказа и приведет к утрате некоторых оттенков значения. Слова категории Б — своего рода устная скоропись, позволяющая заключить целый ряд идей всего в несколько слогов, и в то же время более точная и эффективная, чем обычный язык.

Все слова этой группы сложносоставные. (Разумеется, сложные слова вроде *«речеписец»* входят и в группу А, но это просто удобные сокращения без идеологической окраски.) Они состоят из двух и более слов или фрагментов слов, соединенных в складной и благозвучной форме. В итоге всегда

получается существительное-глагол, который изменяется строго по правилам. Возьмем такой пример: слово *«добромысл»* в значении *«правильные взгляды»* или, если это глагол, *«мыслить правильным образом»*. Изменяется оно следующим образом: причастие — *«добромыслящий»*, прилагательное — *«добромыслый»*, наречие — *«добромысленно»*, отглагольное существительное — *«добромыслец»*.

В словах категории Б этимологический принцип не прослеживается. Они могут быть образованы от любых частей речи, компоноваться в любом порядке и искажаться любыми способами, лишь бы сохранялось удобство произношения и угадывался смысл. К примеру, в слове*«помыслокриминал»* корень *«мысл»* стоит на втором месте, а в *«помыслопол»* слово *«полиция»* теряет последние слоги. Сохранить благозвучие — чрезвычайно сложная задача, поэтому в Лексиконе Б отклонения от стандартных правил встречаются чаще, чем в Лексиконе А. К примеру, прилагательные от *миниправ, минимир* и *минилюб* — *миниправный, минимирный, минилюбный* — образуются с добавлением суффикса перед окончанием, иначе они звучали бы слишком нелепо. В принципе, все слова категории Б скло-

няются и спрягаются совершенно одинаково.

Некоторые слова Лексикона Б имеют смысловые оттенки едва ли доступные тому, кто овладел*новословом* не в полной мере. Рассмотрим, к примеру, типичную фразу из передовой в «Таймс»: *«Старомыслы небрюхочуют англсоц»*. Краткий перевод на *старослов* мог бы звучать так: «Те, чьи взгляды сформировались до Революции, не способны принять всем сердцем принципы английского социализма». Но этот перевод вовсе не является адекватным. Начнем с того, что для стопроцентного понимания приведенной выше фразы человек должен четко осознавать, что такое англсоц. Вдобавок лишь человек, у кого англсоц вошел в плоть и в кровь, способен оценить во всей красе слово *«брюхочуять»*, означающее слепое, восторженное принятие, какое нам, сегодняшним, и вообразить трудно, или слово *«старомысл»*, неразрывно связанное с понятиями порочности и упадка. Вместе с тем у некоторых элементов *новослова* была вполне определенная функция: не столько выражать, сколько уничтожать значения. Таких слов немного, и значения их так широки, что включают в себя целые ряды слов старого языка, благодаря чему один термин позволяет заменить

и предать забвению огромные пласты лексики. Величайшая трудность, с какой столкнулись составители «Словника новослова», состояла не в изобретении новых слов, а в том, чтобы понять, какие именно диапазоны нежелательных слов они уничтожают.

Как мы уже убедились на примере слова *«свободный»*, те слова, которые прежде имели тлетворное значение, иногда сохранялись удобства ради, но при этом лишались всех нежелательных смысловых оттенков. Бесчисленные другие слова, такие как *«честь»*, *«справедливость»*, *«мораль»*, *«интернационализм»*, *«демократия»*, *«наука»* и *«религия»*, просто перестали существовать. Их место заняли слова-заменители и тем самым их уничтожили. К примеру, все слова, связанные с понятиями свободы и равенства, вошли в одно-единственное слово *«помыслокриминал»*, а слова, связанные с понятиями объективности и рационализма, — в слово *«старомысл»*. Будь они более точными, могли бы представлять опасность. По своей системе взглядов член Партии близок к древнему иудею, который твердо знал, что все иные народы поклоняются ложным богам, а в подробности не вникал. Ему не следовало знать, что этих богов зовут Ваал, Осирис, Молох,

Астарта и так далее: чем меньше он знал, тем лучше для его истинной веры. Он знал Иегову и его заповеди; соответственно, все боги с другими именами и другими заповедями — ложные боги. Примерно таким же образом член Партии знал, что входит в понятие правильного поведения, и довольно расплывчато, без всякой конкретики представлял себе, какие отклонения от него возможны. К примеру, интимная жизнь регулировалась двумя словами *новослова: секскриминал* (половая распущенность) и *добросекс* (воздержание). *Секскриминал* обозначал любые неприемлемые действия сексуального характера вроде внебрачной связи, супружеской измены, гомосексуализма и прочих отклонений, к этому примыкало и обычное соитие, совершаемое ради удовольствия. Именовать их по отдельности смысла не было, поскольку все причислялись к преступлениям равной тяжести и карались смертью. В Лексиконе В, состоявшем из научных и технических терминов, могла возникнуть необходимость в конкретизации половых девиаций, но рядовому гражданину знать о них не полагалось. Он знал, что такое *добросекс* (то есть обычное соитие между мужем и женой исключительно ради продолжения рода и без фи-

зического удовольствия со стороны женщины), а остальное — *секскриминал*. В *новослове* пагубная мысль просто не могла получить дальнейшего развития, поскольку слов для ее воплощения не существовало.

Ни одно слово в Лексиконе Б не является идеологически нейтральным, многие представляют собой эвфемизмы. К примеру,*«радлаг»* (исправительно-трудовой лагерь) или *«минимир»* (министерство мира, то есть военное ведомство) означают прямо противоположное тому, что означали составные слова. С другой стороны, некоторая лексика выражает откровенное и презрительное понимание истинной природы общества Океании. В качестве примера можно привести слово *«пролкорм»*, означающее низкопробные развлечения и лживые новости, которыми Партия пичкала массы. Иные слова опять-таки имеют двоякий смысл: если они применяются по отношению к Партии, то означают *«хороший»*, если к ее врагам — *«плохой»*. Кроме того, огромному количеству на первый взгляд обычных аббревиатур сообщает идеологическую окраску не значение, а структура.

Создатели «Словника» проявили незаурядную изобретательность, и в Лексикон Б вошло все,

что имеет или может иметь политическую значимость. Названия всех организаций, обществ, групп, доктрин, стран, институтов, административных зданий кроились по одной мерке: слово с минимальным количеством слогов, которые сохраняли исходное значение. Взять, к примеру, министерство правды: департамент документации, где работал Уинстон, назывался *докдеп*, департамент беллетристики — *белдеп*, департамент телепрограмм — *теледеп* и так далее. И это сделано не только для экономии времени. Еще в первой четверти двадцатого века сокращенные слова и фразы стали типичной чертой политизированности языка, причем подобная тенденция проявлялась особенно ярко в тоталитарных странах и организациях. Примерами могут служить такие слова, как *«нацп»*, *«гестапо»*, *«коминтерн»*, *«инпрекор»*, *«агитпроп»*. Поначалу подобная практика применялась, так сказать, по наитию, однако в *новослове* она используется с вполне определенной целью. При сокращении какого-нибудь названия сужалось значение и слегка видоизменялось написание слова, и оно теряло бóльшую часть связанных с ним ассоциаций. К примеру, выражение *«коммунистический интернационал»* навевает сложную картину

вселенского братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской коммуны. Слово же *«коминтерн»*, напротив, означает сплоченную организацию и вполне определенную доктрину. Оно относится к объекту почти столь же легко узнаваемому и ограниченному в назначении, как стул или стол. Слово *«коминтерн»* можно произнести, особо не задумываясь, в отличие от словосочетания *«коммунистический интернационал»*, которое прямо-таки обязывает задуматься хотя бы на миг. Сходным образом слово вроде *«миниправ»* вызывает гораздо меньше ассоциаций, чем *«министерство правды»*, и их легче контролировать. Этим объясняется не только любовь к сокращениям, но и чрезмерное стремление к легкости и простоте произношения.

В *новослове* помимо точности в передаче смысла все соображения, в том числе и регламентации грамматики, перевешивала забота о благозвучии. И это понятно, ведь для политических целей требовались короткие слова с прямыми значениями, которые можно проговаривать быстро и без лишних размышлений. От своей схожести слова Лексикона Б только выигрывали. Почти всегда эти слова — *добромысл, минимир, пролкорм, секскриминал, радлаг, ангсоц, помыслопол* — со-

стояли из двух или трех слогов с ударением на первый и последний. В результате говоривший на *новослове* тараторил, речь звучала отрывисто и в то же время монотонно. Собственно, так и было задумано. Любая речь, и тем более на тему, не являющуюся идеологически нейтральной, становилась максимально независимой от сознания. Несомненно, в повседневной жизни необходимо (по крайней мере иногда) думать, что говоришь, однако член Партии должен уметь высказывать правильные политические или этические суждения автоматически, как пулемет выплевывает пули. Этому способствовало и надлежащее обучение, и особым образом сконструированный язык, и структура слов в сочетании с резким звучанием и нарочитой уродливостью в духе ангсоца.

Кроме того, особо выбирать было не из чего: по сравнению с английским наших дней лексикон *новослова* чрезвычайно скуден и создатели языка продолжали трудиться над его сокращением. От большинства других языков *новослов* отличался тем, что с каждым годом его лексикон уменьшался, а не увеличивался. Каждое сокращение воспринималось как достижение, поскольку чем меньше выбор, тем меньше соблазн. Партия надеялась, что в конце концов членораздельная

речь будет исходить прямо из глотки, минуя мозг. И эта цель открыто признается в таком термине, как *«крякоречь»*, означающем *«крякать словно утка»*. Подобно многим другим словам в Лексиконе Б, *«крякоречь»* имеет два значения. Если «выкрякиваемые» суждения находятся в русле идеологии Партии, то они означают самую высокую похвалу: «Таймс», оценивая выступление оратора Партии как *«дваждыплюсдобрая крякоречь»*, делает ему большой и горячий комплимент.

Лексикон В

Лексикон В дополняет два других и целиком составлен из научных и технических терминов. Они похожи на те, что мы используем сегодня, образованы от тех же корней, но при этом предусмотрительно лишены любых нежелательных оттенков значения. Грамматические правила для них те же, что и для слов двух первых категорий. Лишь немногие из таких слов использовались в быту или в политической речи. Ученый или технический специалист мог найти все необходимые термины из своей области в особом списке, куда редко входили слова других специальностей. Общенаучная и общетехническая лексика

практически исчезли, и выразить функции науки как способа познания мира или метода мышления представлялось невозможным. В*новослове* даже термин *«наука»* отсутствовал: для выражения любых его значений вполне хватало слова ангсоц.

Как видно из вышеизложенного,*новослов* практически не позволял выразить крамольное суждение, разве что на очень примитивном уровне. К примеру, можно было сказать: *«Большой Брат недобрый»* — но это нелепое для любого партийца утверждение не получалось подкрепить вескими доводами, поскольку нужные слова в языке попросту отсутствовали. Враждебные ангсоцу идеи могли быть представлены в расплывчатой невербальной форме и в терминах весьма общих, их сваливали в одну кучу и ими скопом клеймили все ереси, не давая им отдельных определений. По сути, выражать на *новослове* крамолу получилось бы только при помощи кривого перевода обратно на *старослов*. К примеру, *«Все человеки равны»* — вполне типичная для *новослова* фраза, но смысл ее лишь в том, в каком на *старослове* можно сказать: *«Все люди рыжие»*. Утверждение правильно с грамматической точки зрения, но при этом явная ложь,

означающая, что все люди одинаковы по росту, весу или силе. Идею политического равенства упразднили, и второе значение слова *«равны»* позабылось. В 1984 году, когда *старослов* все еще оставался общепринятым средством общения, теоретически существовала опасность, что кто-то вспомнит прежние значения слов нового языка. Практически же выходило, что поднаторевшие в двоемыслии партийцы легко избегали такой опасности, а через пару поколений она вообще сошла бы на нет. Человек, выросший на *новослове*, даже не знал бы, что *«равный»* когда-то имело и вторичное значение: *«политически равный»*, а *«свободный»* могло означать *«интеллектуально свободный»*, как не знает других значений слов *«конь»* и *«слон»* тот, кто и слыхом не слышал о шахматах. Такой человек не способен совершить многие виды преступлений и правонарушений, ведь у них нет названия, и, следовательно, вообразить их тоже нельзя. Предполагалось, что со временем отличительные черты *новослова* станут еще отчетливее: слов все меньше, каждое из них все однозначнее, и вероятность ненадлежащего употребления постепенно сойдет на нет.

Когда*старослов* упразднят окончательно, оборвется последняя связь с прошлым. Историю уже

переписали, но кое-где уцелели фрагменты литературы прежних эпох, подвергшиеся цензуре не полностью, и те, кто сохранял знания *старослова*, могли бы их прочесть. В будущем подобные фрагменты, если им доведется уцелеть, станут нечитаемы. Перевод со *старослова* на *новослов* невозможен, если только речь не идет о техническом процессе, простом повседневном действии или же текст уже создан в русле официальной идеологической доктрины (*«добромыслый»*, на новослове). На практике это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не подлежала переводу целиком. Для дореволюционной литературы допускался только идеологический перевод, то есть с заменой и смысла, и языка. К примеру, возьмем всем известный отрывок из «Декларации независимости»:

«Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, — что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уни-

чтожить его и учредить новое правительство…»

Перевести это на *новослов* с сохранением смысла оригинала совершенно невозможно. Что до духа оригинала, то лучше всего его выразить, вместив весь отрывок в одно-единственное слово «*помыслокриминал*». Если понадобится идеологический перевод, то слова Джефферсона превратятся в панегирик абсолютной и неделимой власти.

На самом деле подобным образом преобразовывали многие литературные произведения. Руководствовались при этом соображениями престижа: память о некоторых исторических деятелях нужно было сохранить и в то же время привести их достижения в соответствие с философией ангсоца. Различные поэты и писатели, такие как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и ряд других, находились в процессе перевода; по завершении работы их оригинальные произведения и прочие остатки литературы прошлых эпох подлежали уничтожению. То был долгий и кропотливый труд, окончания которого Партия ожидала не ранее первого или даже второго десятилетия XXI века. Кроме того, в аналогичном переводе нуждалась и утилитарная литература: техническая документация, инструкции, ру-

ководства по эксплуатации. Главным образом из-за времени, потребного на предварительные работы по переводу, окончательное введение *ново-вослова* было решено отнести на более поздний срок — 2050 год.

Скотный двор

Глава первая

Мистер Джонс, владелец фермы «Райский уголок», несмотря на сильное подпитие, перед сном по-хозяйски запер курятник, оставив при этом открытыми слуховые окна. Вооруженный пляшущим в руке фонариком, он пересек двор на ватных ногах, скинул сапоги на заднем крыльце, заглянул в буфетную, чтобы в последний раз отметиться у бочонка с пивом, и взял курс на спальню, ориентируясь на храп миссис Джонс.

Едва успел погаснуть в спальне свет, как во всех хозяйственных постройках разом все зашевелилось, захлопало крыльями. Еще днем распространился слух, что старый Майор, упитанный белый кабан-медалист, видел прошлой ночью странный сон и хотел бы рассказать о нем всем животным.

Было решено собраться в большом сарае, как только мистер Джонс пойдет спать.

Старый Майор (это имя закрепилось за ним давно, хотя на выставках он был больше известен как Красавчик) пользовался на ферме особым почетом, и ради того, чтобы лишний раз его послушать, не жаль было пожертвовать часом сна.

В дальнем конце сарая возвышался дощатый помост; там, на соломенной подстилке, под фонарем, подвешенным за балку, возлежал Майор. В свои двенадцать лет, при том что его несколько разнесло, он был по-прежнему хорош, воплощение мудрости и кротости, невзирая на торчащие клыки. Один за другим входили животные и устраивались поудобнее, каждое на свой манер.

Первыми появились собаки, Бесси, Джесси и Пинчер, за ними свиньи, которые сразу облюбовали мягкую солому перед самым помостом. Куры расселись на подоконниках, голуби вспорхнули на стропила, овцы и коровы улеглись позади свиней и принялись за жвачку. Работяга и Хрумка, две ломовые лошади, войдя в сарай, соразмеряли каждый шаг, чтобы, не дай бог, не раздавить какую-нибудь кроху своими мощными мохнатыми копытами. Хрумка, выносливая кобыла в расцвете лет, ожеребившись в четвертый раз, утратила прежнюю стройность форм. Работяга, здоровенный, под два метра битюг, стоил двух жеребцов. Белая полоса на морде придавала ей этакое простецкое выражение, да в общем-то он звезд с неба и не хватал, зато снискал всеобщее уважение за твердый характер и исключительную работоспособность. За лошадьми пожаловали Мюриэл,

белоснежная козочка, и Бенджамин, осел. Среди всех животных на ферме Бенджамин был самый старший и самый злонравный. Говорил он крайне редко и если уж открывал рот, то непременно следовал циничный выпад — к примеру:

«Бог наградил меня хвостом, чтобы я мог отгонять мух, а по мне, так лучше ни мух, ни хвоста». Он единственный никогда не смеялся. На вопрос «почему?» он отвечал, что не видит вокруг себя ничего смешного. Он был по-своему предан Работяге, хотя нипочем не признал бы этого вслух. Воскресенья они обычно проводили вместе на выгуле, за фруктовым садом, где они могли, бок о бок пощипывая травку, не обмолвиться за весь день ни единым словечком.

Не успели лошади как следует улечься, как появился целый выводок утят.

Они отбились от мамы и теперь слабо попискивали и тыкались туда-сюда в поисках безопасного местечка. Хрумка огородила для них пятачок своей мощной передней ногой, и утята, угнездившись, мгновенно заснули. Как всегда, под занавес в сарай вошла блондинка Молли, глуповатая хорошенькая кобылка, которую мистер Джонс запрягал в двуколку. Похрустывая сахарком, она грациозно, мелкими шажками прошла вперед

и начала у всех на виду поигрывать белой гривой, чтобы каждый мог по достоинству оценить вплетенные в нее красные ленты. В последний момент на пороге показалась кошка. По обыкновению, она осмотрелась и решила, что самое теплое местечко — между Работягой и Хрумкой; там она и расположилась, и, пока Майор держал речь, она себе мурлыкала в полном упоении, ничего не видя и не слыша.

Итак, все были в сборе, если не считать ручного ворона Моисея, спавшего на своем шестке за сараем. Убедившись, что все удобно устроились и готовы ему внимать, Майор прочистил горло и начал так:

— Товарищи! Как вы слышали, прошлой ночью мне приснился странный сон.

Но прежде чем рассказать о нем, позвольте всего несколько слов. Я знаю, дни мои сочтены, и я не имею права уйти, не передав вам, товарищи, свой опыт. Я прожил долгую жизнь, много размышлял, лежа в своем закуте, и, думаю, пришел к пониманию природы вещей, насколько это дано нам, животным. Вот об этом-то я и хочу поговорить сегодня.

Какова же, товарищи, природа вещей? А такова, что наш век короток, тяжел и беспросветен.

Едва появившись на свет, мы работаем до седьмого пота, а живем впроголодь, в чем только душа держится, и, когда мы становимся ни на что не пригодными, нас предают варварской мучительной смерти. Нет в Англии животного, которое, выйдя из младенчества, знало бы, что такое счастье и заслуженный отдых. Нет в Англии животного, которое было бы свободным. Мы живем в рабстве и нищете — вот голая правда.

Но, может быть, это в природе вещей? Может быть, земля наша так скудна, что не способна прокормить всех своих обитателей? Нет, товарищи, тысячу раз нет! Земля Англии плодородна, климат благоприятный, а пищи хватит нашим внукам и правнукам. Взять даже эту ферму: здесь могли бы жить припеваючи дюжина лошадей, два десятка коров, сотни овец. Невероятно, но факт. Так почему же, спрашивается, мы влачим столь жалкое существование? А потому, что продукт нашего труда присваивается человеком! Вот где, извиняюсь, собака зарыта. Вот он, корень зла — человек. Другого врага у нас нет. Уберите с подмостков Истории человека, и вы навсегда покончите с голодом и рабским трудом.

Только человек потребляет, ничего не производя. Он не несет яйца, не дает молока, ему не по

силам тащить плуг или загнать зайца. И при этом он царь и бог. Он закабалил нас, мы гнем на него спину, перебиваясь с хлеба на воду, а он живет плодами нашего труда. Мы надрываем мускулы при обработке его земли, мы производим ценнейший навоз для его полей, и что же? Кожа да кости — это все, что мы имеем. Вот вы, коровы, сколько тысяч литров молока дали вы за прошлый год? И куда оно пошло, минуя голодных сосунков? Все, до последней капли, вылакали наши эксплуататоры. А вы, куры, сколько вы снесли яиц и много ли вылупилось из них цыплят? Львиная доля пошла на рынок, чтобы еще больше обогатились Джонс и его люди. А где, Хрумка, четверо твоих жеребят, которые могли стать опорой и усладой твоей старости? Их продали с торгов годовалыми, и уже не видать тебе их, как своих ушей. Выносить и в муках родить потомство, полить пóтом каждую пядь земли — а что взамен, кроме стойла и жалкой подачки?

Но даже эта безрадостная жизнь редко достигает своего естественного конца. О себе я не говорю, мне крупно повезло: двенадцать годков, худо-бедно, прожил, и детишками бог не обидел, за четвертую сотню перевалило. Но все так или иначе идут под нож. Вот передо мной

сидят подсвинки, их за год откормят, а потом, отчаянно визжащих, прикончат на колоде одним ударом. Этот ужас грозит всем нам — коровам, свиньям, курам, овцам — всем. Возьмите нашего Работягу. Стоит ему подорвать свое лошадиное здоровье, как в тот же день Джонс продаст его на живодерню, где с него снимут шкуру, а мясо отдадут на псарню. Даже последнюю собаку ждет безвременный конец. Когда у нее обвиснет хвост и зубов поубавится, Джонс привяжет ей на шею камень и утопит в ближайшем пруду.

Короче, товарищи, ясно как божий день: не будет нам житья, пока существует тирания человека. Свергнем тирана — и все принадлежит нам. Одно мощное усилие — и вот они, свобода и сытая жизнь. Сам собой напрашивается вопрос: что делать? Я вам скажу. Трудиться день и ночь, не щадя себя, во имя освобождения от человеческого гнета. Вот мой вам завет, товарищи: восстание!

Когда произойдет это восстание, через неделю или через сто лет, я не знаю, но так же ясно, как вы видите меня на соломенной подстилке, с такой же ясностью я вижу — рано или поздно справедливость восторжествует. Так посвятите этой цели остаток своей короткой жизни! А главное, передайте мой завет потомкам, и пусть

грядущие поколения продолжат нашу борьбу до окончательной победы!

И помните, товарищи: ничто не должно поколебать вашей решимости. Пусть никакие красивые слова не собьют вас с пути. Не верьте человеку, когда он будет говорить, что у него и у животных общие интересы и что чем богаче его стол, тем больше вам с него перепадает. Все ложь. Человек всегда блюдет свой интерес. Ну а мы, животные, должны сомкнуть наши ряды, должны крепить наше единство. Все люди — враги. Все животные — братья…

Его слова заглушил внезапный шум. Пока Майор держал свою речь, из щелей сарая вылезли огромные крысы и присоединились к слушателям. Тут их засекли собаки, и несдобровать бы крысам, не юркни они обратно в щель. Майор поднял копытце, прося тишины.

— Товарищи, — сказал он, — нам надо определиться. Крысы и дикие кролики — кто они, друзья или враги? Ставлю вопрос на голосование. Итак: считает ли собрание, что нам с крысами по пути?

Подавляющим большинством голосов вопрос был решен положительно. Против оказались четверо, три собаки и кошка, которая, как позже

выяснилось, проголосовала за оба предложения. А Майор продолжал:

— Мне осталось сказать немногое. Еще раз повторю: будьте непримиримы в своей ненависти ко всему, что связано с именем человека. Всякое двуногое — враг. Всякое четвероногое или крылатое — друг. Но важно, чтобы в борьбе с человеком мы не уподобились ему. И позже, когда он уже будет низложен, нельзя, чтобы мы погрязли в людских пороках. Ни одно животное не должно жить в доме, спать в постели, носить одежду, не должно употреблять алкоголь и курить табак, заниматься торговлей и вести денежные расчеты. Что бы человек ни делал, все дурно. А самое главное — животные не должны угнетать себе подобных. Среди нас есть слабые и сильные, умные и не очень, но все мы братья. Ни одно животное никогда да не убьет другое. Все животные равны.

А теперь, товарищи, мой сон. Рассказать его трудно. Я увидел, какой будет земля без человека. И вдруг вспомнил совсем забытое. Давным-давно, в пору моего поросячьего детства, моя мать и тетки певали старинную песню — они знали только мелодию и первые три слова. Я помнил эту мелодию, но со временем она как-то забылась. И вот сегодня ночью я услышал ее во сне. Более

того, я услышал слова, которые наверняка были известны нашим далеким предкам и казались уже навсегда утраченными. Сейчас я вам спою эту песню. Конечно, я стар и голос у меня уже не тот, зато, когда ее разучите вы, она зазвучит в полную силу. Песня называется «Скот домашний, скот бесправный».

Старый кабан прочистил горло и запел. Хотя голос у него и вправду был уже не тот, однако пел он довольно прилично, и мелодия сразу западала в сердце, напоминая одновременно «Клементину» и «Кукарачу». Впрочем, ближе к тексту:

Скот домашний, скот бесправный,
Изнуренный маетой,
Верю, ждет нас праздник славный,
Век наступит золотой!

Тот, кто был вчера хозяин,
Будет стерт с лица земли,
И до самых до окраин
Заживем как короли.

Все, что нам веками снилось,
Все получим мы сполна:
Будет сено, будет силос,

Вдоволь жмыха и зерна.

Злую зиму сменит лето,
Сменит бурю полный штиль,
Ну а ветхие заветы
Навсегда сдадим в утиль.

Все, друзья, начнем с начала,
День придет – взмахнем хвостом
И, не мешкая, орала
На мечи перекуем.

Скот домашний, скот бесправный,
Изнуренный маетой,
Верю, ждет нас праздник славный,
Век наступит золотой!

Экстаз был полный. Майор не успел добраться до последнего куплета, как уже грянул хор. Даже самые несообразительные с ходу запомнили мелодию и отдельные слова, а более смышленые, вроде свиней и собак, через несколько минут знали песню наизусть. После двух или трех проб весь личный состав скотного двора дружно горланил: «Скот домашний, скот бесправный…» Мычали коровы, выли собаки, блеяли овцы, ржали лошади,

крякали утки. От избытка чувств песню пропели пять раз подряд и пели бы, наверно, до утра, если бы не грубое вмешательство извне.

От этого «пения» проснулся мистер Джонс и спросонья решил, что на ферму забралась лисица. Он схватил в углу охотничье ружье, всегда стоявшее наготове, и пальнул в темноту крупной дробью. Огонь приняла на себя стена сарая, что послужило сигналом к окончанию собрания. В один момент всех словно ветром сдуло. Четвероногие зарылись в солому, крылатые расселись по шесткам, и на ферме воцарилась полная тишина.

Глава вторая

Спустя три дня душа старого Майора тихо отлетела во сне. Могилу ему выбрали с видом на фруктовый сад.

Это случилось в начале марта. Следующие три месяца прошли в бурной, хотя и тщательно законспирированной деятельности. Если говорить о наиболее сознательных животных, то речь Майора буквально перевернула их представления о жизни. Никто не знал, когда сбудется гениальное предвидение, трудно было рассчитывать на то, что Восстание произойдет при их жизни, но ясно было одно: надо сделать все, чтобы приблизить этот великий день. Вся просветительская и организационная работа легла на плечи свиней, как на самую мыслящую часть животного мира. Среди последних выделялись два кабанчика — Цицерон и Наполеон, которых мистер Джонс выращивал на продажу.

Наполеон был крупный и весьма свирепый на вид кабан беркширской породы, единственный беркшир на ферме; он умел настоять на своем, хотя и не обладал даром красноречия. Цицерон же был нрава веселого, фантазер и говорун, но ему,

по общему мнению, не хватало основательности. Прочие кабанчики откармливались на убой. Самый заметный из них был Деловой, шустрый такой, бокастенький, с лоснящимся рыльцем, необыкновенно живыми глазками-пуговками и пронзительнейшим голоском. Произнося зажигательные речи, в самые драматические моменты он начинал посучивать ножками и быстро-быстро поводить хвостиком, что как-то сразу убеждало. И вот уже черное казалось белым.

Эти трое и разработали идеи покойного Майора, придав им вид стройной системы под названием анимализм. По ночам, когда Джонс заваливался спать, они назначали в сарае тайные сходки, где излагались важнейшие принципы нового учения. Поначалу они столкнулись с дремучим невежеством и апатией.

Одни напирали на чувство долга по отношению к мистеру Джонсу, которого они величали не иначе как «Хозяин». При этом доводы звучали самые что ни на есть примитивные: «Он нас кормит. Без него мы умрем от голода». Другие спрашивали: «Не все ли нам равно, что будет после нашей смерти?» или «Зачем готовиться к Восстанию, если оно когда-нибудь и так произойдет?». Совсем было не просто вбить им в головы,

что подобные взгляды противоречат самому духу анимализма. Особенно все намучились с Молли, хорошенькой, но удивительно глупой кобылкой.

— А после Восстания сахар будет? — первым делом спросила она у Цицерона.

— Нет, — твердо сказал Цицерон. — Без сахара мы спокойно обойдемся. Да и зачем он, сахар, когда тебе засыплют сена и овса полную кормушку?

— А заплетать ленты в гриву можно будет? — не унималась Молли.

— Товарищ, — посуровел Цицерон, — неужели ты не понимаешь, что твои ленты — это все разные цвета рабства! Неужели свобода не стоит всех ленточек мира?

Молли согласилась, но в ее тоне как-то не чувствовалось энтузиазма.

Еще больше сил ушло на идейную борьбу с Моисеем, ручным вороном. Этот шпион и сплетник (кстати, любимчик Джонса) был мастер рассказывать небылицы.

Есть, говорил он, сказочное место — Елинесейские поля, где все животные пасутся после смерти. И находятся они будто бы на небе, только из-за облаков не видно. На Елинесейских полях, говорил Моисей, всегда вволю ели, хотя никогда

не сеяли, и, мол-де, клевер там цветет круглый год, а кусковой сахар и льняные жмыхи растут на каждом заборе.

Большинство животных, конечно, презирало Моисея за его праздность и дурацкие выдумки, но кое-кто верил в существование Елинесейских полей, и, лишь утроив свои усилия, сумели кабанчики поколебать эту веру.

Кто сразу пошел за ними, так это ломовые лошади, Хрумка и Работяга. Эти двое были не способны дойти до чего-либо своим умом, но после того, как им все разжевали, они стали самыми надежными проводниками свинских идей; они внедряли их в сознание масс с помощью простейших формулировок. Они не пропускали ни одной тайной сходки, и в общем хоре, исполнявшем «Скот домашний, скот бесправный» после каждого собрания, их голоса звучали сильнее прочих.

Как показали дальнейшие события, путь к Восстанию оказался более коротким и легким, чем ожидалось. Мистер Джонс, всегда управлявший хозяйством жесткой, но уверенной рукой, в последнее время совсем запустил дела. После того как он проиграл тяжбу, влетевшую ему в копеечку, он пал духом и стал все чаще ударять по пиву. Часами просиживал он на кухне в своем вин-

дзорском кресле, читая газеты и отхлебывая из кружки; иногда он размачивал в пиве корки хлеба и угощал Моисея. Его работники обленились и заплутовались, поля заросли бурьяном, кровли многих построек прохудились, живые изгороди потеряли всякий вид, скотина поголадывала.

На дворе уже стоял июнь, подошла пора заготовлять сено. Накануне Иванова дня, в субботу, Джонс отправился в Уиллингдон и так назюзюкался в кабачке «Рыжий лев», что обратно прибыл только к полудню следующего дня. Его работнички с утра пораньше подоили коров, а остаток дня посвятили охоте на диких кроликов, так что скотина осталась некормленой. Вернувшись, Джонс прилег на диванчике в гостиной с намерением почитать «Новости дня» и, прикрыв лицо газеткой, моментально отключился, даже не вспомнив о несчастной животине. В конце концов голод взял свое. Какая-то буренка рогами вышибла хлипкую дверцу, и все узники, томившиеся в своих загонах, стали рваться на волю. Тут-то Джонс и продрал глаза. Он и четверо его работников ворвались в хлев, раздавая удары кнутом направо и налево. Голодные животные уже просто озверели. Вся эта неуправляемая стихия обрушилась на тиранов. В ход пошли рога и

копыта. Люди были застигнуты врасплох. Этот решительный отпор со стороны тех, кто всегда помалкивал, кто безропотно сносил побои и унижения, нагнал на них даже не страх — ужас. Они позорно оставили поле боя и быстрым аллюром понеслись по гужевой дороге, что выводила на большак. А за ними победоносно катил ревущий вал.

Из окна спальни выглянула миссис Джонс, мгновенно оценила обстановку и, побросав в саквояж кой-какое добро, улизнула с черного хода. Моисей снялся со своего шестка и с заполошным криком маханул за хозяйкой. А Джонс и его люди уже пылили по большаку. С лязгом захлопнулись железные ворота. Это означало, что восставшие — подумать только! — одержали верх: Джонс изгнан, ферма принадлежит им.

Животные не сразу поверили в такую неслыханную удачу. Всем стадом они обежали свои владения, точно желая удостовериться, что на ферме не пахнет человечьим духом. Потом они устремились к хозяйственным постройкам, чтобы уничтожить все следы ненавистного правления. В дальнем конце конюшни они взломали дверь, за которой были сложены удила и другая упряжь, железные кольца, что продеваются в

ноздри, и чудовищные ножи, которыми Джонс кастрировал свиней и овец. Все полетело в колодец. Во дворе был разложен костер, и вместе с кучей мусора в нем исчезли вожжи и недоуздки, наглазники и позорные торбы для овса. И, разумеется, кнуты. Когда их охватило пламя, животные на радостях устроили настоящую парнокопытную чечетку. Цицерон также бросил в костер разноцветные ленты, какие обычно вплетают в лошадиные гривы и хвосты по случаю ярмарки.

— Ленты, — сказал он, — это та же одежда, а она*одеждествляется* с человеком. Животные должны ходить голыми.

Услышав это, Работяга принес соломенную шляпу, которую он натягивал на уши как средство от мух, и тоже предал ее огню.

В два счета животные уничтожили все, что напоминало им о мистере Джонсе. После этого Наполеон привел их в амбар и выдал каждому по двойной мере овса, а собакам — по две лепешки. Затем они спели «Скот домашний, скот бесправный» семь раз кряду и только тогда угомонились. Никогда еще их сон не был таким счастливым. Проснулись они, как всегда, с рассветом и, осознав всю грандиозность случившегося, гурьбой повалили на свежий воздух. Сразу за пастбищем

возвышался холм, с которого открывался вид на ферму. С вершины этого холма животные окинули взглядом окрестности, лежавшие как на ладони в лучах утреннего солнца. Все это принадлежало им, им одним! Они носились кругами в каком-то безумии, выкидывали немыслимые коленца. Они катались по росе, набивая рот сладкой сочной травой, выбивали копытами комья чернозема, упиваясь дурманящим запахом. Потом был сделан инспекционный осмотр сенокоса, фруктового сада, пруда, рощицы, пашни. Осмотр проходил в благоговейной тишине — животные словно впервые все это видели и никак не могли поверить, что это их собственность.

И вот они остановились в молчании перед господским домом. Он теперь тоже принадлежал им, но животный страх мешал им переступить порог. Наконец Цицерон с Наполеоном толкнули плечом дверь, и живая цепочка боязливо потянулась в дом. Осторожно, на цыпочках, чтобы, чего доброго, не попортить обстановку, все переходили из комнаты в комнату, тихо ахая при виде такого роскошества: кровати с пуховыми перинами, зеркала, кушетка с торчащим из прорех конским волосом, ворсистый ковер, литография (с изображением королевы Виктории) над камином. Когда

визит подошел к концу и все уже спускались по лестнице, вдруг кто-то хватился Молли. Ее нашли в женской спальне. С блаженно-глуповатым выражением на морде она примеряла перед зеркалом голубую ленту, найденную в туалетном столике миссис Джонс. Высказав Молли все, что они о ней думают, животные покинули апартаменты. Из кухни были вынесены висевшие там окорока (позже преданные земле), а в кухне копытом Работяги была разнесена в щепы бочка пива; больше ничего не тронули. Открытым голосованием на месте было вынесено решение сохранить дом как исторический памятник. Так же единогласно постановили, что ни одно животное не опустится до того, чтобы жить в доме.

После завтрака Цицерон с Наполеоном объявили общее собрание.

— Товарищи, — сказал Цицерон, — сверим, так сказать, наши часы…

Сейчас половина седьмого, впереди у нас трудный день — мы начинаем заготовку сена. Но прежде важное дело.

Оказалось, за три месяца, предшествовавшие Восстанию, свиньи выучились читать и писать по старенькому букварю, который когда-то прошел через руки детей мистера Джонса и позже был

выброшен за ненадобностью. Наполеон послал Делового за масляной краской, черной и белой, а сам повел массы к главным воротам. Когда ведра с краской были доставлены, Цицерон, дальше других продвинувшийся в грамоте, зажал кисть в своем раздвоенном копытце, обмакнул ее в краску и, замазав на воротах первое слово в названии фермы (а называлась она, напомним, «Райский уголок»), исправил надпись на «Скотский уголок», еще раз замазал и вывел: «Скотный двор». Отныне и вовеки за фермой закреплялось новое название. Затем было послано за лестницей, которую приставили с торца к сараю. Последовало очередное разъяснение, а именно: за эти три месяца свиньи не только создали передовое учение, но и сформулировали его главнейшие принципы, которые свелись к семи заповедям. Этим заповедям предстояло быть начертанными на стене сарая, чтобы обрести силу закона, обязательного для нынешнего и будущих поколений. С известным трудом взобравшись на нужную высоту (еще вчера свинья и лестница казались понятиями несовместимыми), Цицерон окунул кисть в ведро, которое держал Деловой, стоявший двумя ступеньками ниже. На промазанной дегтем стене, белым по черному, появились

аршинные буквы — такие будут видны откуда угодно. Текст гласил:

1. Всякое двуногое — враг.
2. Всякое четвероногое или крылатое — друг.
3. Не носи одежду.
4. Не спи в постели.
5. Не пей.
6. Не убивай себе подобного.
7. Все животные равны.

Надписи получились аккуратные, и орфография не подкачала, если не считать таких пустяков, как «друг» через «к» и буква «я», повернутая в обратную сторону. Цицерон прочел вслух написанное. Все покивали в знак согласия, а наиболее подкованные (Хрумка и Работяга как раз к ним не относились), не мешкая, принялись учить заповеди наизусть.

— А сейчас, товарищи, все на сенокос! — Цицерон простер копытце, освобожденное от малярной кисти. — Докажем, что мы можем работать лучше, чем Джонс и его люди!

Тут коровы, давно переминавшиеся с ноги на ногу, замычали в три глотки.

Коров не доили целые сутки, и их разбухшие вымена готовы были разорваться.

Обмозговав это дело, свиньи велели прине-

сти ведра и сами взялись за коровьи сосцы. Для первого раза у них получилось совсем неплохо, даром что копытные, и вот уже пять ведер до краев пенились парным молоком, вызывая неподдельный интерес у окружающих.

— И куда его теперь? — спросил кто-то.

— Иногда Джонс добавлял его в нашу болтушку, — вспомнила одна несушка.

— Не волнуйтесь, товарищи! — Наполеон выступил вперед, заслоняя собой ведра. — С молоком мы разберемся. Главное сейчас — сено. Товарищ Цицерон вам все покажет, а там и я подойду. Вперед, товарищи! Дорога каждая минута!

Все дружно помчались на луг, а когда под вечер вернулись, молоко бесследно исчезло.

Глава третья

Много было пролито пота, но усилия животных не пропали даром: результаты сеноуборки превзошли все ожидания.

Сложности, надо сказать, встречались на каждом шагу. Орудия труда предназначены для человека, а так как животные не могут стоять на задних конечностях, то большинство орудий оказались для них, увы, недоступными. Но зато лошади знали луг как свои четыре копыта и в заготовке сена смыслили куда больше, чем Джонс и его люди. К тому же свиньи, проявляя чудеса изобретательности, находили выход из любых положений.

В работе как таковой свиньи участия не принимали — они осуществляли общее руководство. С учетом их теоретической подготовки вопрос о лидерстве решился сам собой. Работяга и Хрумка сами впрягались в сенокосилку или конные грабли (удила и вожжи, естественно, уже не требовались) и методично прочесывали поле, а рядом трусила свинья и подбадривала: «Веселей, товарищ! Поровней, товарищ!» Остальные животные, вплоть до самых слабосильных, собирали

сено и складывали его в валки. Даже утки и куры, невзирая на палящий зной, сновали взад-вперед с соломинками в клюве. Одним словом, уборочная страда была закончена на два дня раньше обычного и практически без потерь. Глазастые птенцы подобрали все до последней травинки, а уж о том, чтобы кто-нибудь украл даже на один клевок, и говорить нечего.

Все лето ферма работала как часы. Впервые в жизни животные были по-настоящему счастливы. То, что раньше именовалось кормежкой, превратилось в источник острейшего наслаждения, ведь теперь пища всецело принадлежала им — сам производишь, сам потребляешь, не надо ждать милостей от прижимистого хозяина. После того как они избавились от всех этих захребетников, с едой стало гораздо лучше. Равно как и с отдыхом, которым они пока не умели распорядиться. Это не значит, что не было проблем. Например когда подошел срок убирать пшеницу, им пришлось обмолачивать ее, как во время оно, — ногами, а мякину выдувать своим дыханием, и ничего, справились — свиньи поработали мозгами, Работяга мускулами. Вообще, что касается Работяги, то он вызывал всеобщее восхищение. Он и при Джонсе вкалывал, сейчас же трудился за

троих. Порой казалось, что единственная опора фермы — его могучая спина. С утра до поздней ночи он тянул и толкал, всегда оказываясь в самой горячей точке. По его просьбе петух будил его на полчаса раньше, чтобы он мог принести дополнительную пользу до начала рабочего дня. На любую проблему или временное затруднение у него был один ответ: «Работать еще лучше!» Он сделал это своим личным девизом.

Каждый вносил свой вклад в общее дело. Птицы, например, подбирая по зернышку, дали прибавку в пять мешков пшеницы. Не было замечено ни одного несуна среди несушек, не слышно было жалоб, что кого-то обмерили или обвесили. Взаимные обиды, свары, грызня — все эти нездоровые явления отошли в прошлое. Никто не сачковал — во всяком случае открыто. Просто Молли не всегда удавалось проснуться вовремя, а после обеда, как нарочно, мелкие камешки забивались между подковой и копытом, что вынуждало ее уходить с поля раньше времени. А кошка — та вела себя просто загадочно. Выявилась странная закономерность: всякий раз, когда бросали трудовой клич, кошки не оказывалось на месте. Ее уже считали без вести пропавшей, но к обеду или к ужину она обязательно появлялась,

причем так убедительно объясняла свое долгое отсутствие и так дружелюбно мурлыкала, что невозможно было усомниться в ее искренности. Кто совершенно не изменился после Восстания, так это Бенджамин, старый осел. И при той власти, и при этой он трудился с каким-то медленным упрямством, никогда не отлынивая от работы, но и не прося ничего сверх положенного. О Восстании и произошедших после него переменах он предпочитал не распространяться. На вопрос, не стал ли он счастливее после изгнания Джонса с фермы, следовало неизменное: «Ослы живут долго, вы еще не видели мертвого осла», — и всем оставалось только голову ломать над этим таинственным ответом.

Воскресенье было днем отдыха. Завтракали на час позже, а после завтрака происходила церемония, начинавшаяся с подъема флага. В подсобке, где лежала упряжь и разное старье, Цицерон обнаружил зеленую скатерку миссис Джонс и нарисовал на ней рога и копыта. По воскресеньям это полотнище развевалось на флагштоке в саду. Цицерон объяснил, что зеленый цвет символизирует луга и пастбища, а рога и копыта олицетворяют собой будущую Республику животных, которая утвердится на обломках че-

ловеческой цивилизации. После подъема флага все направлялись в большой сарай на генеральную ассамблею, или, проще выражаясь, общее собрание. На собрании намечались контуры предстоящей рабочей недели, обсуждались проекты резолюций. Все проекты готовили свиньи.

Остальных животных научили голосовать, однако готовить проекты резолюций пока не научили. Прения проходили бурно, в чем была несомненная заслуга Цицерона и Наполеона. Эти двое, как быстро выяснилось, были не способны ни о чем договориться: стоило одному сказать «а», как другой тут же говорил «бэ».

Даже решение выгородить за фруктовым садом небольшой лужок, где бы паслись будущие пенсионеры, — кто мог возражать против этого? — вызвало бурную перепалку по поводу возрастной границы для той или иной категории животных.

После собрания все пели «Скот домашний, скот бесправный» и расходились, чтобы провести остаток дня по своему усмотрению.

Свиньи устроили в подсобке свой штаб. По вечерам они изучали там кузнечное и столярное дело, а также другие ремесла по книгам, найденным в доме. Цицерон взялся всерьез за организацию так

называемых Животных комитетов. Остановиться он уже не мог. Были образованы Яйценосный комитет — для несушек, Союз по борьбе за чистоту хвоста — для коров, Дикживкультпросвет — для одомашнивания крыс и диких кроликов, Шерстяной комитет — для овец, и проч. и проч., а также курсы ликбеза. Большинство этих начинаний успеха не имело. Попытка приручить диких животных сразу потерпела фиаско: все эти несознательные элементы не желали порывать со своим прошлым и беззастенчиво злоупотребляли проявленным к ним великодушием.

Кошка вступила в Дикживкультпросвет и несколько дней проявляла большую активность. Однажды видели, как она мирно беседует на крыше с воробьями — правда, на расстоянии. Беседа сводилась к тому, что теперь все они братья и сестры и что любой воробей может запросто посидеть у нее на лапе. Воробьи с интересом ее слушали, но на лапу почему-то не садились.

Зато курсы ликбеза себя полностью оправдали. Осень принесла первые плоды просвещения. Свиньи свободно читали и писали. Собаки могли изрядно читать, но, к сожалению, ограничили свой круг чтения семью заповедями.

Козочка Мюриэл отличалась более пытливым

умом и вечерами почитывала вслух газету, точнее обрывки газет, обнаруженные на помойке. Бенджамин овладел грамотой не хуже свиней, однако свои знания никак не обнаруживал. На вопрос, почему он ничего не читает, он отвечал коротко: «Смысл?» Хрумка выучила все буквы, правда, складывать из них слова оказалось для нее непосильной задачей. Работяга не пошел дальше О. Копытом нацарапав на земле первые четыре буквы алфавита, он тупо смотрел на них, поводя ушами и встряхивая челкой в отчаянной попытке сообразить, какая следующая. Пару раз он вроде бы сумел осилить Е, Р, С и Н, но когда уже казалось, что дело сделано, вдруг обнаруживалось, что за это время он начисто забыл А, В, С и О. В конце концов он ограничился первыми четырьмя и положил себе за правило писать их хотя бы раз в день для лучшей усвояемости. Молли отказалась учить какие-либо буквы, кроме тех, что составляли ее имя. Она аккуратно выкладывала свое имя из веточек, вплетала для красоты цветочек и потом долго любовалась этим перлом творения, заходя то справа, то слева.

Все прочие животные знали лишь одну букву — А, зато в совершенстве.

Помимо трудностей с чтением возникло допол-

нительное осложнение: овцы, куры и утки, не отличавшиеся большим умом, никак не могли запомнить семь заповедей. По зрелом размышлении Цицерон пришел к выводу, что все заповеди можно, в сущности, свести к одной максиме: «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо». Это короткое изречение, объявил он, есть квинтэссенция анимализма.

Постичь его глубинный смысл значило обезопасить себя от человеческих влияний. Так ведь у нас тоже две ноги, попытались возразить птицы, но Цицерон не дал застигнуть себя врасплох:

— Крылья, товарищи, есть орган летательный, а не хватательный. Следовательно, его можно рассматривать как разновидность ноги. От нас, животных, человека отличает прежде всего рука, которая есть орудие насилия над живой природой.

Не будем утверждать, что до пернатых дошла логика Цицерона, но они приняли ее на веру и ревностно взялись за дело. На торце сарая, над заповедями, еще более крупными буквами было выведено: ЧЕТЫРЕ НОГИ ХОРОШО, ДВЕ НОГИ ПЛОХО. Затвердив эту мудрость, овцы преисполнились таким восторгом, что в их устах незамысловатая строка стала звучать как песня,

которую они могли тянуть часами.

А что же Наполеон? К Цицероновым комитетам он сразу отнесся с прохладцей. Подрастающее поколение, заявил он, вот вопрос вопросов. Тут надо сказать, что вскоре после завершения сеноуборочной кампании ощенились две суки, Джесси и Бесси. Едва щенки, а было их девять, встали на ноги, как Наполеон отнял их у матерей и взял на себя заботу о их воспитании. Он отнес щенков на верхний сеновал, куда можно было попасть, только поднявшись по лестнице непосредственно из подсобки, и там держал их в такой строжайшей изоляции от внешнего мира, что очень скоро все про них забыли.

Между прочим, разъяснилась загадка с постоянным исчезновением парного молока. Его, оказывается, добавляли в корыто для свиней. Впрочем, молоком дело не ограничилось. В саду уже поспевали ранние сорта яблок, и трава была усеяна паданцами. Предполагалось, как нечто само собой разумеющееся, что весь сбор будет поделен поровну, однако неожиданно вышел приказ: паданцы предназначены для откорма свиней, так что их следует собрать и снести в подсобку. Кое-кто попробовал роптать, но это ни к чему не привело. В данном вопросе между

свиньями царило полное единодушие, даже у Цицерона с Наполеоном. Делового послали выступить перед массами с необходимыми разъяснениями.

— Товарищи! — визгливо начал Деловой. — Неужели вы думаете, что мы, свиньи, ищем для себя выгоды или привилегий? Да если хотите знать, многие из нас не любят ни яблоки, ни парное молоко. Я, например, терпеть не могу. И если мы все же заставляем себя употреблять их в пищу, то исключительно для поддержания своего тонуса. Как доказала наука, товарищи, молоко и яблоки содержат вещества, абсолютно необходимые для жизнедеятельности свиньи. Мы заняты тяжелой умственной работой. Организация производства, вопросы управления — все лежит на нас. День и ночь печемся мы о вашем, товарищи, благополучии. Ради вас мы захлебываемся этим молоком, ради вас давимся этими яблоками. Вы представляете, что произойдет, если мы не справимся со своими обязанностями? Вернутся времена Джонса! Да-да, вернутся! Вы этого хотите? — Голос Делового поднялся до трагических высот, Деловой дрожал всем телом, сучил ножками и подергивал хвостиком. — Вы хотите, чтобы вернулись времена Джонса?!

Что тут можно ответить? Меньше всего на свете животные хотели, чтобы вернулись времена Джонса. Если вопрос ставился так, то спорить было не о чем. Необходимость поддержания тонуса свиней не вызывала сомнений. Одним словом, все сошлись на том, что молоко и паданцы (и вообще большая часть урожая яблок) будут отдаваться свиньям.

Глава четвертая

Наступила осень. В графстве только и было разговоров, что о «Скотном дворе». Каждый день Цицерон с Наполеоном посылали голубей во все концы, с тем чтобы они несли животным близлежащих ферм правду о Восстании и разучивали с ними песню «Скот домашний, скот бесправный».

Мистер Джонс в основном торчал в «Рыжем льве», накачиваясь пивом и жалуясь знакомым и незнакомым на злую судьбу, которая потворствует всякому там четвероногому сброду и смотрит сквозь пальцы на то, что человека изгоняют из его законных владений. Фермеры сочувственно кивали, но не спешили предложить помощь. В уме каждый прикидывал, нельзя ли все-таки построить свое счастье на несчастье ближнего. Эта в общем-то здоровая мысль наталкивалась на одно препятствие: непосредственные соседи Джонса были заклятыми врагами, и это связывало обоим руки. Мистер Пилкингтон, жизнерадостный джентльмен, деливший свои деловые интересы между охотой и рыбной ловлей, смотря по сезону, был владельцем «Фоксвуда» — обширных угодий вокруг технически устаревшей и сильно

запущенной фермы, где кустарник давно не вырубался, пастбища оголились, а живые изгороди потеряли всякую форму. Владельцем другой фермы — «Пинчфилд» — поменьше и поухоженнее, был мистер Фредерик, человек жесткий, цепкий, неисправимый сутяжник и, как поговаривали, большой любитель биться об заклад. Оба относились друг к другу с такой неприязнью, что даже личная выгода не заставила бы их сделать встречные шаги.

Оба фермера были в равной степени напуганы Восстанием и озабочены тем, чтобы их домашний скот поменьше знал о соседях. В первые дни после Восстания они поднимали на смех саму мысль о том, что животные могут самостоятельно вести хозяйство. Вот увидите, говорили оба, они и двух недель не протянут.

Был даже пущен слух, что в «Райском уголке» (фермеры упорно отказывались признать законным новое название) все уже перегрызлись и вообще вот-вот перемрут от голода. Однако время шло, животные не перемерли, и тогда Фредерик и Пилкингтон сменили пластинку и заговорили о чудовищной вакханалии жестокости и разврата. И каннибализм, дескать, там у них, и раскаленными подковами пытают, и самки у

них там общие. Вот оно чем оборачивается, когда восстают против законов природы.

Мало кто верил всем этим байкам. Слухи о необыкновенной ферме, откуда выставили людей и где с тех пор всем заправляют животные, распространялись, обрастая фантастическими подробностями, и волны свободолюбия прокатывались то тут, то там. Всегда послушные быки вдруг становились неуправляемыми, овцы ломали загоны и объедались клевером, коровы во время дойки переворачивали ведра, верховые лошади отказывались брать препятствия и сбрасывали седоков.

Но это еще не все — повсюду звучала мелодия и даже слова крамольной песни.

На удивление быстро облетела она все графство. При первых же звуках люди закипали от ярости, хотя старательно делали вид, будто ничего смешнее им слышать не приходилось. Петь такую чушь, говорили они, это ж додуматься надо. Животное, застигнутое на месте преступления, подвергалось бичеванию.

Но песня звучала! Ее насвистывали дрозды в кустах, ее подхватывали голуби в кронах вяза, она слышалась в ударах молота по наковальне и в перезвоне церковных колоколов. И люди

вздрагивали, как будто песня предрекала им скорую гибель.

В один из первых дней октября, когда пшеница была сжата и частично обмолочена, воздух затрепетал от внезапно слетевшихся голубей, которые в превеликом возбуждении спешили на «Скотный двор» с ужасной вестью. Джонс со своими работниками и еще дюжина людей из «Фоксвуда» и «Пинчфилда» открыли главные ворота и направляются к ферме! Все они вооружены дубинками, а сам Джонс, идущий во главе, держит наготове ружье. Они наверняка попытаются отбить ферму!

Животные этого давно ждали и загодя приготовились. Оборону возглавил Цицерон, в свое время проштудировавший в библиотеке Джонса «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря. Он отдавал приказания быстро и четко, и в считаные минуты каждый успел занять свой боевой пост.

Подпустив людей поближе, Цицерон дал отмашку. В воздух поднялись голуби, числом до тридцати пяти, и спикировали на неприятеля. Пока тот от них отмахивался, из кустов выскочили гуси и принялись вовсю щипать людей за икры. Впрочем, это был лишь первый выпад, рассчитанный скорее на то, чтобы внести в ряды

противника легкое замешательство, и люди без особого труда отогнали гусей дубинками. Тут Цицерон ввел в бой свежие силы. Под его доблестным началом Бенджамин, Мюриэл и весь личный состав овец бросились вперед и стали бодать и колоть неприятеля. Бенджамин еще успевал поворачиваться и лягать то одного, то другого своими копытами. И снова люди оказались сильнее: дубинки и кованые сапоги сделали свое дело. Цицерон пронзительным визгом подал сигнал к отступлению, и все животные спешно ретировались на скотный двор.

Люди издали победный клич. Видя, что противник в страхе бежит, они начали его преследовать, забыв о стройности своих рядов. На это Цицерон и рассчитывал. Как только люди ворвались во двор, все три лошади, три коровы и свиньи, устроившие в коровнике засаду, в несколько прыжков отрезали им путь к отступлению. Цицерон скомандовал атаку и первым ринулся на Джонса. Тот, недолго думая, дал залп из ружья. Спину Цицерона обагрила кровь; рядом замертво рухнула овца. Не сбавляя хода, Цицерон всей своей массой врезал Джонсу по ногам. Тот отлетел на несколько метров и, потеряв ружье, упал на навозную кучу. Но еще более впечатляющими

были действия Работяги, который вставал на дыбы и наносил сокрушительной силы удары мощными копытами. Первый же такой удар разбил голову мальчишке-конюшему из «Фоксвуда». При виде бездыханного тела люди побросали дубинки и показали спину. Они заметались в панике, не успевая увертываться от рогов, зубов, копыт, клювов. Не было животного, которое бы не выместило на человеке своих обид. Откуда-то с крыши на пастуха спрыгнула кошка и вцепилась когтями в шею, отчего тот заорал благим матом. В какой-то момент, увидя брешь в цепи противника, люди задали стрекача. Не прошло и пяти минут после их вторжения, как они уже спасались позорным бегством, и стадо гусей с шипением гнало их обратно к главным воротам, щипля за ляжки.

На поле боя остался один убитый. Работяга тщетно пытался расшевелить копытом мальчишку-конюшего, лежавшего ничком в грязи.

— Мертвый, — с горечью сказал Работяга. — Я не хотел. Я забыл, что у меня железные подковы. Я правда не хотел!

— Забудь о жалости, товарищ! — вскричал Цицерон, истекавший кровью. — На войне как на войне. Хороший человек — это мертвый че-

ловек.

— Я не хочу ничьей смерти, даже человеческой, — в глазах Работяги стояли слезы.

— А где Молли? — вдруг спросил кто-то.

В самом деле, Молли нигде не было видно. Все не на шутку встревожились.

Уж не ранена ли она? А может, люди увели ее с собой? После долгих поисков ее нашли в стойле; она зарылась мордой в ясли с сеном, так что торчали одни уши. Молли дезертировала, едва раздался ружейный залп. Успокоенные тем, что она жива-невредима, все потянулись на скотный двор и, к удивлению своему, обнаружили, что «бездыханное тело» сбежало — вероятно, мальчишка был только ранен, а не убит.

Еще не успевшие остыть после сражения, животные наперебой вспоминали свои ратные подвиги. Стихийно началось празднование победы. Подняли флаг, спели раз пять «Скот домашний, скот бесправный». Погибшую овцу торжественно предали земле и на этом месте посадили куст боярышника. Цицерон произнес над могилой короткую речь, в которой призвал животных, если понадобится, отдать жизнь за родную ферму.

Единодушно было решено учредить боевую

награду — «Животная доблесть» 1-й степени — и наградить ею Цицерона и Работягу. Среди упряжи, лежавшей в подсобке, нашлись медные конские бляхи, каковые и стали медалями, и носить их полагалось исключительно по светлым животным праздникам. Медалью «Животная доблесть» 2-й степени была награждена овца (посмертно).

Долго спорили, как следует назвать сражение. Остановились на Битве при Коровнике, имея в виду его решающую фазу. Дробовик мистера Джонса был очищен от грязи. Так как в доме нашлись патроны, порешили поставить под флагштоком ружье как бы вместо пушки и два раза в год давать из него залп — двенадцатого октября, в годовщину Битвы при Коровнике, и в Иванов день, ознаменовавшийся Восстанием.

Глава пятая

С приближением зимы поведение Молли становилось все более вызывающим.

Она постоянно опаздывала на работу, оправдываясь тем, что проспала, и целыми днями жаловалась на непонятные боли, которые, впрочем, нисколько не влияли на ее аппетит. Под любым предлогом она сбегала к водопою и там подолгу стояла, бессмысленно таращась на свое отражение. Числилось за ней и кое-что посерьезней. Однажды, когда она вошла во двор своей легкой походкой, поигрывая хвостом и меланхолично перекатывая во рту соломинку, к ней направилась Хрумка.

— Молли, у меня к тебе серьезный разговор. Сегодня я видела тебя возле изгороди, что отделяет нас от «Фоксвуда». По ту сторону стоял кто-то из людей мистера Пилкингтона. Конечно, я находилась далековато, но, по-моему, ты подставляла ему морду, а он тебя гладил и что-то говорил при этом. Что все это значит, Молли?

— Он не гладил! Я не подставляла! Это неправда! — Молли вертела головой по сторонам и нервно ковыряла копытом землю.

— Молли, посмотри мне в глаза! Дай мне честное слово, что он тебя не гладил.

— Это неправда! — повторила Молли, продолжая вертеть головой, а потом не выдержала и галопом пустилась в чистое поле.

Хрумка поймала себя на неожиданной мысли. Не говоря никому ни слова, она направилась к Молли в стойло и принялась ворошить на полу сено. И вдруг на свет явилась пригоршня кускового сахара, а также мотки лент разного цвета.

Через три дня Молли исчезла. Довольно долго о ее местонахождении ничего не было известно, пока голуби не принесли в клюве новость, что ее видели в другом конце Уиллингдона. Запряженная в шикарную коляску, она стояла перед входом в паб, и краснощекий толстяк в клетчатых бриджах и гетрах, этакий*республиканец,* угощал ее сахарком и оглаживал. Блестящая шерстка волосок к волоску, челка алой лентой подвязана, морда дово-о-льная!.. С этого момента Молли перестала для них существовать.

Январь выдался суровый. Почва сделалась как камень, работы перенесли под крышу. В промежутках между собраниями свиньи намечали планы подготовки к весне. Так уж повелось, что все стратегические хозяйственные вопросы ре-

шала интеллектуальная элита, а уж потом они ставились на голосование. Эта система себя бы полностью оправдала, когда бы не постоянные разногласия между Цицероном и Наполеоном. Не было пункта, по которому бы они не расходились.

Если один предлагал посеять больше ячменя, другой требовал увеличить площадь под овес; стоило одному выбрать подходящее место для выращивания капусты, как другой рвался сажать там корнеплоды. У каждого были свои сторонники, поэтому дебаты разгорались нешуточные. На общих собраниях Цицерон, как правило, получал большинство голосов благодаря своим зажигательным речам, зато Наполеон отыгрывался в паузах. Его горячо поддерживали овцы. К месту и не к месту они затягивали «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо», даже на собраниях, причем, что любопытно, как раз в моменты, когда слова Цицерона звучали наиболее убедительно. Цицерон, надо сказать, внимательно изучил старые подшивки «Рачительного хозяина» и был полон планов грандиозных нововведений и преобразований. Со знанием дела говорил он о дренаже, о силосовании, об удобрении почвы, он разработал научный метод отправления естественных

надобностей, при котором поля будут унавоживаться: а) контактным способом, б) равномерно и в) с полным высвобождением транспортных средств. Что до Наполеона, то он не выдвигал оригинальных теорий, он предпочитал принижать открытия соперника и ждал своего часа. Ну а стычки продолжались и достигли своего апогея в вопросе о строительстве ветряной мельницы.

Как мы знаем, за пастбищем возвышался холм — высота, господствующая над местностью. После предварительного осмотра Цицерон объявил, что именно здесь следует поставить ветряк, от которого будет работать динамо-машина, обеспечивая ферму электричеством. И вспыхнет в стойлах свет, а зимой в них придет тепло, и сами заработают циркулярная пила, и свеклорезка, и электродоилка. Животные развесили уши (на их допотопной ферме сроду не бывало ничего такого), а Цицерон продолжал рисовать картины электрифицированного рая, где все будут делать машины, а животные палец о палец не ударят, им останется только пощипывать травку за приятной беседой или наслаждаться книгой, источником знаний.

Цицерону потребовалось несколько недель на разработку проекта ветряной мельницы. Все

практические сведения были почерпнуты из трех источников: «Тысяча полезных мелочей», «Домострой» и «Введение в электротехнику».

Кабинетом послужил ангар (когда-то там стояли инкубаторы) с хорошим деревянным настилом, на который удобно было наносить чертежи. Цицерон часами пропадал в ангаре. Заложив в книгах нужные страницы камешками и вооружившись мелком, он перебегал от одной схемы к другой и, добавляя там сплошную линию, здесь пунктирную, тихо повизгивал от возбуждения. Со временем случайные, на первый взгляд, наброски образовали сложную систему шестеренок и кривошипов, производившую сильное впечатление уже одной своей непонятностью. По меньшей мере раз в день животные приходили в ангар полюбоваться Цицероновыми чертежами. Даже самые необразованные, куры и утки, топтались между различными узлами, стараясь не наступить на эти создания нечеловеческого гения. Один Наполеон держался в стороне — он с самого начала высказался против мельницы. Тем более неожиданным было его появление. Тяжелой походкой он обошел ангар и внимательно все рассмотрел, раза два фыркнув при этом; затем он ненадолго задумался, как бы уже не обращая

внимания на чертежи, и вдруг, задрав ногу, так обильно выразил к ним свое отношение, что никакие слова уже не понадобились. После чего он покинул помещение.

Из-за мельницы произошел настоящий раскол. Цицерон не отрицал, что построить ветряк будет совсем не просто. Надо доставить камень, сложить стены, сделать деревянные крылья, а потом еще где-то раздобыть динамо-машину и кабель. (Где — пока было неясно.) Цицерон, однако, утверждал: в год можно уложиться. И тогда животные будут работать всего три дня в неделю. Со своей стороны, Наполеон настаивал на том, что главная задача момента — это решение продовольственного вопроса и что, пока они будут заниматься ветряными мельницами, все просто с голоду подохнут. Животные разделились на две партии, каждая со своим девизом: «Голосуйте за Цицерона и трехдневную рабочую неделю» и «Голосуйте за Наполеона и полную кормушку». Единственным, кто не примкнул ни к одной из партий, был Бенджамин. Он не верил ни в изобилие еды, ни в спасительную мощь ветряной мельницы. С мельницей или без мельницы, говорил он, жизнь может дать только одно облегчение — кишечника.

Другим яблоком раздора был оборонный вопрос. Все прекрасно понимали: хотя люди и потерпели поражение в Битве при Коровнике, в любой момент возможна новая, более решительная попытка вернуть себе отнятое. Это представлялось тем более вероятным, что слухи о победе восставших распространились далеко за пределами «Скотного двора» и весьма воодушевили животных на соседних фермах. Тут-то в очередной раз и схлестнулись Цицерон с Наполеоном. Наполеон призывал запасаться оружием и спешно овладевать боевыми навыками. Цицерон призывал снова и снова посылать голубей, с тем чтобы пламя Восстания перекинулось на другие фермы. Из слов первого вытекало, что, если они не научатся защищаться, они погибли; из слов второго вытекало, что, если Восстание победит повсеместно, отпадет необходимость в защите. Животные выслушивали Наполеона, выслушивали Цицерона — и переставали понимать, кто из них прав… правым всегда казался тот, кто говорил в данный момент.

И вот наконец Цицерон завершил свой труд. В ближайшее воскресенье вопрос, нужна или не нужна ветряная мельница, ставился на голосование. Когда все собрались, Цицерон взял слово

и, невзирая на помехи со стороны овец, изложил свои доводы в пользу строительства ветряка. Слово взял Наполеон. Не повышая голоса, он назвал мельницу совершеннейшей ахинеей, о которой и говорить-то неловко, и тут же сел, демонстрируя полное равнодушие к сказанному. Вся речь заняла от силы полминуты. Цицерон вскочил со своего места и, перекрывая блеянье овец, произнес страстную речь в защиту мельницы.

До этого момента симпатии слушателей делились примерно поровну, но элоквенция Цицерона не могла не захватить их. Яркими красками нарисовал он завтрашний день «Скотного двора», когда труд перестанет быть тяжкой обузой. Его воображение на этот раз не остановилось на циркулярной пиле и свеклорезке. Электричество, гремел он, приведет в движение молотилки и плуги, бороны и газонокосилки, жнейки и сноповязалки, не говоря уже о том, что в каждом стойле осуществится голубая мечта всякого животного: тепло, светло и мухи не кусают. Когда он кончил, исход голосования не вызывал сомнений. Но тут снова встал Наполеон и, как-то странно покосившись на Цицерона, неожиданно завизжал не своим голосом.

В тот же миг со двора раздался душераздира-

ющий лай, и, о ужас, в сарай ворвались девять огромных псов в ошейниках с медными бляшками. Они набросились на Цицерона, и только необыкновенное проворство уберегло его от железных челюстей. В мгновение ока очутился он за порогом. От страха потерявшие дар речи, животные сгрудились в дверях сарая и молча наблюдали за погоней. Цицерон припустил кратчайшим путем через узкий вытянутый в сторону дороги луг. Он несся со скоростью свиньи, преследователи наседали на пятки.

Вдруг он поскользнулся, и казалось, ему крышка, но он еще прибавил обороты и сумел оторваться, и снова его стали настигать. Один из псов уже было цапнул его за кончик хвоста, Цицерон еще наддал. Находясь на волосок от гибели, он нырнул под изгородь и был таков.

Все возвращались назад молчаливые и подавленные. Вскоре в сарай ввалились псы. Откуда они вообще взялись? Недоуменные вопросы рассеялись довольно быстро: в этих зубастых молодчиков превратились те самые щенки, которых Наполеон некогда отнял у матерей и выкормил в строжайшей тайне.

Полугодовалые, они поражали своими размерами, а свирепым видом походили на волков. От

Наполеона они не отходили ни на шаг. И виляли перед ним хвостом точно так же, как раньше другие псы виляли хвостом перед мистером Джонсом.

В сопровождении собачьей охраны Наполеон взобрался на помост, где однажды держал речь покойный Майор. Воскресные собрания, сказал Наполеон, отменяются. Он назвал их пустой тратой времени. Впредь всеми производственными вопросами станет заниматься специальный свинский комитет (свинком) под председательством самого Наполеона. Заседания будут закрытыми, принятые решения будут доводиться до общего сведения. По воскресеньям животные, как и прежде, будут поднимать флаг и петь «Скот домашний, скот бесправный», будут получать рабочее задание на неделю, но — никаких дебатов.

Слова Наполеона вызвали оторопь, хотя после увиденного все и так пребывали в шоке. Кое-кто хотел возразить, но не находил подходящих аргументов. Даже Работяга затуманился. Он прижал уши и несколько раз встряхнул челкой, пытаясь собраться с мыслями, но, видимо, так ничего и не собрал. Протест стихийно возник там, где его меньше всего можно было ожидать. В переднем ряду четыре поросенка завизжали, загалдели,

потом повскакивали со своих мест и стали что-то кричать, перебивая друг дружку. На них рыкнули псы из охраны, и поросята сели, разом прикусив языки. Тут овцы закатили минут на пятнадцать концерт, грянув свое ударное «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо», и на этом вся дискуссия закончилась.

Позднее, когда все разошлись, Деловой пошел в массы разъяснять новую политику.

— Товарищи, — сказал он, — я надеюсь, каждый из вас оценил, какую жертву принес товарищ Наполеон, взяв на себя дополнительное бремя власти.

Только не надо думать, будто роль лидера доставляет ему удовольствие. Это огромная, тяжелая ответственность. Да, у нас все животные равны, и товарищ Наполеон никому не позволит поставить это под сомнение. Но в ряде случаев, товарищи, вы можете принять неверное решение, и что тогда? Взять хотя бы Цицерона с его завиральными идеями строительства ветряной мельницы… вдруг кто из вас — даже подумать страшно! — дал бы себя увлечь этому бандиту?

— Он храбро сражался в Битве при Коровнике, — напомнили оратору.

— Быть храбрым мало, — возразил Деловой.

— Главное — исполнительность и преданность общему делу. Что касается Битвы при Коровнике, то еще придет время, и мы поймем, что вклад Цицерона в нашу победу был сильно преувеличен.

Дисциплина, товарищи, и еще раз дисциплина! Вот лозунг сегодняшнего дня.

Один ложный шаг — и нас раздавят наши враги. Или, может быть, кто-то хочет, чтобы вернулись времена Джонса?

И снова спорить было не о чем. Нет, никто не хотел, чтобы вернулись времена Джонса. Если возврат к старому каким-то образом зависел от воскресных дебатов, значит, воскресные дебаты следовало отменить. Работяга, успевший за это время собрать свои мысли, выразил общий настрой: «Товарищ Наполеон знает, что говорит». Кстати, с этого дня к его прежнему девизу «Работать еще лучше» добавился новый: «Наполеон всегда прав».

А между тем установилась теплая погода, пришла пора весенней пахоты.

Ангар с чертежами будущей мельницы заколотили, сами чертежи скорее всего затерли половой тряпкой. По воскресеньям в 10.00 животных собирали в большом сарае, и каждое получало задание на неделю. Из могилы был извлечен череп

Майора, который поместили под флагштоком, рядом с ружьем. После подъема флага животные проходили торжественным маршем мимо черепа незабвенного кабана и уже затем направлялись в сарай. Прежний порядок, когда все сидели вместе, был отменен. Наполеон, Деловой и еще один свиненок по кличке Шибздик, прирожденный поэт-песенник, занимали первые места на помосте, за ними полукругом располагались псы-охранники, за псами — остальные свиньи.

Все прочие животные устраивались на полу сарая, лицом к помосту. Наполеон отрывисто, по-солдатски зачитывал наряды на работу, после чего все пели «Скот домашний, скот бесправный» (один раз) и расходились.

Через три недели после изгнания Цицерона, в очередное воскресенье, животные не без удивления услышали на утреннем инструктаже, что ветряная мельница все-таки будет строиться. Наполеон не объяснил, чем вызвана перемена его решения, просто предупредил, что потребуется удвоить, а то и утроить усилия; не исключено, добавил он, что будут урезаны пайки. Как выяснилось, специальная комиссия из числа свиней осуществила за три недели детальную проработку проекта. Строительство ветряка и в целом

модернизация производства, по расчетам, должны были занять два года.

Вечером того же дня Деловой приватным образом разъяснил каждому, что Наполеон, в сущности, ничего не имел против мельницы. Наоборот, именно он выдвинул эту идею, Цицерон же выкрал у него всю техническую документацию и уже по ней набросал чертежи на полу ангара. Так что ветряк был, можно сказать, любимым детищем товарища Наполеона. Тогда почему, спросил кто-то, он даже слышать не хотел ни о какой мельнице? Деловой лукаво прищурился.

Оказывается, товарищ Наполеон пошел на хитрость. Он делал вид, что не хочет слышать ни о какой мельнице, с помощью этого маневра он рассчитывал избавить ферму от Цицерона, который при его коварстве действовал на всех разлагающе.

Теперь, когда нечего бояться очередного свинства с его стороны, можно смело приступать к строительству. Деловой объяснил, что это называется тактикой.

«Тактика, товарищи, тактика!» — радостно повторял он, суча ножками и подергивая хвостиком. Животные не очень-то понимали смысл этого слова, но Деловой говорил так убедитель-

но, а случившиеся рядом три пса рычали так угрожающе, что они не стали задавать лишних вопросов.

Глава шестая

Весь год животные ишачили с утра до вечера. И все же они были счастливы. Любые тяготы и жертвы казались не напрасными: трудились-то на себя и на благо своих детей, а не на кучку двуногих грабителей и бездельников.

Весной и летом ферма жила в режиме десятичасового рабочего дня. В августе Наполеон отменил выходные; правда, было объявлено, что воскресный труд — дело сугубо добровольное. Однако всем, кто уклонится от работы, будут вдвое урезаны пайки. При всем при том часть плановых заданий оказалась сорвана. Не потянули с урожаем (по сравнению с прошлым годом), не посадили корнеплоды, затянув весеннюю вспашку. Зима обещала быть трудной.

С ветряной мельницей вышли непредвиденные осложнения. Рядом с фермой находился известняковый карьер, а в одной из надворных построек обнаружились запасы песка и цемента, так что со стройматериалами проблемы не было. Зато возникла проблема, как дробить породу. Без кирки или лома вроде не обойтись, а как, спрашивается, их держать, когда ты стоишь на

четвереньках? После недель бесплодных попыток кто-то додумался использовать силу тяжести. На дне карьера лежали огромные глыбы, и вот, обвязав их веревками, коровы, лошади, овцы, а в наиболее критические моменты даже свиньи, — словом, всем миром, натужно, пядь за пядью втаскивали глыбу наверх, а затем сбрасывали с откоса, так что она сама раскалывалась. Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Куски известняка доставляли к месту назначения, кто как — лошади на тележках, Бенджамин и Мюриэл в легкой старенькой двуколке, а овцы — волоком.

Так или иначе, дело продвигалось медленнее, чем хотелось бы. Порой целый день уходил на то, чтобы из последних сил втащить наверх здоровенную глыбу… а потом она скатывалась к подножию холма и не разбивалась. Без Работяги, который один стоил всей команды, ничего бы не вышло. Бывало, глыба уже готова сорваться обратно в карьер, увлекая за собой отчаянно кричащих животных, но тут Работяга упирался всеми четырьмя ногами и удерживал неподъемный вес. Одно загляденье было наблюдать, как он упрямо, с медлительностью улитки, лезет вверх, буравя копытами каменистый склон, как

легкие работают словно кузнечные мехи, как ходуном ходят мощные бока, лоснящиеся от пота. Хрумка не раз просила его не перенапрягаться, но Работяга пропускал ее слова мимо ушей. У него на все был один ответ, а точнее два: «Работать еще лучше» и «Наполеон всегда прав». Он передоговорился с петухом, чтобы тот будил его за сорок пять минут до общего подъема. Если же выдавалось немного свободного времени — а его теперь не много выдавали, — Работяга спускался в карьер, загружал тележку и тащил ее в гордом одиночестве.

К концу лета, когда запас известняка сочли достаточным, началось строительство ветряной мельницы под чутким руководством свиней.

Несмотря на тяжелые условия работы, жаловаться, в общем-то, было грех.

Если еды не прибавилось (по сравнению с пресловутыми временами правления мистера Джонса), то по крайней мере и не убавилось. Одно то, что животным не надо было кормить пятерых дармоедов, перевешивало любые минусы. Не говоря уже о том, что труд стал более эффективным и экономичным. К примеру, прополка сорняков осуществлялась с тщательностью, о которой люди могли только мечтать. Или такой момент:

поскольку животные сами у себя не воровали, отпала необходимость огораживать поля под зерновыми культурами, а значит, не уходили лишние силы на установку и починку плетней. Однако к исходу лета начались перебои то с одним, то с другим. Не хватало парафина, подков, гвоздей, бечевы, лепешек для собак, — а главное, не было никакой возможности самим обеспечить себя всем этим. Со временем понадобятся семена и минеральные удобрения, кой-какая техника и, наконец, оборудование для ветряной мельницы. Где, спрашивается, все это взять?

Однажды утром на воскресном инструктаже Наполеон объявил новый курс. С этого дня «Скотный двор» начинает торговать с соседями — о нет, не с целью извлечения прибыли, а исключительно для приобретения самого необходимого. Интересы мельницы, сказал Наполеон, должны быть поставлены во главу угла. Планировалось продать немного сена и часть собранной пшеницы, если же вырученных средств окажется недостаточно, то и большую партию яиц, которые всегда пользуются спросом на рынке. Пусть эта жертва окрылит наших кур, сказал Наполеон, а уж мы не забудем об их личном вкладе в строительство мельницы.

И снова животные ощутили смутное беспокойство. Не иметь никаких дел с человеком, не заниматься торговлей, не прикасаться к деньгам — разве все эти решения не принимались на историческом собрании сразу после изгнания Джонса? Они были еще живы в их памяти… во всяком случае, полуживы. Четыре поросенка, те, которые уже осмелились однажды протестовать, что-то там робко вякнули, но устрашающий рык псов из охраны заставил их умолкнуть. Тут очень кстати вступили овцы со своим «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо», и секундная неловкость была замята. Наполеон поднял копытце и, когда установилась тишина, сказал, что все необходимые шаги уже, собственно, предприняты. Животные будут ограждены от контактов с людьми, на этот счет они могут быть спокойны. Всю черновую работу Наполеон берет на себя. Некто мистер Уимпер, поверенный, согласился выступить посредником между «Скотным двором» и остальным миром. По понедельникам он будет получать на ферме все инструкции. Свою речь Наполеон закончил обычным призывом «Да здравствует „Скотный двор”!», потом спели «Скот домашний, скот бесправный» и разошлись.

Днем Деловой постарался рассеять все сомне-

ния. Он заверил каждого, что решения о том, чтобы не заниматься торговлей и не прикасаться к деньгам, не только не принимались, но даже не обсуждались. Эти глупейшие фантазии мог породить разве что Цицерон с его склонностью к опасным утопиям. Не всех слова Делового убеждали, и тогда он прикидывался эдаким простачком: «А может, вам все приснилось? Какие решения? Они где-нибудь записаны?» И поскольку, действительно, нигде и ничего записано не было, оставалось только признать, что произошло недоразумение.

Отныне по понедельникам, как было объявлено, на ферме появлялся мистер Уимпер. Этот низкорослый мужчина с плутоватым лицом и внушительными баками вел более чем скромные дела, однако он раньше других сообразил, что без маклера «Скотному двору» не обойтись и это дело сулит неплохие комиссионные. Присутствие Уимпера на ферме оскорбляло животное достоинство, поэтому все старательно его избегали. Хотя было на что посмотреть, когда Наполеон, стоя на четвереньках, отдавал приказания стоящему во весь человеческий рост Уимперу; это зрелище вызывало у животных чувство гордости и отчасти примиряло их с создавшейся ситуацией.

Шло время, и отношения «Скотного двора» с враждебным человеческим окружением постепенно менялись. Не то чтобы люди стали меньше ненавидеть ферму, сумевшую добиться определенных успехов; скорее наоборот, они ненавидели ее пуще прежнего. Все наперебой доказывали друг другу, что рано или поздно ферма обанкротится, а затея с ветряной мельницей лопнет, как мыльный пузырь. В питейных заведениях прямо на столиках раскладывались диаграммы, из которых явствовало, что мельница просто обязана рухнуть, а если она все же устоит, то уж махать крыльями наверняка не будет. Но вот парадокс: при всей своей неприязни люди не могли не воздать должное тому, как умело четвероногие ведут хозяйство. Это проявилось прежде всего в том, что они перестали делать вид, будто ферма все еще называется «Райский уголок». Они также перестали нянчиться с Джонсом, и тот, потеряв всякую надежду вернуть собственность, уехал из этих мест. Пока все контакты «Скотного двора» с внешним миром ограничивались Уимпером, однако ходили упорные слухи, что Наполеон собирается заключить торговую сделку не то с Пилкингтоном из «Фоксвуда», не то с Фредериком из «Пинчфилда»… во всяком случае, не с обоими

сразу.

Как-то под шумок свиньи забрались в дом, да так там и остались. Снова животным показалось, что когда-то они принимали решение, запрещающее им жить в доме, и снова Деловой легко их опроверг. Разве постоянная работа мысли, на которую обрекли себя свиньи, не предполагала с самого начала некоего уединения? И разве пристало вождю (так в последнее время он называл Наполеона) жить в хлеву? Так-то оно так, а все же многих смущало, что свиньи теперь не только едят на кухне и отдыхают в гостиной, но и спят в постели.

Работяга разрешил все сомнения коронной фразой «Наполеон всегда прав», зато Хрумка, у которой не было пока оснований жаловаться на плохую память, нарочно пошла к большому сараю прочесть соответствующую заповедь. Увы, это оказалось ей не под силу, пришлось звать на помощь Мюриэл.

— Прочти-ка мне четвертую заповедь, — попросила она. — Там что-то говорится про постель.

Мюриэл долго шевелила молча губами и наконец разродилась:

— «Не спи в постели на простынях».

Странно, подумала Хрумка, о простынях вроде

ничего не говорилось… но раз написано, значит, так и было. Тут очень кстати оказался рядом Деловой в сопровождении псов-охранников и сразу поставил все точки над i.

— Кажется, вы удивлены тем, что мы, свиньи спим в постели? — спокойно поинтересовался Деловой. — А почему бы и нет? Или существуют какие-то противопоказания? Постель, по определению, есть ложе для сна.

Соломенная подстилка в стойле — это, строго говоря, та же постель. Против чего мы всегда возражали, так это против простыней, являющихся изобретением человека. Мы же простыни сняли и спим под одеялами. Очень, скажу я вам, удобно. Учтите, это минимальные удобства, без которых мы просто не смогли бы мыслить в полную силу. Или мы, товарищи, не заслужили отдыха? Или вы хотите, чтобы мы выбились из сил и снова наступили времена Джонса?

Ответ был известен заранее, и, таким образом, тема себя исчерпала.

Никто не возмущался и спустя несколько дней, узнав, что отныне свиньи будут вставать утром на час позже.

Осень животные встретили усталые, но довольные. Позади был тяжелый год, впереди (после

продажи части сена и зерна) предвиделись затруднения с продовольствием, однако мельница искупала все. Или, вернее сказать, полмельницы. После уборочной стояла сухая солнечная погода, и животные с удвоенным рвением таскали известняк, радуясь тому, что их детище подрастет еще на вершок. Работяга вставал по ночам — поработать часок-другой при свете луны. Когда выдавалась свободная минута, животные топтались перед ветряком, восхищаясь толщиной и идеальной отвесностью стен, даже не верилось, что они сами сотворили это чудо. Один только старый Бенджамин не разделял всеобщего энтузиазма, предпочитая отделываться загадочной фразой про ослов, которые живут долго.

В ноябре с юго-запада задули страшные ветры. Из-за сильной влажности не схватывался цемент, работы пришлось приостановить. Однажды ночью ураган был такой силы, что постройки ходили ходуном и с крыш срывало черепицы.

Раскудахтались со сна куры — им коллективно приснилось, будто где-то бабахнули из ружья. Утром все вышли на двор и увидели такую картину: флагшток переломился, как спичка, один из вязов оказался вырван с корнем. А в следующую секунду животный крик потряс ферму. Зрелище

было не для слабонервных: мельница лежала в руинах.

Не сговариваясь, животные помчались к холму. Наполеон, который обычно нес себя с поистине царским достоинством, припустил быстрее всех. Вот оно, их творение, разрушенное до основания, камня на камне не осталось!

Онемевшие, они скорбно разглядывали хаотичные нагромождения камней, с таким трудом добытых и сюда доставленных. Наполеон молча расхаживал среди руин, время от времени принюхиваясь к чему-то под ногами. Его хвостик словно одеревенел и ходил как маятник, что свидетельствовало о напряженной работе мысли. Вдруг он остановился, явно приняв какое-то решение.

— Товарищи, — негромко произнес он, — знаете ли вы, кто в этом повинен? Знаете ли вы, кто сровнял с землей нашу мельницу? ЦИЦЕРОН! — неожиданно загремел он. — Это его грязных лап дело! Желая отомстить за свой позор и отбросить нас назад в строительстве новой жизни, этот предатель, этот злодей из злодеев пробрался на ферму под покровом ночи и за несколько часов уничтожил то, что мы создавали в течение года. Так вот, я заочно приговариваю Цицеро-

на к смертной казни. «Животная доблесть» 2-й степени и полмешка яблок тому, кто выдаст его правосудию! Мешок яблок тому, кто доставит его живым!

Все стояли потрясенные: даже от Цицерона трудно было ожидать подобного святотатства. По рядам пронеслись негодующие возгласы, в головах уже зрели планы поимки изверга звериного рода. Почти сразу неподалеку от холма обнаружились характерные следы раздвоенных копыт — они вели к живой изгороди. Наполеон тщательно обнюхал их своим пятачком… последние сомнения отпали. Можно было предположить, что Цицерон нашел убежище в «Фоксвуде».

— Ни секунды промедления, товарищи! — воззвал к животным Наполеон, потеряв вдруг всякий интерес к цепочке следов. — Не до отдыха. Прямо сейчас мы начинаем отстраивать мельницу и будем работать всю зиму, при любой погоде. Мы покажем этой грязной свинье, что нас голыми руками не возьмешь.

Помните: ничто не может сорвать наши планы, все намеченное будет выполнено!

Вперед, товарищи! Даешь ветряную мельницу! Да здравствует «Скотный двор»!

Глава седьмая

Зима выдалась суровая. За ураганными ветрами последовала оттепель со снегом, а затем ударили заморозки, которые держались до середины февраля.

Животные отдавали последние силы для восстановления мельницы, прекрасно понимая, что на них устремлены сотни глаз и что каждая их неудача встречается бурным ликованием в стане врага.

Это ж какими надо быть злопыхателями, чтобы очевидной версии, будто мельницу разрушил Цицерон, предпочесть надуманное: мол-де, она сама рухнула из-за слишком тонких стен. Разумеется, животные не принимали эти разговоры всерьез. Другое дело, что стены теперь решено было возводить вдвое толще, а значит, требовалось еще столько же известняка. Довольно долго карьер лежал под снегом, и ни о каких работах не могло быть и речи. Потом снег растаял, подморозило, и вроде что-то сдвинулось с мертвой точки, но каждый шаг давался с таким скрипом, что вера в успех угасала на глазах. Мучил холод, а часто и голод. Лишь Работяга и Хрумка не теряли

оптимизма. Деловой произносил блестящие речи о том, какая это радость — работать для общего *блага* и что труд облагораживает животных, но больше речей, признаться, вдохновлял живой пример двужильного битюга с его неизменным девизом «Работать еще лучше!».

В январе началась нехватка продовольствия. Рацион зерна заметно урезали, пообещав компенсировать картофелем. Но, как вскоре выяснилось, почти весь картофель померз из-за плохого хранения и стал малосъедобным.

Животные пробавлялись мякиной и кормовой свеклой. К горлу уже подбиралась костлявая рука голода.

Надо было принимать экстренные меры, то есть прежде всего позаботиться о том, чтобы скрыть положение вещей от внешнего мира. Воспрянув после истории с мельницей, люди опять распускали о «Скотном дворе» небылицы, одну другой нелепее: от моровой язвы и массового голода до взаимного истребления и пожирания собственных детей. Сознавая, сколь неблагоприятными могут быть последствия, если сложившаяся на ферме ситуация предстанет в черном цвете, Наполеон решил использовать мистера Уимпера и с его помощью создать у человечества обрат-

ное впечатление. Если раньше с ним имел дело один Наполеон, то сейчас он специально отобрал животных, в основном овец, и отработал с ними реплики «про новую, сытую жизнь», которыми они должны были непринужденно обмениваться при появлении Уимпера. А еще Наполеон велел наполнить пустые закрома почти доверху песком, сверху же присыпать зерном. При случае он провел Уимпера через амбар, так чтобы взгляд его невольно упал на бункеры с пшеницей. Уловка вполне удалась, и мир узнал, как сытно живется на «Скотном дворе».

Однако к концу января стало очевидно, что без зерна со стороны не обойтись. В эту трудную пору Наполеон почти не показывался перед массами; он жил затворником, дом тщательно охранялся. Редкие выходы обставлялись довольно внушительно: он шел в сопровождении почетного эскорта из шести псов, которые грозным рычанием предупреждали всякого, кто оказывался слишком близко. Даже воскресные инструктажи он все чаще поручал провести кому-то из своего окружения, преимущественно Деловому.

На очередном инструктаже Деловой объявил, что все снесенные яйца будут временно реквизироваться. Наполеон заключил через Уимпера

контракт о продаже четырех сотен яиц в неделю. Вырученные деньги позволят закупить зерно и другое продовольствие и таким образом продержаться до лета, когда станет полегче.

С курами случилась истерика. Что от них, возможно, потребуют жертв, такие разговоры были, но всем почему-то казалось, что они так и останутся разговорами. Куры активно неслись, и забирать у них яйца, с их, куриной, точки зрения, было бы равносильно детоубийству. Назревала новая революционная ситуация. Подстрекаемые тремя черненькими минорками, несчастные матери выразили свой протест в крайней форме: они стали нестись под крышей сарая, на стропилах (не с этих ли пор их называют *несущими* балками?), откуда яйца падали вниз и разбивались вдребезги. Наполеон отреагировал незамедлительно и безжалостно. Пулярок сняли с довольствия.

Всякого, кто бросит им хотя бы зернышко, ждала смертная казнь. За точным исполнением приказа следили псы-охранники. Курочки продержались пять дней, после чего капитулировали и вернулись на свои насесты. Девять из них умерли от истощения и были похоронены в саду. По официальной версии причиной смерти

явился коксидиоз. Ничего этого Уимпер не знал, и раз в неделю бакалейщик, подъезжавший на фургоне к воротам фермы, исправно забирал очередную партию яиц.

Все это время о Цицероне не было ни слуху ни духу. Молва, однако, гласила, что он прячется не то в «Фоксвуде», не то в «Пинчфилде». Отношения с соседями у Наполеона несколько наладились. Тут надо сказать, что во дворе был сложен хороший выдержанный лес — лет десять назад срубили буковую рощицу. Уимпер настоятельно советовал Наполеону продать лес, тем более что и мистер Пилкингтон и мистер Фредерик выказывали свою заинтересованность. Наполеон никак не мог сделать между ними выбор. Начала проглядывать любопытная закономерность: стоило ему пойти на сближение с Фредериком, как становилось доподлинно известно, что Цицерона укрывает Пилкингтон, а когда он уже был готов договориться с Пилкингтоном, все с горечью узнавали, что, оказывается, Цицерона с самого начала взял под свою защиту Фредерик.

Однажды — стояла ранняя весна — всех взбудоражило страшное открытие: по ночам Цицерон хозяйничает на их ферме! Это было таким потрясением, что у животных сделалась бессонница.

Подумать только, каждую ночь, пользуясь темнотой, этот тать занимается вредительством у них под носом! Ворует зерно, переворачивает ведра с молоком, бьет яйца, топчет первые всходы, обдирает клыками кору с фруктовых деревьев. Что бы ни стряслось, виновник теперь был известен. Окно ли окажется разбитым, водосток ли засорится — все он, Цицерон; пропал ключ от амбара — ясно, кто бросил его в колодец. И вот что примечательно: животные свято верили в Цицероновы козни даже после того, как ключ обнаруживался, к примеру, под мешком с пшеницей. Вдруг коровы в один голос заявили, что, пока они спят, Цицерон выдаивает их до последней капли.

О крысах, доставлявших этой зимой много хлопот, стали говорить, что они находятся в сговоре с Цицероном.

Наполеон назначил обстоятельное расследование преступной деятельности этого, можно сказать, недосвина. Окруженный телохранителями, он лично обнюхал всю ферму, метр за метром, остальные держались на почтительном расстоянии. Наполеон, обладавший особым нюхом на врага, ткнул свой пятачок во все углы, прочесал вдоль и поперек сарай, коровник, огород, курятник — и едва ли не везде уловил предательский

дух. Происходило это так: он припадал к земле, делал несколько глубоких вдохов и страшным голосом изрекал:

«Цицерон! Его запах!» При слове «Цицерон» у псов шерсть вставала дыбом, а рычали они так, что кровь стыла в жилах.

Животных обуял ужас. Казалось, кабан-невидимка находится сразу в нескольких местах и всюду сеет смуту разрушения. Вечером их собрал Деловой.

Вид у него был весьма озабоченный, разговор предстоял серьезный.

— Товарищи! — выкрикнул Деловой, как-то нервно пританцовывая. — У меня нет слов. Цицерон продался Фредерику, который готовится напасть на нас и забрать себе нашу ферму! Цицерон у него в наводчиках. Но это еще не все, товарищи. Мы думали, козни Цицерона объясняются его тщеславием и жаждой власти. Если бы! Хотите знать истинную причину? Цицерон прислуживал самому Джонсу! Он был его тайным агентом! Об этом говорят оставшиеся после него документы, которые мы только что обнаружили. Это, скажу я вам, на многое проливает свет. Разве мы не видели своими глазами, как он пытался — к счастью, безуспешно — привести нас к сокруши-

тельному поражению в Битве при Коровнике?

Животные онемели. Даже разрушение мельницы померкло перед таким кощунством. Они долго молча переваривали услышанное, и все равно какие-то вещи не укладывались в голове. Трудно было посмотреть на прошлое глазами Делового, когда они своими глазами видели, как Цицерон возглавил Битву при Коровнике, как он личным примером воодушевлял их в критические минуты и ничто, даже дробь, оцарапавшая его спину, не смогло остановить его наступательный порыв. И при этом он отстаивал интересы Джонса? Даже Работяга, приучивший себя не задавать лишних вопросов, всем своим видом выражал недоумение. Он даже лег на землю, подобрав передние копыта, закрыл глаза и после мучительного раздумья сказал так:

— Я не верю. Цицерон сражался храбро в Битве при Коровнике. Я сам видел. И разве мы не дали ему «Животную доблесть» 1-й степени?

— Это была наша ошибка. Теперь, когда мы располагаем секретными документами, можно смело утверждать, что он рыл нам яму.

— А как же ранение? — упрямо гнул свое Работяга. — Мы все видели, как он истекал кровью.

— В этом-то и состояла главная хитрость! —

словно обрадовался Деловой. — Джонс нарочно выстрелил так, чтобы слегка его зацепить. Кстати, Цицерон об этом сам пишет, и ты, товарищ, мог бы прочесть, как обстояло дело, если бы умел читать. В критический момент он должен был скомандовать отступление, и поле боя осталось бы за неприятелем. И ведь он почти до конца осуществил свой зловещий план… я вам больше скажу: он бы осуществил его до конца, если бы не героизм, проявленный нашим вождем товарищем Наполеоном.

Вспомните, как Цицерон, а за ним и все остальные обратились в бегство, едва во двор вступил отряд Джонса. И в этот миг, когда в наших рядах началась паника, когда казалось, что все кончено, в этот миг, вспомните, товарищ Наполеон вырвался вперед и с криком «Смерть двуногим!» вонзил клыки в ляжку Джонса. Разве такое можно забыть? — Деловой пришел в необычайное возбуждение от нахлынувших воспоминаний.

Он обрисовал эту батальную сцену так зримо, что трудно было усомниться в ее правдивости. Тем более все помнили, что действительно был момент, когда Цицерон обратился в бегство. И все же у Работяги оставались некоторые сомнения.

— Я не верю, что Цицерон с самого начала был

предателем, — сказал он после небольшого раздумья. — Потом — это я понимаю, но в Битве при Коровнике он себя показал хорошо.

— Наш вождь, — Деловой заговорил жестко, выделяя каждое слово, — наш вождь выразился однозначно… однозначно, я подчеркиваю… что Цицерон с самого начала был тайным агентом Джонса — задолго до Восстания.

— Так бы сразу и сказал, — успокоился Работяга. — Раз товарищ Наполеон выразился, значит, все правильно.

— Вот слова истинного патриота! — радостно взвизгнул Деловой, однако нельзя было не заметить, что его блестящие глазки-пуговки словно пробуравили Работягу. Он уже собирался уйти, но помедлил и со значением произнес: — Я хочу предупредить, чтобы каждый глядел в оба. У нас есть все основания предполагать, что среди нас разгуливают агенты Цицерона!

Спустя четыре дня, ближе к вечеру, последовал приказ всем собраться во дворе. Когда приказ был выполнен, из дома вышел Наполеон при двух регалиях (недавно он вручил себе «Животную доблесть» обеих степеней) и девяти устрашающего вида телохранителях, окружавших его плотным кольцом.

Собравшиеся притихли и как-то даже поджались, словно предчувствуя нечто ужасное.

Наполеон с пугающей пристальностью обвел взглядом публику и вдруг пронзительно вскрикнул. В ту же секунду псы рванулись к первым рядам, где сидели поросята-«бунтовщики», вцепились мертвой хваткой каждому в ухо, и все четверо, визжащие от боли и страха, были брошены к ногам Наполеона.

Почувствовав кровь, псы совсем обезумели. Трое из них неожиданно кинулись к Работяге; битюг своевременно поднял тяжелое копыто, и один пес рухнул как куль. Прижатый копытом к земле, он взвыл о помощи, двое других отбежали с поджатыми хвостами. Работяга повернулся к Наполеону, как бы спрашивая, можно ли раздавить наглеца или следует даровать ему жизнь. Наполеон нахмурился и резким тоном велел оставить пса в покое, после чего тот был отпущен и, подвывая, затрусил прочь.

Но вот страсти улеглись. Пострадавшие поросята дрожали в ожидании своей участи, и каждый — от прокушенного уха до жалкого хвостика — был исполнен сознания собственной вины. Это была та самая четверка, что выступила против отмены общих собраний. Наполеон призвал их

рассказать о своей преступной деятельности. Проявив завидную готовность, все четверо сразу выложили, что с момента изгнания Цицерона они постоянно держали с ним связь, что они помогли ему взорвать мельницу и уже продумали совместный план передачи фермы в руки Фредерика. А еще они рассказали, как однажды Цицерон признался им под большим секретом, что многие годы работает на Джонса. Когда они окончательно саморазоблачились, «слово» взяли псы-охранники, разорвав их в клочья.

Громовым голосом Наполеон спросил, не хочет ли еще кто-нибудь облегчить душу. Вперед выступили три минорки, зачинщицы неудавшегося бунта в курятнике, и признались в том, что Цицерон явился им во сне и подговорил их саботировать распоряжения Наполеона. Минорок постигла та же участь. Затем гусыня созналась в том, что припрятала шесть колосков во время уборочной страды в прошлом году, а ночью съела их тайком. Затем овца созналась в том, что помочилась там, куда все ходят на водопой, причем сделала это по наущению все того же Цицерона. Еще две овцы взяли на себя ответственность за смерть старого барана, ярого последователя Наполеона; вдвоем они загнали беднягу, прекрасно

зная, что у него астма. Все покаявшиеся были разорваны на месте. Между тем следовали новые саморазоблачения и новые казни, так что перед Наполеоном вскоре выросла гора трупов, и воздух загустел от запаха крови, который животные успели забыть после изгнания Джонса.

Когда все было кончено, поредевшие ряды сомкнулись, и притихшая масса двинула со двора. Животные были ошеломлены и подавлены. Они сами не знали, что их потрясло больше — измена сородичей, стакнувшихся с Цицероном, или жестокое возмездие, свершившееся на их глазах. При старом режиме подобные кровавые сцены были, разумеется, не редкость, но эта казалась им особенно страшной — они ведь разыграли ее сами. С тех пор как они избавились от Джонса, не было случая, чтобы одно животное убило другое. Даже крысу. И вот все поднялись на холм с наполовину отстроенной мельницей и вдруг, словно подчиняясь единому порыву, залегли в траве, тесно прижавшись друг к другу, — Хрумка, Мюриэл, Бенджамин, коровы, овцы, даже куры и утки — все, кроме кошки, которая загадочным образом исчезла за минуту до того, как Наполеон приказал всем собраться. Долго молчали. Работяга — он один, кстати, не лег — переминался с

ноги на ногу, обмахивал бока своим длинным черным хвостом и непроизвольно пофыркивал от недоумения. Наконец не выдержал:

— Не понимаю. Как такое у нас могло произойти? Подраспустились мы, вот что. Главное сейчас — работать еще лучше. С завтрашнего дня я встаю на час раньше.

И он тяжело затрусил в направлении карьера. Там он погрузил на тележку куски известняка, вдвое против обычного, и, пока не дотащил этот груз до мельницы, спать не ушел.

Хрумка лежала в середке, стиснутая безмолвной массой. С холма открывался прекрасный вид. Вся ферма лежала как на ладони — пастбище, тянущееся до самого большака, сочный луг, рощица, водопой, поля, где зеленела молодая пшеница, красные крыши хозяйственных построек, над которыми курился дымок. Погожий весенний день клонился к закату. Прощальные лучи солнца золотили траву и начинающие оживать зеленые изгороди. Никогда еще ферма не казалась столь желанной… хотя разве она им не принадлежала вся до последнего кустика? От этой красоты у Хрумки навернулись слезы на глаза.

Если бы она могла облечь в слова свои мысли, она бы сказала: нет, не к террору и кровавой

резне устремлялись их помыслы в ту незабываемую ночь, когда речь старого Майора зажгла в их сердцах пламя Восстания. Не об этом они мечтали, вступая на путь борьбы с тиранией человека. И если бы ее сейчас спросили, как она себе представляла будущее, ответ был бы, наверно, таким: общество, где животным неведом голод и удары кнута, где все равны и каждый трудится в меру отпущенных ему сил, где сильные оберегают слабых, как это некогда сделала она, огородив передней ногой заблудших утят. Но почему-то пришли совсем другие времена — когда все боятся говорить, что думают, когда каждый их шаг контролируют свирепые псы, когда на твоих глазах они рвут на части твоих товарищей, сознавшихся в каких-то невероятных преступлениях. При этом мысли о бунте или хотя бы о протесте не было у Хрумки. Она не сомневалась в том, что их нынешняя жизнь, при всех ее минусах, не шла ни в какое сравнение с временами Джонса и что не было задачи важнее, чем воспрепятствовать возвращению человека. Что бы ни случилось, она сохранит верность идеалам и самому товарищу Наполеону, будет работать не жалея сил и выполнять приказы. И тем не менее не об этом они мечтали, не во имя этого труди-

лись. Нет, не во имя этого они строили Мельницу и выходили под пули Джонса. Вот о чем думала Хрумка, не умея облечь свои мысли в слова.

И тогда она запела «Скот домашний, скот бесправный», чтобы хоть так излить свою душу. Лежавшие рядом животные подхватили песню и спели ее подряд три раза, как никогда еще не пели, — медленно и печально.

Только они закончили, как в сопровождении охраны подошел Деловой. Мысль государственной важности отражалась на его челе. Специальным декретом Наполеона, сказал он, песня «Скот домашний, скот бесправный» отменяется, всякий, кто будет ее исполнять, ответит перед законом.

Сообщение вызвало ропот недовольства.

— Почему отменяется? — вскричала Мюриэл.

— Нецелесообразно, — сухо ответил Деловой. — Песня звучала актуально, пока цели, провозглашенные Восстанием, не были достигнуты. Сегодня, товарищи, мы уничтожили предателей и тем самым поставили точку. Все враги, как внешние, так и внутренние, ликвидированы. Песня выражала нашу вековечную мечту о построении светлого будущего. Светлое будущее построено, — следовательно, песня изжила себя.

Как ни напуганы были животные, кое-кто уже готов был возмутиться, но тут овцы грянули свое коронное «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо» и не умолкали до тех пор, пока из протестующих не вышел весь запал.

Так с песней было покончено. Правда, вместо нее Шибздик сочинил новую, начинавшуюся так:

Свой уголок убрали мы цветами
И лакомимся все созревшими плодами.

Каждое воскресенье после подъема флага животные теперь исполняли сочинение Шибздика, но ни слова, ни музыка, по большому счету, не могли никого удовлетворить.

Глава восьмая

Несколько дней животные не могли прийти в себя после кровавой бойни, а когда немного успокоились, в памяти вдруг возникла, во всяком случае забрезжила, шестая заповедь: «Не убивай себе подобного». Напомнить о ней в присутствии свиньи или псов-охранников никто бы не рискнул, но все же трудно было отделаться от мысли, что состоявшаяся экзекуция не очень-то согласуется с тем, что когда-то было декларировано. Хрумка попросила Бенджамина прочесть ей вслух шестую заповедь, но осел в «эти дела» принципиально не вмешивался, пришлось обратиться к Мюриэл. Козочка прочла: «Не убивай себе подобного без повода». Странно, последние два слова как-то не отложились ни у кого в памяти. Но, главное, заповедь не была нарушена: тайные сообщники Цицерона дали серьезный повод к расправе.

Если животным и раньше было не до отдыха, то теперь стало и вовсе не продохнуть. Чего стоила одна мельница с крепостными стенами, которую следовало построить в жесткие сроки, а ведь еще была повседневная работа на ферме.

Порой у животных возникало такое ощущение, что, по сравнению с временами Джонса, работы прибавилось, а еды убавилось. По воскресеньям Деловой раскладывал перед собой этакую простыню и, прижав ее копытцем, сыпал цифрами, которые неопровержимо доказывали, что производство тех или иных продуктов возросло, соответственно, на двести, триста или пятьсот процентов.

У животных не было оснований ему не верить, тем более что подробности жизни при старом режиме уже несколько подзабылись. Но, вообще говоря, никто бы не отказался, если бы цифр было чуть меньше, а еды чуть больше.

Все приказы исходили от Делового или какой-нибудь другой высокопоставленной свиньи. Наполеон показывался на публике не чаще, чем раз в две недели. В его свиту теперь входили не только телохранители, но также и черный петел, вышагивавший впереди и громким кукареканием возвещавший о намерении патрона обратиться с речью к массам. Рассказывали, что живет Наполеон особняком от всех и что еду ему подают самые доверенные псы, причем исключительно на столовом сервизе «Королевские скачки». Из специального сообщения все узнали,

что ружье отныне будет стрелять также в день рождения Наполеона.

Впрочем, так его теперь никто не называл. Официально говорили «наш вождь товарищ Наполеон», но неистощимые на выдумки свиньи изобретали все новые и новые титулы: Отец всех животных, Гроза человечества, Кабаньеро, Защитник овец, Друг утят и проч. и проч. У Делового ручьями текли слезы, когда он рассказывал о мудрости Наполеона, о его добром сердце и безграничной любви ко всем животным, особенно к тем несчастным, что живут на других фермах в рабстве и во мраке невежества. Как-то само собой вошло в привычку приписывать Наполеону любое свершение и вообще любую радость. Можно было услышать, как одна курица говорит другой: «Под руководством любимого вождя я снесла пять яиц за шесть дней», или как две коровы восклицают на водопое: «Спасибо товарищу Наполеону за нашу чистую воду!» Общие чувства хорошо выразил Шибздик, сочинивший следующий гимн:

Наш вождь и учитель,
Детей попечитель,
Надежный хранитель лесов и полей!
Зимою и летом

Тобою согреты,
Ты стал нашим светом,
Свинья из свиней!

Довольно в кормушке
Овса и болтушки,
Коню и несушке живется сытней.

Пусть знают соседи,
От скотниц до леди:
Ведет нас к победе
Свинья из свиней!

Любой поросенок.
Пусть мало силенок.
Стремится с пеленок кричать посильней:
«За свинскую эру!
За новую веру!
Ура Кабаньеро,
Свинье из свиней!»

Наполеону сочинение понравилось, и он велел написать текст на стене большого сарая, противоположной той, где были начертаны семь заповедей. Над гимном Деловой запечатлел в

профиль Отца всех животных.

Между тем Наполеон через Уимпера вел сложные переговоры с соседями-фермерами, а лес лежал непроданный. Фредерик проявлял большую заинтересованность, но не давал настоящую цену. Кроме того, опять поползли слухи, что Фредерик хочет прибрать к рукам «Скотный двор» и разрушить ненавистную ему мельницу. То-то он продолжал укрывать у себя Цицерона. В середине лета тревожное известие всколыхнуло ферму: три несушки заявили о том, что по наущению Цицерона они собирались отравить Лучшего друга птиц.

Несушек казнили на месте, а что касается Лучшего друга птиц, то были предприняты дополнительные меры по его охране. Ночной покой Наполеона оберегали четыре пса, располагавшиеся так, чтобы ни с одной стороны невозможно было приблизиться к кровати, а молоденькая хрюшка по кличке Розанчик снимала пробу с приготовленных для него кушаний, поскольку в каждом мог быть яд.

Однажды животным объявили, что Наполеон продает лес мистеру Пилкингтону; он намерен также осуществлять на долгосрочной основе обмен натуральными продуктами между «Скотным

двором» и «Фоксвудом». За последнее время отношения у Наполеона с Пилкингтоном, хотя и через посредника, стали почти дружескими. Для животных Пилкингтон был прежде всего человек и уже потому не заслуживал доверия, но уж лучше, считали они, иметь дело с ним, чем с Фредериком, вызывавшим у них смешанное чувство страха и ненависти. По мере того как строительство ветряной мельницы близилось к завершению, слухи о готовящемся предательском ударе становились все более тревожными. Как будто Фредерик уже поставил под ружье двадцать человек, а также подкупил магистрат и полицию, с тем чтобы власти не задавали лишних вопросов, когда он заявит свои права на «Скотный двор». Страшные просачивались из «Пинчфилда» истории о том, как Фредерик истязает домашний скот. Он насмерть засек кнутом старую конягу, морил голодом коров, он заживо сжег в печи собаку, а по вечерам забавлялся петушиными боями, предварительно привязав к шпорам сражающихся обломки бритвенных лезвий. У обитателей «Скотного двора» кровь вскипала в жилах, когда они слышали, как обращаются с их товарищами, у них давно чесались ноги напасть всем стадом на «Пинчфилд» и освободить своих собратьев,

но Деловой предостерегал их от насильственных действий, призывая всецело положиться на мудрого стратега товарища Наполеона.

Словом, все имели зуб на Фредерика — даже те, кто зубов не имел. В одно из воскресений Наполеон пожаловал в большой сарай. Фредерику, сказал он, не видать нашего леса, как своих ушей; мы не опустимся, сказал он, до разговора с таким отребьем! Голубям, этим разносчикам правды о Восстании, было строго-настрого приказано облетать стороной «Пинчфилд», а прежний призыв «Смерть человеку!» изменить на «Смерть Фредерику!».

Ближе к осени обнаружилось новое подтверждение гнусным проискам Цицерона. Пшеничное поле заросло сорняками, чему сразу отыскалась причина: весной во время одного из своих ночных визитов Цицерон смешал посевной материал с семенами растений-вредителей. Гусак, помогавший Цицерону в его гнусной диверсии, сам сознался в этом Деловому, после чего покончил жизнь самоубийством, проглотив ягоды паслена. Цицерон, как неожиданно для себя узнали животные, оказывается, никогда не получал медали «Животная доблесть» 1-й степени. Это была красивая легенда, которую он

сам распространил после Битвы при Коровнике. В действительности же его не только не представляли к награде, но, наоборот, вынесли ему порицание за проявленную в бою трусость.

И вновь животные были озадачены столь крутым поворотом, и вновь Деловой сумел им доказать, что их подвела память.

В начале осени ценой колоссальных, неимоверных усилий — ибо одновременно требовалось убрать урожай — мельница была построена. Еще предстояло завезти оборудование, о чем сейчас хлопотал Уимпер, но ветряк — вот он! — стоял готовенький. Невзирая на тысячи осложнений, на отсутствие опыта и примитивные орудия труда, на невезение, на вредительство Цицерона, работа была закончена в срок, день в день! Усталые, но довольные животные долго ходили вокруг ветряного чуда, казавшегося им еще прекраснее, чем предыдущее. Одни только стены чего стоили. Теперь их возьмешь разве что динамитом! Сколько же труда было положено, сколько препятствий преодолено, зато теперь будет не жизнь, а малина: мельничные крылья сами вертятся, динамо-машина сама крутится… от этих мыслей усталость как хвостом снимало, животные резвились словно дети, визжа от радо-

сти. Сам Наполеон в окружении свиты посетил готовый объект и поздравил всех со знаменательным событием присвоением мельнице его, Наполеона, имени.

Спустя два дня животных в экстренном порядке собрали в сарае. Как гром среди ясного неба прозвучало сообщение, что лес продан Фредерику. Завтра он начнет его вывозить. Оказывается, все это время, пока развивалась и крепла дружба с Пилкингтоном, Наполеон по тайным каналам вел интенсивные переговоры с Фредериком.

В тот же день отношения с «Фоксвудом» были разорваны и в адрес Пилкингтона направлена нота оскорбительного содержания. Голуби получили строжайший наказ облетать стороной «Фоксвуд», а призыв «Смерть Фредерику!» изменить на «Смерть Пилкингтону!». Наполеон заверил животных, что готовящееся якобы нападение на «Скотный двор» не более чем досужий вымысел, а все эти россказни о небывалой жестокости Фредерика ломаного гроша не стоят. Скорее всего подобные слухи распускали Цицерон и его агенты.

Кстати, Цицерон сейчас не прячется в «Пинчфилде» и, если уж на то пошло, никогда там не прятался, на самом деле все эти годы живет-по-

живает в «Фоксвуде» в роскошных условиях, на всем готовеньком.

Изощренное хитроумие Наполеона привело даже пожилых свиней в поросячий восторг. Всячески демонстрируя свое благорасположение к Пилкингтону, он вынудил Фредерика поднять цену за лес на двенадцать фунтов. Но это еще что!

Главная хитрость, пояснил Деловой, состоит в том, что Наполеон не доверяет до конца никому, даже Фредерику. Тот хотел было заплатить за лес так называемым чеком, который, насколько можно судить, есть не что иное, как бумажка с обещанием выдать определенную сумму. Но товарищу Наполеону палец в рот не клади! Он потребовал живые деньги пятифунтовыми банкнотами, причем вперед, до того как будет вывезен лес. Так вот, деньги уже уплачены, и этой суммы хватит на то, чтобы приобрести необходимое оборудование для мельницы.

Лес был вывезен с быстротой, достойной удивления. И вот животных снова пригласили в сарай — взглянуть на живые деньги. На возвышении, утопая в соломе, возлежал сияющий Наполеон (сиял он сам, сияли начищенные медали), а рядом, на блюде китайского фарфора, аккуратной стопкой возлежали дензнаки.

Животные медленно проходили мимо денег, и каждое успевало в полной мере насладиться редким зрелищем. Работяга даже обнюхал банкноты, и они — беленькие, невесомые всколыхнулись, зашуршали.

А три дня спустя разразилась буря. Бледный как полотно Уимпер подлетел к дому на своем велосипеде, не глядя бросил его на землю и быстро скрылся за дверью. Через минуту из апартаментов Наполеона донесся поистине звериный рев. Ошеломляющее известие, словно пожар, мгновенно распространилось по всей ферме. Банкноты были — поддельные! Лес достался Фредерику даром!

Наполеон протрубил общий сбор и громовым голосом зачитал Фредерику смертный приговор. Животные сварят его живьем разумеется, когда схватят.

После такого вероломства, предупредил Наполеон, следует ждать самого худшего. В любую минуту Фредерик и его люди могут осуществить давно вынашиваемый план напасть на «Скотный двор». На этот случай у каждого входа и выхода были выставлены часовые. Четверку голубей срочно послали в «Фоксвуд» с мирным посланием в надежде восстановить с Пилкингтоном

добрососедские отношения.

Наутро ферма подверглась нападению. Все завтракали, когда примчались дозорные с криками, что Фредерик и его команда вломились в главные ворота.

Животные смело атаковали противника, но до успеха, сопутствовавшего им в Битве при Коровнике, было далеко. Им противостояли пятнадцать мужчин, многие были вооружены и, едва сблизившись, открыли огонь. Оглушительная пальба, свист дроби — все это внесло смятение в ряды животных, и, как ни подбадривали их Наполеон и Работяга, они отступили. Появились первые раненые. Животные укрылись в хозяйственных постройках и осторожно выглядывали из щелей. Весь огромный выгон вместе с мельницей был в руках врага. Даже Наполеон приуныл, хвостик у него напрягся и как-то нервно подергивался. Он молча расхаживал взад-вперед, тоскливо поглядывая в сторону «Фоксвуда». Эх, если бы Пилкингтон пришел им на подмогу… Тут как раз вернулась четверка голубей с ответным посланием. На клочке бумаги Пилкингтон карандашом нацарапал: «За что боролись, на то и напоролись».

Между тем отряд Фредерика остановился перед

ветряком. У двоих в руках появились ломик и кувалда. Животные в ужасе загудели. Сейчас начнут крушить их чудо-мельницу.

— Ничего у них не выйдет, — вскричал Наполеон. — Наши стены самые толстые в мире — за неделю не сломаешь! Без паники, товарищи!

Двое, вооруженные ломиком и кувалдой, делали пробоину в фундаменте.

Бенджамин, пристально следивший за каждым их движением, покивал со знанием дела:

— Ну-ну. Еще не поняли? Сейчас они туда заложат взрывчатку.

При всем трагизме положения надо было ждать — выйти из укрытий не представлялось возможным. Через несколько минут люди Фредерика бросились врассыпную. Раздался оглушительный взрыв. Голубей с крыш словно сдуло; остальные, ислючая одного Наполеона, зарылись в солому. Когда все снова поднялись, над землей висело огромное черное облако, его медленно относило ветром в сторону. Мельница была стерта с лица земли!

И тут животные словно воспрянули духом. Владевшие ими страх и отчаяние уступили место ярости при виде такого вопиющего варварского акта. Праведная месть, переполнявшая сердца,

вылилась в мощный рев, от которого содрогнулись стены. Не дожидаясь приказа, животные лавиной хлынули на врага. Ружейная дробь секла их, как сильный град, но ничто уже не могло их остановить. Это была жестокая кровавая битва. Люди не жалели зарядов, а когда дошло до ближнего боя, в ход были пущены дубинки и тяжелые сапоги. Три овцы, корова и два гусака пали бездыханными, раненых же было не счесть. Даже у Наполеона, руководившего сражением из глубокого тыла, срезало кончик хвоста. В стане противника тоже не обошлось без потерь. Троим разбил голову Работяга своими копытами, одному корова пропорола рогами живот, еще один, имевший дело с Джесси и Бесси, остался, можно сказать, без штанов. Когда же все девять псов из наполеоновской охраны, совершив по его указанию фланговый обход под прикрытием зеленой изгороди, неожиданно выскочили с бешеным лаем, людей охватила паника: им грозило окружение. Фредерик закричал, что надо отступать, пока не отрезан путь назад, и трусливо обратился в бегство.

Животные гнали их через все поле и наддали несколько раз напоследок, прежде чем те успели продраться сквозь колючую изгородь.

Победа досталась дорогой ценой. Измученные, истекающие кровью животные заковыляли обратно. При виде павших товарищей у многих наворачивались слезы на глаза. В скорбном молчании постояли на том месте, где еще час назад возвышалась мельница. Что от нее осталось? Что осталось от вложенного в нее труда? Даже фундамент был разрушен, а камни — где они? Их разметало ударной волной. От мельницы осталось одно воспоминание.

У входа на ферму животных встретил Деловой, неизвестно где пропадавший во время сражения. Он разлетелся им навстречу весь сияющий, с ликующе задранным хвостиком. Со стороны хоздвора вдруг бабахнуло ружье.

— Зачем это? — удивился Работяга.

— В честь нашей победы! — воскликнул Деловой.

— Какой еще победы?

Вид у Работяги был плачевный: колени кровоточили, одно копыто треснуло, в задней ноге засело с десяток дробинок, еще и подкова к тому же потерялась.

— Товарищ, как ты можешь! — возмутился Деловой. — Разве мы не очистили от врага эту землю, священную землю, на которой паслись

наши предки?

— Мельница погибла, два года труда погибло, — гнул свое Работяга.

— Эко дело! Новую построим. А захотим — шесть таких построим. Ты, товарищ, недооцениваешь историческое значение нашей победы. Враг хотел превратить нас в скотов, но товарищ Наполеон дал достойный отпор. Мы не позволили себя поработить.

— Значит, мы теперь не скот? — спросил Работяга.

— Скот, — подтвердил Деловой, — и это высокое звание мы отстояли в смертельном бою.

Животные, прихрамывая, входили во двор. У Работяги мучительно ныла нога, в которой засели дробинки. Он представлял себе, какого адова труда потребует полное восстановление мельницы, и мысленно уже проделывал эту работу, но, кажется, впервые задумался он о том, что ему, ни много ни мало, одиннадцать годков, еще год-другой — и конец.

Но стоило животным увидеть реющее на флагштоке зеленое знамя, стоило им услышать семь ружейных залпов в свою честь и хвалебную речь Наполеона, как они начали укрепляться в мысли, что они и впрямь одержали великую победу.

Похороны павших прошли торжественно. Работяга и Хрумка тянули подводу, служившую катафалком, а за ней следовала траурная процессия во главе с самим Наполеоном. Два дня праздновали победу. Много было песен, речей и пальбы из ружья, каждому животному выдали по яблоку (собакам — по три лепешки), а птицам — по две меры зерна. Было объявлено, что сражение войдет в историю под названием Битва за Мельницу и что учреждена боевая награда — орден Зеленого Знамени, который товарищ Наполеон вручил себе лично. Среди торжеств как-то забылась неприятная история с банкнотами.

Вскоре кто-то из свиней обнаружил в подвалах ящик виски. Видимо, первый осмотр усадьбы был недостаточно тщательным. Вечером в доме зазвучали песни, среди которых животные к своему удивлению услышали «Скот домашний, скот бесправный». Около половины десятого их ждал новый сюрприз: во двор с черного хода вышел Наполеон в котелке мистера Джонса и, сделав резвый круг, снова скрылся за дверью. Все утро в доме царила гробовая тишина. Свиньи не подавали признаков жизни. В девять перед животными предстал Деловой: каждый шаг давался ему с большим трудом, вообще он был какой-то

смурной — взгляд мутный, хвост опущен, рыло оплывшее. Он созвал всех обитателей фермы, чтобы сообщить им страшное известие: товарищ Наполеон умирает.

Горестный вопль вырвался из сотни глоток. Перед домом положили солому и даже после этого ходили на цыпочках. Со слезами на глазах все спрашивали друг друга, как они будут жить, если что-нибудь случится с любимым вождем.

Пронесся слух, что Цицерон все же исхитрился отравить пищу товарища Наполеона. В одиннадцать Деловой вышел с новым сообщением — уходя от нас, товарищ Наполеон издал свой последний декрет: за употребление алкоголя — смертная казнь.

К вечеру, однако, состояние вождя несколько улучшилось; на следующее утро было официально объявлено, что опасность миновала. Уже в этот день Наполеон занялся важнейшими делами. А днем позже стало известно, что он поручил Уимперу приобрести в городе специальную литературу по самогоноварению. Спустя неделю от отдал приказ распахать участок, который отводился ранее под выгон для будущих пенсионеров. Это оправдывалось тем, что пастбище якобы истощено и будет наново засеиваться травой,

но вскоре все узнали о намерении Наполеона посеять там ячмень.

Об эту пору произошел странный инцидент, никто так толком и не понял, что случилось. Однажды около полуночи во дворе раздался громкий треск, все повыскакивали из своих угонов. Ночь была лунная. Возле большого сарая у торцовой стены, где красовались семь заповедей, лежала на земле приставная лестница, сломавшаяся посередине. Рядом в некоторой прострации лежал Деловой, и здесь же валялись фонарь, малярная кисть и перевернутое ведро с белой масляной краской. Псы мгновенно взяли Делового в кольцо и, как только он сумел встать на ноги, препроводили его в дом. Животные ровным счетом ничего не поняли, но старый Бенджамин со знанием дела покачал головой, хотя и не произнес ни слова.

Когда через какое-то время козочка Мюриэл решила освежить в памяти все заповеди, неожиданно выяснилось, что память в очередной раз подвела ее.

Впрочем, не одна Мюриэл помнила пятую заповедь в таком виде: «Не пей». Но было, оказывается, еще слово, которое напрочь вылетело у всех из головы.

По-настоящему пятая заповедь звучала так: «Не

пей лишку».

Глава девятая

Долго не заживало у Работяги треснувшее копыто. На следующий же день по окончании торжеств началось восстановление мельницы. Битюг первым включился в работу и ни разу — для него это было делом чести — не подал виду, что ему больно. Лишь вечером, оставшись наедине с Хрумкой, он признавался, как он страдает. Хрумка лечила его копыто травами, которые она предварительно пережевывала. Вместе с Бенджамином она уговаривала Работягу поберечь себя.

«Смотри, надорвешься», — часто повторяла Хрумка, но все впустую. У Работяги была одна мечта — довести дело до конца, прежде чем он уйдет на заслуженный отдых.

В свое время, когда животные принимали законы, был определен пенсионный возраст: для лошадей и свиней — двенадцать лет, для коров — четырнадцать, для собак — девять, для овец — семь, для кур и гусей — пять. Тогда же было назначено вполне приличное обеспечение по старости. Пока еще никто не достиг критического возраста, однако все эти вопросы постоянно муссировались. После того как прилегающий к саду

участок засеяли ячменем, стали поговаривать о том, что взамен будет огорожена часть пастбища. Каждая лошадь могла рассчитывать на пять мер овса в день летом и мешок сена зимой, плюс морковка или яблочко по праздникам. Работяге должно было исполниться двенадцать лет следующей осенью.

А пока жизнь не баловала. Зима опять выдалась холодная, запасов же съестного было едва ли не меньше. В очередной раз всем (кроме свиней и псов-охранников) урезали пайки. Жесткая уравниловка, пояснил Деловой, противоречит принципам анимализма. Вообще он с легкостью доказал, сколь обманчиво впечатление, будто еды не хватает. Даже с учетом упорядочения дневной нормы (Деловой предпочитал говорить «упорядочение» вместо режущего ухо «сокращения») с продовольствием дело обстояло много лучше, чем во времена Джонса. Своим пронзительным голосом он зачитывал скороговоркой длинный перечень цифр, неопровержимо свидетельствовавших о том, что теперь у них больше овса и сена и кормовой свеклы, что рабочий день стал короче, вода вкуснее и чище, что детская смертность уменьшилась, а продолжительность жизни увеличилась, что соломы в стойлах при-

бавилось и блохи уже не так им докучают, как прежде. Животные охотно соглашались. Отчасти еще и потому, что времена Джонса, как и он сам, почти не сохранились в их памяти. Они понимали, что их жизнь тяжела и беспросветна, что они холодают и голодают, что, кроме работы и короткого сна, ничего-то им неведомо. Но, конечно, тогда было гораздо хуже. Очень хотелось в это верить. Тем более, что тогда они были подневольными, а нынче свободными, «чувствуете разницу?» бил в одну точку Деловой.

На ферме появилось много лишних ртов. Осенью опоросились сразу четыре свиньи, а это означало дополнительно тридцать одно рыло. Помет был весь пегий. Кроме Наполеона других производителей на ферме не было, вопрос об отцовстве решался однозначно. Уже планировалось купить кирпичи и доски для строительства поросячьей школы, а пока малыши брали первые уроки на кухне, и занимался с ними сам Наполеон. Для детских игр им отвели фруктовый сад, наказав держаться подальше от прочих юных отпрысков. Тогда же вышел указ, что, если свинья столкнется с кем-либо на узкой дорожке, всякий встречный обязан ее пропустить. И еще был указ: всем свиньям, независимо от чинов и званий,

разрешалось по воскресеньям повязывать на хвостике зеленый бант.

Урожай в этом году оказался неплохой, тем не менее с финансами было туго. А ведь еще нужны деньги на стройматериалы для школы и на оборудование для очередной мельницы. Постоянно требовались в доме свечи и керосин, сахар для вождя (остальным свиньям возбранялось употреблять его во избежание ожирения), требовались различные инструменты, гвозди, веревки, уголь, проволока, металлический лом, мука для собачьих лепешек. Пришлось продать копну сена и часть урожая картофеля, а продажу яиц довести до шести сотен в неделю, так что высиженных цыплят едва хватило для сохранения куриного рода.

Урезанные в декабре пайки в феврале опять урезали, для экономии керосина запретили зажигать фонари в стойлах. Только свиньи, похоже, ни в чем себе не отказывали — вон какие нагуляли бока!

Однажды, февраль был на исходе, по ферме распространился густой горячий дразнящий запах, доселе неведомый животным: он исходил из пивоварни, бездействовавшей при Джонсе. Кто-то сказал, что такой запах бывает, когда варят

ячмень. Животные жадно втягивали ноздрями воздух, гадая, уж не готовят ли им на ужин теплую мешанку. Нет, мешанки они не дождались, зато наутро в воскресенье им объявили, что отныне весь ячмень забирается в пользу свиней; уже и поле было засеяно, что за фруктовым садом. А вскоре просочились слухи: каждая свинья получает теперь в день кружку пива, а Наполеон — две, но даже не эти две кружки поразили воображение животных, сколько эффектная подробность, что вождю подают хлебово в супнице из сервиза «Королевские скачки».

Что там говорить, жизнь обитателей «Скотного двора» не была усеяна розами, но разве все тяготы не компенсировались, хотя бы отчасти, возросшим чувством собственного достоинства? Когда они пели столько песен, произносили столько речей, участвовали в стольких маршах? Наполеон распорядился, чтобы раз в неделю проводилась стихийная демонстрация в честь побед и свершений. В назначенное время животные прекращали работу и, построившись в боевую колонну, дружно, в ногу шагали по лугам и полям, из конца в конец, — впереди свиньи, за ними лошади, коровы, овцы и наконец домашняя птица. Возглавлял шествие Наполеонов глашатай,

черный петел, а справа и слева располагались псы-охранники. Работяга и Хрумка всегда несли знамя, на зеленом полотнище которого, поверх рогов и копыт, было начертано: «Да здравствует Наполеон!»

После стихийной демонстрации так же стихийно произносились оды, прославлявшие товарища Кабаньеро, Деловой приводил последнюю сводку о продуктовом изобилии, при случае палили из ружья. Самыми охочими до стихийных демонстраций были овцы, и стоило только кому-то забрюзжать (среди своих, разумеется), что-де это напрасная трата времени, мол-де, зазря мерзнем, как овцы принимались скандировать: «Четыре ноги хорошо, две ноги плохо!» Потом, кстати, многие даже полюбили эти мероприятия. Когда тебе напоминают о том, что ты сам себе хозяин и работаешь исключительно на себя, согласитесь, это действует чрезвычайно благотворно. Песни и праздничные шествия, впечатляющие цифры Делового и ружейный салют, оптимистический голос петела и торжественный подъем флага — все это, несомненно, отвлекало от мыслей, что в брюхе пусто… по крайней мере на время.

В апреле «Скотный двор» был провозглашен республикой и встал вопрос об избрании

президента. Кандидатура Наполеона была единственной, что способствовало стопроцентному успеху выборной кампании. В эти дни опять заговорили о Цицероне: обнаружились новые документы, изобличающие его в пособничестве Джонсу. До сих пор считалось, что он только замышлял привести животных к поражению в Битве при Коровнике, но, оказывается, он открыто сражался на стороне врага. По сути, он возглавил вражеское войско и повел его в бой с криком «Бей скотов!». Что касается Цицероновых ран (кое-кто еще помнил, как они кровоточили), то их оставили клыки Наполеона.

В середине лета вдруг объявился ворон Моисей, о котором несколько лет ничего не было слышно. Годы его не изменили, он все так же бил баклуши и мог часами разглагольствовать о Елинесейских полях. Облюбовав пенек, он по-ораторски отставлял крыло и начинал говорить, даже если перед ним находился всего один слушатель. «Там, — значительно произносил он, показывая клювом наверх, там, за этой черной тучей, раскинулись Елинесейские поля — благодатный край, где мы забудем само слово „труд”…» Моисей как будто даже залетал пару раз в эти заоблачные выси и воочию видел вечнозеленые пастбища,

и соцветия из льняного жмыха, и удивительные цветы с сахарными головками. Многие ему верили. Если в земной жизни им выпало изо дня в день работать и недоедать, разве не должен где-то существовать другой мир, где все устроено лучше и справедливее? Отношение свиней к Моисею было несколько двусмысленным. Публично шельмуя ворона как лжеца, они, однако, не только не прогнали его с фермы, но еще и поставили этого бездельника на довольствие 3 кружки пива в день.

Когда копыто у Работяги зажило, он стал выполнять свои обязанности тяжеловоза с удвоенным рвением. Надо сказать, все, даже гуси и куры, пахали весь этот год, как лошади. К повседневным заботам и необходимости опять восстанавливать мельницу добавилось строительство поросячьей школы, начатое в марте. Тяжело, конечно, на пустой желудок таскать известняковые глыбы, но Работяга держался. Внешне он никак не показывал, что сила у него уже не та.

Если его что и выдавало, так это кожа, потерявшая свой блеск, да еще, пожалуй, круп, уже не казавшийся столь мощным. Многие говорили: «Ничего, весной доберет», но прошла весна, а Работяга так и не восстановил былые кондиции.

Когда он невероятным усилием вытаскивал из карьера особенно крупную глыбу, со стороны казалось, что, если бы не эта истовая вера, он бы давно рухнул бездыханный. В такие минуты по его губам можно было прочесть: «Работать еще лучше»; на большее не хватало сил. И снова Хрумка с Бенджамином уговаривали его поберечь себя, и снова он не внимал голосу разума. Накануне своего двенадцатилетия он думал лишь об одном — как бы побольше заготовить известняка.

Однажды под вечер вдруг пронесся слух — что-то случилось с Работягой, который в одиночку таскал камни для мельницы. Слух очень быстро подтвердили голуби: «Он упал! Он лежит на боку и не может подняться!»

Половина обитателей фермы помчалась к холму. Возле тележки лежал Работяга со странно вывернутой шеей и даже не пытался оторвать морду от земли. Глаза у него остекленели, бока лоснились от пота. Изо рта тянулась запекшаяся струйка крови. Хрумка упала на колени.

— Ну что? Как ты?

— С легкими что-то, — слабым голосом ответил Работяга. — Неважно… теперь вы сможете закончить сами. Камней должно хватить. Так и так через месяц мне на пенсию. Знаешь, я все думаю:

скорей бы уж. Бенджамин тоже старый… может, вместе уйдем…

— Срочно нужна помощь, — вскинулась Хрумка. — Сбегайте кто-нибудь на ферму и расскажите все Деловому.

Животные бросились выполнять поручение. Остались только Хрумка и Бенджамин — он улегся рядом с Работягой и молча отгонял от него мух своим длинным хвостом. Минут через пятнадцать появился Деловой — сама озабоченность и сострадание. Товарищ Наполеон, сказал он, очень близко к сердцу принял несчастье, случившееся с лучшим работником фермы, и уже ведет переговоры о том, чтобы поместить его в городскую лечебницу. Это сообщение вызвало некоторую тревогу. Кроме Молли и Цицерона никто и никогда не покидал пределов фермы, и одна мысль, что их больной товарищ попадет в руки человека, была им неприятна. Но Деловой легко их убедил — в Уиллингдоне ветеринар скорее сумеет сделать все необходимое. Через полчаса Работяге стало немного получше, ему помогли подняться и отвели в стойло, где Бенджамин и Хрумка уже настелили свежую солому.

Работяга провел в стойле два дня. Свиньи обнаружили в ванной аптечку, а в ней большой

флакон с розовой жидкостью — это лекарство Хрумка давала больному два раза в день после еды. По вечерам она ложилась рядом и что-нибудь ему рассказывала, а Бенджамин отгонял мух. Работяга не пал духом.

После выздоровления он рассчитывал прожить еще года три, мирно пощипывая травку на пенсионном лужке. Наконец-то у него будет время заняться самообразованием. Остаток дней он хотел посвятить изучению последующих двадцати двух букв алфавита.

Вечерами, как было сказано, больного навещали друзья, но днем он оставался один, и именно в это время за ним пожаловал закрытый фургон.

Животные пропалывали сорняки под наблюдением свиньи, когда их взору предстала невиданная картина: со стороны фермы галопом мчался старый осел и орал что было мочи. Впервые они видели всегда невозмутимого Бенджамина в таком возбужденном состоянии, да и прыти такой никто от него не ожидал.

«Скорей, скорей! — кричал осел. — Они забирают Работягу!» Не спросясь у свиньи, животные побросали тяпки и побежали к ферме. И точно: во дворе стоял большой наглухо закрытый фургон с надписью на боку, на козлах восседал плуто-

ватого вида человек в котелке с низкой тульей. Стойло Работяги было пустым.

Животные сгрудились вокруг фургона.

— До свиданья, Работяга! — закричали все наперебой. — Скорее возвращайся!

— Болваны! — взревел Бенджамин и запрыгал, затопотал копытами. — Болваны! Вы посмотрите, что тут написано!

Произошло некоторое замешательство. Мюриэл начала разбирать текст по складам, но Бенджамин протиснулся вперед и прочел вслух при гробовом молчании:

— «Альфред Симмондс, забой скота. Дубленая кожа, клейстер, костная мука». Ну, поняли? Они везут его на живодерню!

Вопль ужаса вырвался из десятка глоток. Человек, сидевший на козлах, протянул кнутом двух своих лошадок, и те резво взяли с места в карьер.

Животные с криком бросились вдогонку. Хрумка бежала первой, но фургон успел набрать скорость. При всей своей грузности Хрумка перешла на легкий галоп.

— Работяга! — звала она друга. — Мы здесь! Мы здесь!

Неизвестно, что расслышал Работяга в общем шуме, но вдруг в заднее оконце просунулась его

морда с белой полосой.

— Вылезай! — кричала Хрумка не своим голосом. — Вылезай немедленно! Они хотят тебя убить!

Все подхватили:

— Вылезай, Работяга, вылезай!

Фургон отрывался от них с каждой минутой. Трудно сказать, понял ли Работяга, о чем ему кричали, но морда его исчезла, и в следующую секунду судорожные удары копыт начали сотрясать фургон. Он предпринял попытку выбраться наружу. Было время, когда трех-четырех его ударов хватило бы, чтобы разнести этот фургон в щепы, но сейчас он был слишком слаб и очень быстро затих. Тогда животные, отчаявшись, стали уговаривать лошадок остановиться.

— Товарищи, братья, — взывали они, — вы же везете его на верную смерть!

Но глупая скотина, не понимавшая, о чем сырбор, только прибавляла шаг.

С опозданием кому-то пришло в голову закрыть главные ворота — фургон уже проскочил их и удалялся. Больше Работягу не видели.

Спустя три дня стало известно, что Работяга скончался в ветлечебнице, хотя было сделано все возможное и даже невозможное. Об этом

рассказал Деловой, ни на шаг не отходивший, по его собственным словам, от умирающего.

— У меня сердце разрывалось! — Деловой смахивал слезу копытцем. — Он отошел, можно сказать, у меня на руках. Перед тем как испустить дух, он прошептал одними губами, что ему было бы легче уйти из жизни, если бы мельница уже стояла. «Вся надежда, товарищи, на вас, — прошептал он. — С честью несите знамя Восстания. Да здравствует „Скотный двор”! Да здравствует товарищ Кабаньеро! Наполеон всегда прав». Это были его последние слова.

Тут Деловой странным образом переменился. Он вдруг умолк, а его подозрительные глазки-пуговки зашныряли по всем, кто его слушал.

Деловой сказал, что в день, когда увезли Работягу, распространился гнусный слушок. Кто-то прочел на фургоне надпись «Забойщик скота» и сделал отсюда скоропалительный вывод, что битюга забрали на живодерню. Большего абсурда нельзя себе вообразить. «Как вы могли! — визжал Деловой, суча ножками, и хвостик у него при этом нервно подергивался. — Как вы могли такое подумать о любимом вожде, о нашем Кабаньеро!» На самом деле разгадка была проста. Ветеринар совсем недавно купил фургон у забойщика скота

и еще не успел закрасить старую надпись. А из этого накрутили бог знает что!

У животных словно камень с души свалился. Когда же Деловой описал в красках просторную палату, куда поместили Работягу, и прекрасный уход, и дорогие лекарства, на которые Наполеон не пожалел никаких денег, последние сомнения рассеялись, и чувство горечи по поводу смерти друга смягчила мысль о том, что по крайней мере это была легкая смерть.

В ближайшее воскресенье Наполеон почтил своим присутствием утреннюю летучку и произнес короткую речь в честь безвременно ушедшего товарища. К сожалению, сказал он, не удастся перевезти на ферму его бренные останки, но зато из лавра, что растет в саду, будет сделан большой венок, который украсит его могилу. Кроме того, свиньи намерены устроить в своем узком кругу траурный банкет. В конце своей короткой речи Наполеон напомнил присутствующим два любимых девиза покойного: «Работать еще лучше» и «Наполеон всегда прав». Пусть каждый, сказал он, воспримет эти девизы как свои собственные.

В день, когда должен был состояться траурный банкет, бакалейщик из Уиллингдона доставил в усадьбу нечто тяжелое и тщательнейшим обра-

зом упакованное. Вечером дом огласило мощное хоровое пение, которое позже, судя по ряду признаков, перешло в бурную ссору. А закончилось все около одиннадцати оглушительным звоном стекла. До середины следующего дня дом стоял как вымерший. Поговаривали, что свиньи сумели где-то раздобыть денег на ящик виски.

Глава десятая

Прошли годы. Зимы сменялись веснами, пролетал короткий век животных.

Кроме Хрумки, Бенджамина, ручного ворона и нескольких свиней не осталось больше живых свидетелей старого режима.

Умерла Мюриэл, умерли Бесси, Джесси и Пинчер. Джонс тоже умер — далеко от родных мест, в лечебнице для хронических алкоголиков. О Цицероне давно уже не вспоминали. Не вспоминал никто и о Работяге — кроме тех немногих, кто его знал. Хрумка располнела и постарела, у нее было неважно с суставами, и глаза все чаще слезились. Пенсионного возраста она достигла два года назад, но вопрос с пенсией оставался пока открытым. Разговоры о том, чтобы огородить для престарелых животных часть пастбища, давно, как говорится, замяли для ясности. Наполеон вошел в пору зрелости и весил ни много ни мало полтора центнера. У Делового глазки совсем заплыли от ожирения. А вот старый Бенджамин почти не изменился, разве что стал еще более мрачным и замкнутым после смерти Работяги, да и морда заметно поседела.

До изобилия, о котором когда-то мечталось, было, пожалуй, еще далеко, а вот ртов существенно прибавилось, это факт. Выросло целое поколение, знавшее о великой Битве только понаслышке, иные были приобретены на торгах — этим слово «восстание» и вовсе ничего не говорило. В конюшне появились три новые лошади — статные, ладные, настоящие трудяги и хорошие товарищи, но, что называется, бог ума не дал. Дальше буквы «В» ни одна из них не продвинулась.

Они с готовностью принимали все на веру — величие одержанной над Джонсом победы, принципы анимализма — особенно когда это исходило от Хрумки, которая заменила им мать; но, конечно же, глубинный смысл этих понятий был им недоступен.

Хозяйство нынче выглядело более организованным, и дела велись на широкую ногу. Владения «Скотного двора» расширились за счет земель, приобретенных у мистера Пилкингтона. Строительство ветряной мельницы благополучно завершилось, появились собственные молотилка и транспортер, выросли новые постройки. Уимпер купил двухколесный экипаж. Кстати, о мельнице. Хотя динамо-машину для преобразования энергии ветра в электрическую так и не

поставили, все же она исправно молола зерно, что приносило устойчивый доход. Сейчас животные ударными темпами строили вторую мельницу, на которой опять-таки намечалось поставить динамо-машину, правда, красивой жизни, в свое время предсказанной Цицероном (электрифицированные стойла с горячей и холодной водой, трехдневная рабочая неделя и все такое прочее), уже никто не обещал. Наполеон заявил, что подобные идеи противоречат духу анимализма. Подлинное счастье, учил он, в постоянном труде и отказе от всего лишнего.

Общее впечатление, надо сказать, было такое, что богатеет ферма, но никак не ее обитатели — свиньи и собаки, разумеется, не в счет. Не потому ли, что очень уж их много, свиней и собак, расплодилось. И ведь не скажешь, будто они не работали. Не зря же Деловой постоянно напоминал, сколь многосложны вопросы организации и управления. Собственно, животные даже не пытались постичь умом эту хитрую механику. Чего стоила одна деятельность по составлению бумаг, сами названия которых звучали красиво и таинственно: «досье», «инструкция», «протокол», «меморандум». Все эти бумажные простыни исписывались сверху донизу, а потом в обя-

зательном порядке сжигались. От этих бумаг, говорил Деловой, зависит благополучие и даже само существование фермы. Вот только никакой еды ни свиньи, ни собаки не производили, а размножались, кстати, не хуже прочих, да и на отсутствие аппетита не жаловались.

Жизнь прочих ни в чем не изменилась: недоедали, спали на соломе, пили из пруда, работали в поле. Зимой страдали от холода, летом от мух. Иногда старожилы, поднапрягшись, пытались вспомнить, как им жилось сразу после изгнания Джонса — лучше или хуже? Никто не помнил. А значит, им не с чем было сравнивать их нынешнюю жизнь, оставалось полагаться на статистические выкладки Делового, неопровержимо доказывавшие, что жизнь с каждым днем становится все краше. Тут, наверно, было над чем поломать голову, но для этого, как минимум, надо было иметь свободное время для раздумий. Один старый Бенджамин, помнивший, как он утверждал, прошлое во всех подробностях, держался мнения: что вчера, что завтра — разницы никакой, ибо жизнь есть суета и маета.

Но животные не теряли надежды, как не теряли никогда чувства гордости за свой уголок. Ведь их ферма была единственной в графстве, да что

там в графстве — в Англии! — единственной, где всем заправляли животные. Даже несмышленые сосунки, даже пришлые, ранее жившие на соседних фермах, не переставали удивляться этому диву. Стоило только прогреметь ружейному залпу, стоило затрепетать на флагштоке зеленому полотнищу, как их сердца переполнялись патриотическим восторгом, и разговор мгновенно переключался на славные дела давно минувших дней — изгнание Джонса, провозглашение семи заповедей, битвы с внешними врагами. Мечта предыдущих поколений продолжала волновать умы. Все свято верили в предсказанное старым хряком светлое будущее, когда на зеленые пастбища не ступит нога человека. Оно придет, это будущее, пусть не скоро, пусть многие не доживут до него, но оно придет. И еще зазвучит громогласно песня «Скот домашний, скот бесправный», которую и сейчас, надо полагать, мурлычут себе под нос то тут, то там, во всяком случае, знают ее все, хотя и не отваживаются петь в открытую. Да, животным жилось несладко, да, многие надежды пока не оправдались, но, так или иначе, их жизнь в сравнении с жизнью других животных — это небо и земля. Если случалось голодать, то не потому, что последний кусок отдавался

эксплуататору-человеку; если и гнули спину, то исключительно на себя. Среди них не было двуногих. Среди них не было «хозяев». Все животные были равны.

Однажды в начале лета Деловой приказал овцам следовать за ним в дальний конец фермы, где находился заброшенный участок, поросший березняком. Весь день с позволения Делового овцы пощипывали молодые побеги. Вечером он вернулся в дом, а овцам разрешил остаться в березнячке по причине теплой погоды. И все, целую неделю их не было видно. Деловой проводил с ними каждый божий день. Оказывается, он с ними разучивал новую песню, что требовало уединения.

Как-то раз, уже после появления овец, животные возвращались с работы, наслаждаясь теплым вечером, как вдруг со двора послышалось испуганное ржание. Все так и замерли. Это был голос Хрумки. Она снова заржала, и тогда все помчались на ее голос. То, что они увидели, действительно могло перепугать не на шутку.

По двору шла свинья на задних ногах.

Это был Деловой. При его внушительных габаритах не просто было держаться в таком положении, но он умело сохранял равновесие,

хотя и чувствовалась некоторая скованность в движениях. В следующую минуту из дома одна за другой, на манер Делового, потянулись во двор остальные свиньи. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, кого-то даже покачивало, и он словно бы искал, на что опереться, но, воздадим им должное, все сумели пройтись по двору, ни разу не опустившись на четвереньки. А потом истошно залаяли псы, пронзительно заголосил черный петел, и на пороге дома показался сам Наполеон — он бесподобно стоял на задних ногах и с победоносным видом оглядывал присутствующих, а вокруг него уже вертелись преданные телохранители.

Передним копытцем Наполеон сжимал кнут.

Воцарилась мертвая тишина. Оторопевшие животные сбились в кучу и расширенными от ужаса глазами смотрели, как длиннющая цепочка свиней неспешно совершает круг почета. Казалось, мир перевернулся. Наконец животные справились с первым шоком, и стихийный протест уже готов был выплеснуться наружу невзирая ни на панический страх перед псами-охранниками, ни на многолетнюю привычку сносить все безропотно, ничто и никогда не подвергая сомнению. Но в этот самый миг, словно по сигналу, овцы

дружно грянули:

— Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше!

Они скандировали пять минут, и когда в конце концов представилась возможность вклиниться со словом протеста, это потеряло всякий смысл, потому что свиньи уже скрылись в доме.

Бенджамин почувствовал, как чей-то нос ткнулся ему в плечо. Это была Хрумка. Взгляд у нее был почти невидящий. Она молча потянула его за гриву, и он послушно проследовал за ней к большому сараю. Они остановились перед стеной с семью заповедями. Минуту-другую они созерцали просмоленную черную стену, на которой выделялись белые строчки.

— Совсем что-то я ослепла, — нарушила молчание Хрумка. — Вообще-то я всегда была несильна в грамоте, но, сдается мне, раньше текст выглядел как-то не так. Погляди, Бенджамин, все ли заповеди на месте?

Впервые в жизни старый осел изменил своему правилу — прочел вслух то, что было некогда написано Деловым. Собственно говоря, от написанного осталась одна-единственная заповедь, и звучала она так:

ВСЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЕЕ

После этого уже никого не удивило, когда на следующий день свиньи, осуществлявшие надзор за полевыми работами, вооружились кнутами. Не удивило, что свиньи подписались на «Дейли миррор», «Джона Булля» и «Пикантные новости», что они купили себе радиоприемник и уже договорились об установке телефона. Не удивились при виде Наполеона, прогуливающегося в саду с трубкой в зубах. Не удивились даже тогда, когда свиньи продемонстрировали гардероб прежнего владельца фермы, когда Наполеон предстал перед их взорами в кожаных крагах и черном сюртуке поверх прозодежды (мистер Джонс в ней обычно морил крыс), а его любимая хрюшка напялила на себя шелковое муаровое платье, которое миссис Джонс надевала по воскресеньям.

Через неделю двор заполнили двухколесные экипажи — это соседи-фермеры приняли приглашение осмотреть «Скотный двор». Они пришли в восхищение от увиденного, особенно от мельницы. Животные, прилежно занимавшиеся прополкой, глаз поднять не смели; неизвестно, кто нагнал на них больше страху, люди или

свиньи.

Весь вечер в доме звучали песни и громкий смех, знакомые и незнакомые голоса смешались. И тут вдруг животными овладело жгучее любопытство: что же там может происходить между ними и нами, впервые встретившимися на равных?

Не сговариваясь, они тихо прокрались в сад, примыкавший к дому.

Перед воротами они было сробели, но Хрумка решительно повела их за собой. Они на цыпочках приблизились к окнам, и те, кто был повыше ростом, заглянули в гостиную. За длинным столом сидели человек шесть гостей и столько же свиней из ближайшего окружения Наполеона, сам Кабаньеро занимал почетное место во главе стола. Сидеть на стульях свиньям явно было не впервой. Шла игра в карты, но в этот момент игроки прервались, чтобы произнести тост. Большой кувшин пошел по кругу, кружки наполнились пивом.

Никто не почувствовал устремленных на них взглядов.

Наконец поднялся мистер Пилкингтон, владелец «Фоксвуда». «Перед тем как мы выпьем, — сказал он, — позвольте мне произнести

несколько слов».

Для него, сказал Пилкингтон, как, вероятно, и для всех остальных, радостно сознавать, что положен конец долгому периоду взаимного недоверия и непонимания. Было время, когда на уважаемых владельцев «Скотного двора» фермеры посматривали — о присутствующих, разумеется, он не говорит — не то чтобы враждебно, но с известной настороженностью. Имели место отдельные инциденты, бытовали превратные взгляды. Само существование фермы, где всем заправляют животные, казалось чем-то противоестественным и вдобавок представляющим угрозу для всей округи. Многие, не дав себе труда разобраться, решили, что на такой ферме должны царить моральное разложение и разгильдяйство. Фермеры опасались дурного влияния на свой домашний скот и даже на своих работников. Но сегодня все сомнения развеялись. Сегодня они посетили «Скотный двор», осмотрели все до мелочей — и что же? Они увидели не только передовые методы ведения хозяйства, но, главное, такой железный порядок, такую трудовую дисциплину, которые должны послужить для них примером. Без особого риска ошибиться можно было утверждать, что на «Скотном дворе» живот-

ные низшего сорта работали вдвое больше и ели вдвое меньше, чем их собратья во всем графстве. Одним словом, людям есть что позаимствовать, и чем скорее они это сделают, тем лучше.

В заключение, сказал Пилкингтон, ему хочется еще раз подчеркнуть важность развития добрососедских отношений между «Скотным двором» и прочими фермами. Людям и свиньям нечего делить. У них общие заботы, общие проблемы. Разве перед каждым хозяином не встает вопрос, как заставить других трудиться на себя? Тут мистер Пилкингтон, похоже, готов был ввернуть заготовленную остроту, но до того сам развеселился, что слова застряли у него в горле. Он долго тряс пунцовыми подбородками и наконец кое-как выдавил из себя: «У вас свой скот, у нас свой!» Бонмо было встречено дружным хохотом. Мистер Пилкингтон поздравил свиней с успешным введением удлиненного рабочего дня и нормированного питания, а также с умением держать массу в ежовых рукавицах.

После этого он поинтересовался, у всех ли наполнены кружки, и предложил выпить стоя.

— Джентльмены! — возвысил он голос. — Джентльмены, я пью за процветание «Скотного двора»!

Ответом ему были радостные выкрики и громкий топот. Наполеон до того растрогался, что сполз со стула и пошел чокнуться с Пилкингтоном. Когда шум стих, Наполеон, оставшийся стоять, тоже изъявил желание произнести тост.

Как всегда, он выражал свои мысли коротко и ясно. Он был тоже доволен тем, что период полного взаимонепонимания преодолен. Долгое время, сказал Наполеон, распространялись слухи — вернее, кому-то было выгодно их распространять, — будто он и его соратники ведут подрывную, чуть ли не революционную деятельность. Им приписывалось намерение взбунтовать животных на соседних фермах. Додуматься до такого могли только люди с извращенным воображением! Единственное, чего хотят, и всегда хотели, свиньи, — это жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения с соседями. Ферма, во главе которой Наполеон имеет честь находиться, есть не что иное, как акционерное предприятие. Держателями акций, сосредоточенных вроде бы в его, Наполеона, руках, на самом деле являются все свиньи.

Хотя со старыми предрассудками, сказал он, кажется, покончено, в самое ближайшее время будет осуществлен ряд мер, которые должны еще

больше укрепить доверие соседей. До сего дня среди животных существовал нелепый обычай — обращаясь друг к другу, прибавлять «товарищ». С этим пора покончить. Укоренился также довольно странный, неизвестно откуда взявшийся обычай — каждое утро по воскресеньям проходить торжественным маршем мимо кабаньего черепа, насаженного на кол. С этим тоже будет покончено; череп уже захоронен. Вероятно, гости обратили внимание, продолжал он, на зеленое полотнище, развевающееся на флагштоке. Если так, то они наверняка отметили отсутствие на полотнище рогов и копыт. Отныне на флаге не будет никакой символики.

В блестящей речи мистера Пилкингтона, исполненной искреннего дружеского чувства, лишь один момент вызвал у Наполеона протест, а именно: настойчивое употребление оборота «Скотный двор». Разумеется, мистер Пилкингтон не мог знать, ибо только сейчас об этом впервые заявляется во всеуслышание, что название это упразднено и заменяется другим, — кстати, более правильным, исконным названием — «Райский уголок».

— Джентльмены, — в заключение сказал Наполеон, — я хочу повторить прежний тост, но

придав ему несколько иное звучание. Прошу наполнить до краев ваши кружки, джентльмены. Итак, мой тост: за процветание «Райского уголка»!

Вся компания встретила его речь столь же громким одобрением и дружно осушила кружки. С теми, кто наблюдал эту сцену, происходило нечто вроде коллективной галлюцинации: свиные рыла… они как-то неуловимо менялись на глазах. Хрумка, все видевшая как в тумане, в растерянности вертела головой туда-сюда — у этого вон пять подбородков, у того четыре, у кого-то три… но почему все физиономии расплываются, деформируются? Тут как раз смолкли аплодисменты, и компания возобновила прерванную карточную игру. Животные так же бесшумно выбрались из сада.

Однако не успели они пройти и двадцати ярдов, как за их спиной раздался дикий гвалт. Все бросились назад, и что же они увидели? В гостиной разгорелась настоящая свара — с выкриками, ударами по столу, оскорбительными намеками и яростными опровержениями. Насколько можно было понять со стороны, причиной послужило то, что у Наполеона и у Пилкингтона одновременно оказалось на руках по тузу пик.

Двенадцать игроков визжали на один манер. А свиные рыла… так вот оно в чем дело! Животные переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью и уже не могли различить, кто есть кто.

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья…», или Несколько слов от переводчика

Не имея лица, тоталитаризм придумывает себе маски. Папа Док, дядюшка Пино, Иосиф Прекрасный… есть что-то трогательное в этом желании понравиться своему народу. А народ любит маскарад и расплачивается жизнью за участие в жестокой драме.

Чью драму имел в виду Дж. Оруэлл, сочиняя в 1945 году свою сказку?

Кровавые «свинства», творящиеся на ферме, и сама терминология (животные комитеты, собрания, обращение «товарищ») не оставляют на этот счет сомнений.

Поэтому обычный для переводчика вопрос, в какую среду, бытовую и языковую, погружать текст, в данном случае не возникал. Время и место указал автор.

Зато он задал другие задачки.

Начать с названия. «Господская» ферма превращается в «животную», а когда свиньи сами становятся господами (при этом оставаясь жи-

вотными!), ферме возвращается ее исконное название.

Существенно и то, что «при перемене мест слагаемых сумма не меняется»: и при старой власти, и при новой жизнь у животных скотская. Так появились названия «Райский уголок» и «Скотский уголок», звучащие в равной степени пародийно.

А вот как явился на свет божий Цицерон… У Оруэлла кабанчик имеет кличку Снежный Ком, что «не есть хорошо» по-русски и по своей значимости не ставит персонаж вровень с его соперником Наполеоном. Переводчик выстроил довольно сложную цепочку: снежок — шарик — горошина, или «цицеро» (по-латыни), — Цицерон. Получилась достойная пара — Наполеон и Цицерон, к тому же последний действительно оратор, вернее, краснобай.

Но довольно примеров. Ограничусь рядом общих соображений.

1. Перевод произведений игровых по своей природе невозможен без внутренней свободы. Лучшая, на мой взгляд, русская «Алиса» — заходеровская.

Кстати, она очень близка к подлиннику, и пусть никого не вводит в заблуждение словечко «пересказ» — оно для церберов из Министерства

обороны культуры.

2. Перевод есть зазеркальное отражение текста. Переводятся не слова, а образы, оживают не фразы, а интонации.

3. Перевод — это всегда новое качество, в чем без труда каждый может убедиться, поставив рядом четырех (на сегодняшний день) русских Оруэллов (речь только об одной повести). Порадуемся за читателя, у которого есть выбор.

4. Всякая «вольность» имеет границы допустимого. Переводческий произвол (неоправданный) поголовно наказуем.

Наш читатель, вероятно, самый обидчивый читатель в мире. Поэтому тех, кто заранее готов поджать губы, оскорбившись за «наши идеалы», я хочу сразу успокоить: сатира Оруэлла направлена не против «наших», правильнее сказать, общечеловеческих идеалов, а против глумления над ними, открытого или завуалированного, против социальной демагогии и политического авантюризма, в чем (не будем тянуть на себя всю простыню) преуспели в XX веке не одни мы. И современных луддитов, кроме нас, повсюду хватает.

Диктатура в любой своей разновидности пробуждает звериные инстинкты.

Тоталитаризм универсален. Все маски на одно лицо.

Все же хочется остаться немножко наивным. Хочется верить, что эта бесхитростная сказка, в ряду более серьезных вещей, помогает нам понять, что, прежде чем радостно восклицать: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья…», не худо бы самих себя спросить: «… а зачем?»

Эссе

Литература и тоталитаризм

Начиная свое первое выступление, я говорил, что наше время не назовешь веком критики. Это эпоха причастности, а не отстраненности, и поэтому стало так трудно признать литературные достоинства за книгой, содержащей мысли, с которыми вы не согласны. В литературу хлынула политика в самом широком смысле этого слова, она захватила литературу так, как при нормальных условиях не бывает, — вот отчего мы теперь столь обостренно чувствуем разлад между индивидуальным и общим, хотя он наблюдался всегда. Стоит только задуматься, до чего сложно сегодняшнему критику сохранить честную беспристрастность, и станет понятно, какие именно опасности ожидают литературу в самом близком будущем.

Время, в которое мы живем, угрожает покончить с независимой личностью, или, вернее, с иллюзиями, будто она независима. Меж тем, толкуя о литературе, а уж тем паче о критике, мы не задумываясь исходим из того, что личность вполне независима. Вся современная европейская литература — то есть та, которая создавалась

последние четыре века, — стоит на принципах честности, или, если хотите, на шекспировской максиме: «Своей природе верен будь». Первое наше требование к писателю — не лгать, писать то, что он действительно думает и чувствует. Худшее, что можно сказать о произведении искусства, — оно фальшиво. К критике это относится даже больше, чем непосредственно к литературе, где не так уж досаждает некое позерство, манерничанье, даже откровенное лукавство, если только писатель не лжет в самом главном. Современная литература по самому своему существу — творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит.

Как я уже сказал, это для нас само собой разумеется, но едва стоит нам это произнести, как осознаешь, какая над литературой нависла угроза. Ведь мы живем в эпоху тоталитарных государств, которые не предоставляют, а возможно, и не способны предоставить личности никакой свободы. Упомянув о тоталитаризме, сразу вспоминают Германию, Россию, Италию, но, думаю, надо быть готовым к тому, что это явление сделается всемирным. Очевидно, что времена свободного капитализма идут к концу,

и то в одной стране, то в другой он сменяется централизованной экономикой, которую можно характеризовать как социализм или как государственный капитализм — выбор за вами. А значит, иссякает и экономическая свобода личности, то есть в большой степени подрывается ее свобода поступать как ей хочется, свободно выбирая себе профессию, свободно передвигаясь в любом направлении по всей планете. До недавней поры мы еще не предвидели последствий подобных перемен. Никто не понимал как следует, что исчезновение экономической свободы скажется на свободе интеллектуальной. Социализм обычно представляли себе как некую либеральную систему, одухотворенную высокой моралью. Государство возьмет на себя заботы о вашем экономическом благоденствии, освободив от страха перед нищетой, безработицей и т. д., но ему не будет никакой необходимости вмешиваться в вашу частную интеллектуальную жизнь. Искусство будет процветать точно так же, как в эпоху либерального капитализма, и даже еще нагляднее, поскольку художник более не будет испытывать экономического принуждения.

Опыт заставляет нас признать, что эти представления пошли прахом. Тоталитаризм посяг-

нул на свободу мысли так, как никогда прежде не могли и вообразить. Важно отдавать себе отчет в том, что его контроль над мыслью преследует цели не только запретительные, но и конструктивные. Не просто возбраняется выражать — даже допускать — определенные мысли, но диктуется, что именно надлежит думать; создается идеология, которая должна быть принята личностью, норовят управлять ее эмоциями и навязывать ей образ поведения. Она изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы замкнуть ее в искусственной среде, лишив возможности сопоставлений. Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки.

Вопрос, приобретающий для нас важность, состоит в том, способна ли выжить литература в такой атмосфере. Думаю, ответ должен быть краток и точен: нет. Если тоталитаризм станет явлением всемирным и перманентным, литература, какой мы ее знали, перестанет существовать. И не надо (хотя поначалу это кажется допустимым) утверждать, будто кончится всего лишь литература определенного рода, та, что

создана Европой после Ренессанса.

Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе церковь указывала, во что веровать, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти. Она не требовала, чтобы сегодня верили в одно, завтра в другое. И сегодня дело обстоит так же для приверженца любой ортодоксальной церкви: христианской, индуистской, буддистской, магометанской. В каком-то отношении круг его мыслей заведомо ограничен, но этого круга он держится всю свою жизнь. А на его чувства никто не посягает.

Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что, контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном. Выдвигаются догмы, не подлежащие обсуждению, однако изменяемые со дня на день. Догмы нужны, поскольку нужно абсолютное повиновение подданных. Однако невозможно обойтись без коррективов, диктуемых потребностями политики властей предержащих. Объявив

себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность. Вряд ли есть надобность указывать, чем это чревато для литературы. Ведь творчество — прежде всего чувство, а чувства нельзя вечно контролировать извне. Легко определять отвечающие данному моменту установки, однако литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что он пишет; если этого нет, исчезнет творческий инстинкт. Весь накопленный опыт свидетельствует, что резкие эмоциональные переоценки, каких тоталитаризм требует от своих приверженцев, психологически невозможны, и вот прежде всего по этой причине я полагаю, что ко-

нец литературы, какой мы ее знали, неизбежен, если тоталитаризм установится повсюду в мире. Так ведь до сих пор и происходило там, где он возобладал. В Италии литература изуродована, а в Германии ее почти нет. Основное литературное занятие нацистов состоит в сжигании книг. Даже в России так и не свершилось одно время ожидавшееся нами возрождение литературы, видные русские писатели кончают с собой, исчезают в тюрьмах — обозначилась эта тенденция весьма определенно.

Я сказал, что либеральный капитализм с очевидностью идет к своему концу, а отсюда могут сделать вывод, что, на мой взгляд, обреченной оказывается и свобода мысли. Но я не думаю, что это действительно так, и в заключение просто хочу выразить свою веру в способность литературы устоять там, где корни либерального мышления особенно прочны, — в немилитаристских государствах, в Западной Европе, Северной и Южной Америке, Индии, Китае. Я верю — пусть это слепая вера, не больше, — что такие государства, тоже с неизбежностью придя к обобществленной экономике, сумеют создать социализм в нетоталитарной форме, позволяющей личности и с исчезновением экономической свободы сохранить свободу мысли. Как ни поворачивай, это единственная надежда, оставшаяся тем, кому дороги судьбы литературы. Каждый, кто понимает ее значение, каждый, кто ясно видит главенствующую роль, которая принадлежит ей в истории человечества, должен сознавать и жизненную необходимость противодействия тоталитаризму, навязывают ли его нам извне или изнутри.

19 июня 1941 г.

Писатели и Левиафан

О положении писателя в эпоху, когда все находится под контролем государства, уже немало сказано, хотя большая часть информации, относящаяся к этой теме, пока недоступна. Я не собираюсь высказываться за государственный патронаж над искусствами или против него, я только хочу определить, какие именно требования, исходящие от государственной машины, которым хотят нас подчинить, отчасти объяснимы атмосферой, иными словами, мнениями самих писателей и художников, степенью их готовности подчиниться или, напротив, сохранить живым дух либерализма. Если лет через десять выяснится, как мы раболепствовали перед деятелями типа Жданова, значит, иного мы и не заслужили. Совершенно ясно, что уже и сейчас среди английских литераторов сильны тоталитаристские настроения. Впрочем, здесь речь идет не о каком-то организованном и сознательном движении вроде коммунистического, а только о последствиях, вызванных возникшей перед людьми доброй воли необходимостью думать о политике и выбирать ту или иную политическую

позицию.

Мы живем в век политики. Война, фашизм, концлагеря, резиновые дубинки, атомные бомбы и прочее в том же роде — вот о чем мы размышляем день за днем, а значит, о том же главным образом пишем, даже если не касаемся всего этого впрямую. По-другому быть не может. Очутившись на пароходе, который тонет, думаешь только о кораблекрушении. Но тем самым мы не просто ограничиваем свой круг тем, мы и свое отношение к литературе окрашиваем пристрастиями, которые, как нам хотя бы порой становится ясно, лежат вне пределов литературы. Нередко мне начинает казаться, что даже в лучшие времена литературная критика — сплошной обман, поскольку нет никаких общепринятых критериев, реальность не дает никаких подтверждений оценкам, по которым вот эта книга «хорошая», а та «плохая», и выходит, что всякое суждение основано лишь на том или ином своде правил, призванных обосновать интуитивные пристрастия. Истинное восприятие книги, если она вообще вызывает какой-то отзвук, сводится к обычному «нравится» или «не нравится», а все прочее — лишь попытка рационального объяснения этого выбора. Мне кажется, такое

вот «нравится» вовсе не противоречит природе литературы; противоречит ей другое: «Книга содержит близкие мне идеи, и поэтому необходимо найти в ней достоинства». Разумеется, превознося книгу из сугубо политических соображений, можно при этом не кривить душой, искренне принимая такое произведение, но столь же часто бывает, что чувство идейной солидарности с автором толкает на прямую ложь. Это хорошо известно каждому, кто писал о книгах в периодике с четкой политической линией. Да и вообще, работая в газете, чьи позиции разделяешь, грешишь тем, что ей поддакиваешь, а в газете, которая по своей ориентации тебе далека, — тем, что умалчиваешь о собственных взглядах. Так или иначе, бесчисленные произведения, в которых твердо проводится определенная агитация — за Советскую Россию или против, за сионизм или против, за католическую церковь или против и т. д., — оказываются оценены еще до того, как их прочтут, собственно, до того, как напишут. Можно уверенно предсказать, какие отклики будут в этой газете, а какие в другой. И при всей бесчестности, которую уже едва осознают, поддерживается претензия, будто о книгах судят по литературным меркам.

Понятно, что вторжение политики в литературу было неотвратимым. Даже не возникни особый феномен тоталитаризма, оно бы все равно свершилось, потому что в отличие от своих дедов мы прониклись угрызениями совести из-за того, что в мире так много кричащих несправедливостей и жестокостей, и это чувство вины, побуждая нас ее искупить, делает невозможным чисто эстетическое отношение к жизни. В наше время никто не смог бы так самозабвенно отдаться литературе, как Джойс или Генри Джеймс. Но беда в том, что, признав свою политическую ответственность, мы отдаем себя во власть ортодоксальных доктрин и «партийных подходов», хотя из-за этого приходится трусливо молчать и поступаться истиной. По сравнению с писателями Викторианской эпохи нам выпало несчастье жить среди жестко сформулированных политических идеологий, чаще всего наперед зная, какие идеи представляют собой ересь. Современный писатель постоянно снедаем страхом — в сущности, не перед общественным мнением в широком смысле слова, а перед мнениями той группы, к которой принадлежит он сам. Хорошо хоть, что таких групп, как правило, несколько и есть выбор, однако всегда

есть и доминирующая ортодоксия, посягательство на которую требует очень крепких нервов и нередко готовности сократить свои расходы вполовину, причем на много предстоящих лет. Всем известно, что последние полтора примерно десятилетия такой ортодоксией, особенно влиятельной среди молодежи, является «левизна». Для нее самыми ценными эпитетами остаются слова «прогрессивный», «демократический», «революционный», а теми, которых приходится пуще всего страшиться, — «буржуазный», «реакционный», «фашистский»: не дай Бог и к тебе могут прилипнуть эти клички. Ныне чуть не все и каждый, включая большинство католиков и консерваторов, «прогрессивны» или хотят, чтобы о них так думали. Мне не известно ни одного случая, когда бы человек говорил о себе, что он «буржуазен», точно так же как люди, достаточно грамотные, чтобы понять, о чем речь, ни за что не признают за собой антисемитизма. Все мы славные демократы, антифашисты, антиимпериалисты, все презираем классовые разделения, возмущаемся расовыми предрассудками и т. д. Никто всерьез не сомневается, что нынешняя левая ортодоксия предпочтительнее довольно снобистской и ханжеской консервативной ор-

тодоксии, которая доминировала двадцать лет назад, когда самыми влиятельными журналами были «Крайтерион» и (куда менее притязательный) «Лондон меркьюри». Ведь, что ни говори, провозглашенной целью левых является жизнеспособное общество, которого и вправду хотят массы людей. Но у левых есть своя демагогия и ложь, а поскольку это не признается, некоторые проблемы становится просто невозможным по-настоящему обсуждать.

Вся левая идеология — и научная, и утопическая — разработана теми, кто не ставил перед собой как непосредственную задачу достижение власти. Поэтому она была идеологией экстремистской, подчеркнуто не считавшейся с царями, правительствами, законами, тюрьмами, полицейскими, генералами, знаменами, границами, с патриотическими чувствами, религией, моралью — словом, со всем наличествующим порядком вещей. Еще на нашей памяти левые силы во всех странах сражались против тирании, казавшейся неуязвимой, и легко было предполагать, что, если бы только вот*эта* конкретная тирания — капитализм — была свергнута, социализм немедленно бы воцарился вместо нее. Кроме того, от либералов левые переняли несколько

весьма сомнительных верований — например во всепобеждающую силу правды, в то, что подавлять — значит губить самих себя, и что по природе своей человек добр, и что злым его делают исключительно окружающие условия. Эта перфекционистская доктрина глубоко укоренена почти во всех нас, и, движимые верой в нее, мы протестуем, когда, к примеру, правительство лейбористов предоставляет крупные суммы дочерям монарха или не решается национализировать сталелитейную промышленность. Но, сталкиваясь всякий раз с реальностью, вера трещит по швам, и мы начинаем мучиться противоречиями, не желая в этом признаться.

Первым таким столкновением с реальностью оказалась русская революция. В силу довольно сложных причин едва ли не все английские левые должны были принять установленную ею систему как «социалистическую», понимая при этом, что и принципы ее, и практика совершенно чужды всему, что подразумевается под «социализмом» у нас самих. А в результате выработалось какое-то перевернутое мышление, допускающее, что такие слова, как «демократия», обладают двумя взаимоисключающими значениями, а такие акции, как массовые аресты

или насильственные выселения, оказываются в одно и то же время как правильными, так и недопустимыми. Следующий удар по левой идеологии нанес своими успехами фашизм, который сокрушил свойственные левым пацифистские и интернационалистские устремления, что, однако, не привело к решительному пересмотру самой доктрины. Фашистская оккупация заставила европейские народы убедиться в том, что давно было известно из собственного опыта народам колоний: классовые антагонизмы не так уж сверхважны, и существует такое понятие, как интересы всей нации. С появлением Гитлера трудно стало всерьез рассуждать о «внутреннем враге» и что национальная независимость не имеет никакого значения. Но хотя все мы об этом знаем и, когда необходимо, действуем исходя из этого знания, по-прежнему господствует чувство, что сказать об этом прямо означало бы совершить предательство. Наконец — и здесь возникают самые большие сложности — левые теперь у власти, так что они обязаны взять на себя ответственность, принимая справедливые решения.

Левые правительства почти всегда разочаровывают своих сторонников, поскольку даже и в тех случаях, когда удается достичь обещанного ими

процветания, обязательно приходится пережить трудный переходный период, о котором, до того как взять власть, едва упоминалось. Вот и мы сейчас видим, как наше правительство, отчаянно борясь с экономическими трудностями, вынуждено преодолевать последствия своей же пропаганды, которая велась в предшествующие годы. Переживаемый нами кризис не какое-то нежданное бедствие вроде землетрясения, и вызван он не войной — она его только стимулировала. Можно было десятки лет назад предвидеть, что произойдет нечто подобное. Еще с девятнадцатого века крайне проблематичным оставалось стабильное увеличение национального дохода, зависящего частью от инвестиций за рубежом, частью от надежных рынков и дешевого сырья из колоний. Было ясно, что рано или поздно что-то нарушится и мы окажемся вынужденными уравновешивать экспорт импортом; а если это случится, уровень жизни в Англии, включая уровень жизни рабочего класса, неизбежно упадет — по крайней мере на время. Однако левые партии, сколь ни громогласно выступали они против империализма, никогда не касались таких материй. Иной раз они готовы были признать, что британские рабочие до некоторой степени живут

за счет грабежа Азии и Африки, но при этом дело непременно изображалось так, словно, отказавшись от таких доходов, мы каким-то образом все равно умудримся сохранить процветание. А рабочих главным образом и обращали в социалистическую веру, говоря им: вот видите, вас эксплуатируют, — тогда как грубая истина, если исходить из положения вещей в мире, сводилась к другому: они сами эксплуатировали. Сегодня, судя по всему, мы пришли к тому, что уровень жизни рабочего класса*не может* быть сохранен на достигнутом уровне, уж не говоря о росте. Даже в том случае, если богатых заставили бы уйти, народным массам тем не менее пришлось бы или меньше потреблять, или больше производить. Не преувеличиваю ли я серьезность ситуации? Может быть, и преувеличиваю; был бы рад ошибиться. Но веду я вот к чему: среди тех, кто верен левой идеологии, сама эта проблема не может обсуждаться с откровенностью. Снижение зарплаты, увеличение продолжительности рабочего дня — такие меры считаются по самой своей сути антисоциалистическими, а поэтому должны быть отвергнуты с порога, как бы ни складывались дела в экономике. Стоит заикнуться, что эти шаги могут стать необходимыми, рискуешь тут

же удостоиться всех тех эпитетов, которых мы так страшимся. Куда безопаснее избегать подобных тем, сделав вид, будто возможно поправить дело перераспределением существующего национального дохода.

Тот, кто принимает ту или иную ортодоксию, неизбежно принимает вместе с ней противоречия, которые ждут своего решения. Например, каждому разумному человеку отвратительна индустриализация с ее последствиями, однако ясна необходимость не препятствовать ей, а, наоборот, способствовать, потому что этого требуют борьба с бедностью и освобождение рабочего класса. Или другое: есть профессии, которые совершенно необходимы, однако без принуждения никто бы их для себя не избрал. Или третье: нельзя уверенно вести внешнюю политику, не располагая мощными вооруженными силами. Подобные примеры можно умножать и умножать. И всякий раз напрашивается вполне ясный вывод, который, однако, способны сделать лишь те, кто внутри себя свободен от официальной идеологии. Обычно же случается по-другому: вопрос, на который так и не найдено ответа, отодвигают куда-нибудь подальше, стараясь о нем не думать и по-прежнему повторяя слова-пароли со всей

противоречивостью их смысла. Не придется рыться в ворохах периодики, чтобы обнаружить последствия такого способа мышления.

Я, конечно, не хочу сказать, что духовная бесчестность свойственна одним социалистам и левым или свойственна им более, нежели другим. Речь идет только о том, что приверженность *любой* политической доктрине с ее дисциплинирующим воздействием, видимо, противоречит сути писательского служения. Это относится и к таким доктринам, как пацифизм или индивидуализм, хотя они притязают находиться вне каждодневной политической борьбы. Право же, все слова, кончающиеся на *«-изм»*, приносят с собой душок пропаганды. Верность знамени необходима, однако для литературы она губительна, пока литературу создают личности. Как только доктрины начинают воздействовать на литературу, пусть даже вызывая с ее стороны лишь неприятие, результатом неизбежно становится не просто фальсификация, а зачастую исчезновение творческой способности.

Ну и что же из этого следует? Должны ли мы заключить, что обязанность каждого писателя — «держаться в стороне от политики»? Безусловно, нет! Ведь я уже сказал, что ни один разумный

человек просто не может чураться политики, да и не чурается в такое время, как наше. Я не предлагаю ничего иного, помимо более четкого, нежели теперь, разграничения между политическими и литературными обязанностями, а также понимания, что готовность *совершать поступки* неприятные, однако необходимые, вовсе не требует готовности бездумно соглашаться с заблуждениями, которые им обычно сопутствуют. Вступая в сферу политики, писатели должны сознавать себя там просто гражданами, просто людьми, но *не писателями.* Не считаю, что ввиду утонченности восприятия, им свойственной, они вправе уклониться от будничной, грязной работы на ниве политики. Как все прочие, они должны быть готовы выступать в залах, продуваемых сквозняками, писать мелом лозунги на асфальте, агитировать избирателей, распространять листовки, даже сражаться в окопах гражданских войн, когда это нужно. Но какие бы услуги ни оказывали они своей партии, ни в коем случае не должны они творить во имя ее задач. Им надлежит твердо сказать, что творчество не имеет к этой деятельности никакого отношения, им необходима способность, поступая в согласии с этими задачами, полностью отвергнуть, когда

это требуется, официальную идеологию. Ни при каких условиях нельзя им отступать от логики мысли, почуяв, что она ведет к еретическим выводам, и опасаться, что неортодоксальность распознают, как скорее всего и случится. Может быть, для писателя даже скверный знак, когда его сегодня не подозревают в заигрывании с реакцией, точно так же, как двадцать лет назад плохо было дело, если его не обличали в приверженности к коммунизму.

Означает ли все сказанное, что писателю следует не только противиться диктату политических боссов, а лучше и вообще*не касаться* политики в своих книгах? И снова — безусловно, нет! Не существует причин, по которым нежелательно самым прямым образом затрагивать политику, если ему так хочется. Только пусть он говорит о ней как частное лицо, которое остается вне партии или на крайний случай действует в качестве партизана на фланге регулярной армии, вовсе в нем не нуждающейся. Подобная позиция вполне совместима с обычной и полезной политической активностью. Скажем, когда писатель считает, что войну необходимо выиграть, пусть он в ней участвует как солдат, но откажется прославлять ее в своих книгах. Если это честный писатель,

может случиться, что его творчество окажется в противоречии с его политическими акциями. Иногда этого в силу очевидных причин хотелось бы избежать; в таких случаях выход не в том, чтобы насиловать собственное вдохновение, а в том, чтобы промолчать.

Кому-то покажется пораженческим или двусмысленным мой совет писателю, когда накаляются конфликты, разделить свою деятельность на две несообщающиеся сферы; но я просто не вижу, как практически он может поступить иначе. Замыкаться в башне из слоновой кости немыслимо и нежелательно. Подчинять свою личность не только партийной машине, но даже идеологии, которую исповедует какая-то группа, значило бы покончить с собой как писателем. Мы чувствуем болезненность этой дилеммы так отчетливо, потому что осознали необходимость вторжения в политику, но вместе с тем поняли, насколько это грязное и унизительное дело. А в большинстве своем мы никак не расстанемся с верой в то, что любой выбор, даже любой политический выбор, всегда лежит между добром и злом, как и в то, что все необходимое тем самым справедливо. Думаю, пора нам расстаться с этими взглядами, уместными лишь в младенчестве.

В политике не приходится рассчитывать ни на что, кроме выбора между большим и меньшим злом, а бывают ситуации, которых не преодолеть, не уподобившись дьяволу или безумцу. К примеру, война может оказаться необходимостью, но, уж конечно, не знаменует собой ни блага, ни здравого смысла. Даже всеобщие выборы трудно назвать приятным или возвышенным зрелищем. И если чувствуешь обязанность во всем этом участвовать — а, на мой взгляд, ее должен чувствовать каждый за вычетом закрывшихся броней старческой немощи, глупости или лицемерия, — нужно суметь и свое «я» сберечь неприкосновенным. Для большинства людей эта проблема так не стоит, поскольку их жизнь и без того расщеплена. По-настоящему они живут лишь в часы, свободные от службы, и ничто не связывает их политическую деятельность с деловой. Да, в общем-то, от них и не требуют, чтобы они унижали собственную профессию ради политической линии. А от художника, в особенности от писателя, именно этого и добиваются; по сути, этого одного вечно требуют от них политики. Если писатель отвергает такие требования, не следует думать, что он обрек себя на пассивность. В любой из двух своих ипостасей, каждая из кото-

рых в каком-то смысле есть его целое, он может, коли нужно, действовать не менее решительно и напористо, чем все остальные. Но творчество, если оно обладает хоть какой-то ценностью, всегда будет результатом усилий того более разумного существа, которое остается в стороне, свидетельствует о происходящем, держась истины, признает необходимость свершающегося, однако отказывается обманываться насчет подлинной природы событий.

Март 1948 г.

Политика против литературы: размышление над «Путешествиями Гулливера»

В «Путешествиях Гулливера» Свифт атакует, или, скажем мягче, критикует человечество по меньшей мере под тремя разными углами, и характер самого Гулливера неизбежно в некоторой степени меняется по ходу дела. В Первой части он — типичный путешественник восемнадцатого века, смелый, практичный и лишенный какого бы то ни было романтизма, обыденность образа его мыслей с самого начала умело внедряется в сознание читателя посредством биографических подробностей, например указания на возраст (к тому времени, когда начинается его путешествие, он — мужчина сорока лет, имеющий двух детей) или перечня предметов, содержащихся у него в карманах, особенно отмечены очки, они упоминаются несколько раз. Во Второй части его образ в целом сохраняется прежним, однако в моменты, когда это требуется с точки зрения повествователя, герой обнаруживает склонность превращаться в совершеннейшего

глупца, который хвастливо повествует «о моем благородном отечестве, рассаднике наук и искусств, победителе в битвах, биче Франции»[2] и т. д., и т. п. и в то же время выбалтывает все известные ему скандальные факты о стране, в любви к которой клянется. В Третьей части он в значительной мере остается таким же, каким был в Первой, однако, поскольку общается он здесь главным образом с придворными и учеными, создается впечатление, будто он поднялся выше по социальной лестнице. В Четвертой части он прозревает всю чудовищность рода человеческого, о которой в предыдущих книгах не говорилось вовсе или говорилось лишь вскользь, и превращается в своего рода схимника-атеиста, единственное желание которого — жить в каком-нибудь уединенном месте, где он сможет целиком посвятить себя размышлениям о добродетельности гуигнгнмов. Однако ко всем этим нестыковкам Свифта вынуждает тот факт, что Гулливер как персонаж призван главным образом создавать контраст. Автору, например, необходимо, чтобы в Первой части тот выступал человеком разумным, а во второй, по крайней

[2] Примечания: 2

Здесь и далее цитаты из книги Джонатана Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера» приводятся в переводе А. Франковского.

мере иногда, — глупцом, потому что для обеих частей важен один и тот же посыл: выставить человеческое существо в смешном виде, изобразив его, например, созданием шести дюймов роста. Там, где Гулливер не выступает в качестве «подставного лица», характер его обладает некой последовательностью, особенно проявляющейся в его находчивости и наблюдательности по отношению к материальному миру. Герой остается самим собой, и стиль повествования не меняется ни когда Гулливер приводит военный флот Блефуску в Лилипутию, ни когда он вспарывает брюхо гигантской крысе, ни когда бежит морем в утлой лодчонке, сделанной из шкур йеху. Более того, трудно избавиться от ощущения, что в наиболее проницательных высказываниях Гулливер — это сам Свифт, а по крайней мере в одном случае автор решается прямо высказать свою обиду на современное общество. Вспомним: когда загорается императорский дворец в Лилипутии, Гулливер тушит пожар, помочившись на огонь. И вместо того, чтобы похвалить за находчивость, его обвиняют в преступлении, караемом смертью в соответствии с законом, по которому никто не имеет права мочиться в ограде дворца.

«…меня конфиденциально уведомили, что

императрица, страшно возмущенная моим поступком, переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не отстраивать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне».

По словам профессора Д. М. Тревельяна («Англия при королеве Анне»), отчасти причиной того, что Свифт не занял более высокого положения в обществе, следует считать возмущение королевы его «Сказкой бочки» — памфлетом, которым, как, вероятно, предполагал Свифт, он сослужил добрую службу английской короне, поскольку подверг суровой критике диссентеров[3] и еще более суровой — католиков, не тронув официальную церковь. Так или иначе, никто не станет отрицать, что «Путешествия Гулливера» книга злобная, а равно пессимистичная и что особенно в Первой и Третьей частях автор опускается до узкой политической пристрастности. Мелочность и великодушие, республиканские и авторитарные взгляды, преклонение перед

[3] Примечания: 3

Диссентеры (от *англ.* dissent — разногласие, расхождение во взглядах) — общее обозначение членов религиозных объединений, оппозиционных в отношении к государственной церкви и действующих вне ее. *(Примеч. пер.)*

разумом и отсутствие пытливости — все в ней перемешано. Отвращение к человеческому телу, которым Свифт славился особо, доминирует лишь в Четвертой части, но почему-то эта новая одержимость не становится сюрпризом для читателя, который чувствует, что все эти приключения могли случиться с человеком, в котором даже при переменчивости настроения сохранялась внутренняя связь между политическими убеждениями и глубочайшим личным отчаянием, что составляет одну из наиболее интересных особенностей книги.

С политической точки зрения Свифт был одним из тех, кого безрассудные деяния прогрессивной партии того времени загоняли в своего рода извращенный торизм. Первую часть «Путешествий Гулливера», якобы сатиру на человеческую манию величия, если вглядеться глубже, можно рассматривать как выпад против Англии, против господствующей партии вигов и против войны с Францией, которая — какими бы дурными ни были мотивы союзников — все же спасла Европу от единоличной тирании реакционной державы. Свифт не был ни якобитом, ни тори в строгом смысле этого понятия, декларировавшейся им целью был мирный договор на умеренных условиях,

а не полное поражение Англии. Тем не менее, в его позиции ощущается налет квислингизма, который проявляется в конце Первой части и слегка нарушает стройность аллегории. Когда Гулливер бежит из Лилипутии (Англии) в Блефуску (Францию), предполагаемый подтекст — что человеческое существо шести дюймов росту ничтожно уже по самой своей сути — утрачивается. В то время как жители Лилипутии повели себя по отношению к Гулливеру исключительно коварно и низко, блефускуанцы проявили великодушие и открытость, и эта часть книги, в отличие от предыдущих, заканчивается в совершенно иной тональности, нежели всепоглощающий пессимизм. Очевидно, что враждебность Свифта направлена в первую очередь против Англии. Именно «ваших аборигенов» (то есть соотечественников Гулливера) король Бробдингнега считает «породой маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности», и длинный заключительный пассаж, осуждающий колониализм и захват чужих земель, явно метит в Англию, хотя в нем якобы энергично утверждается обратное. Голландцы, союзники Англии, уже послужившие мишенью для критики в одном из

самых знаменитых памфлетов Свифта, также с той или иной степенью суровости подвергаются осуждению в Части третьей. И едва ли не личное торжество угадывается в эпизоде, где Гулливер выражает удовлетворение тем, что Британская корона не сможет колонизировать открытые им страны:

«Правда, гуигнгнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне, искусству, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако будь я министром, я никогда бы не посоветовал нападать на них ‹…› Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы и превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт…»

Учитывая, что Свифт даром слов не тратит, можно предположить, что за выражением «превращающих в котлету лица солдат» кроется тайное желание автора увидеть, как подобному обращению подвергается непобедимая армия герцога Мальборо. И подобные штрихи разбросаны повсюду. Даже упомянутая в Части третьей страна, где «… большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей,

доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жалованье у министров и депутатов», названа им Лангден, что за вычетом одной буквы по-английски составляет анаграмму слова Англия. (А поскольку ранние издания книги не были свободны от опечаток, можно предположить, что название задумывалось как полная анаграмма.) Физическое отвращение Свифта к человечеству, разумеется, не выдумка, но возникает ощущение, что развенчание им идеи человеческого величия, его диатрибы, направленные против лордов, политиков, королевских фаворитов и иже с ними, подразумевают главным образом конкретную цель и проистекают из его принадлежности к непреуспевшей партии. Он обличает несправедливость и угнетение, однако не выказывает никаких признаков расположенности к демократии. При всей его несравнимо бóльшей влиятельности, позиция Свифта, как она видится нам, весьма напоминала позицию бесчисленных «глупоумных» консерваторов нашего времени, таких как сэр Алан Херберт, профессор Дж. М. Янг, лорд Элтон, члены консервативного Комитета по реформам или длинная череда апологетов

католицизма, начиная с У. Г. Мэллока и далее по списку — людей, охотно упражняющихся в остроумии по поводу всего «современного» и «прогрессивного» и не стесняющихся экстремальных высказываний, поскольку они знают, что их высказывания никоим образом не повлияют на реальный ход событий. В конце концов, памфлет вроде «Рассуждения о неудобстве уничтожения христианства в Англии» сразу приводит на память «Робкого Тимоти» с его невинными шутками по адресу Мозгового треста или отца Рональда Нокса, уличающего Бертрана Рассела в ошибках. И легкость, с какой Свифту простили — причем даже иные самые благочестивые верующие — богохульство его «Сказки бочки», со всей очевидностью показывает, насколько религиозные чувства слабее по сравнению с политическими.

Тем не менее, реакционность мышления Свифта проявляет себя прежде всего вне политической сферы. Существенней его отношение к науке и, если брать шире, к интеллектуальной пытливости вообще. Знаменитая Академия в Лагадо, описанная в Третьей части «Путешествий Гулливера», вне всяких сомнений является отнюдь не безосновательной сатирой на большую

часть так называемых ученых времен Свифта. Знаменательно, что ее сотрудники именуются «прожектерами», поскольку не ведут бескорыстные исследования, а занимаются придумыванием всевозможных устройств, призванных экономить труд и приносить деньги. Однако нет никаких свидетельств того — напротив, по всей книге разбросаны указания на обратное, — что и «чистая наука» представляется Свифту сто́ящей деятельностью. Более серьезные ученые тоже получили от него пинок под зад в Части второй, там, где «научные светила» по распоряжению короля Бробдингнега пытаются прояснить природу малого роста Гулливера:

«После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как “рельплюм сколькатс”, что в буквальном переводе означает “lusus naturae” (“игра природы”) — определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на “скрытые причины”, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания».

Если бы это высказывание было единичным, можно было бы подумать, что Свифт просто ополчается против *лженауки*. Однако в тексте немало мест, где он с пеной у рта доказывает бесполезность любого ученого знания или рассуждения, не направленного на какую-либо практическую цель.

«Знания этого народа (бробдингнегов) очень недостаточны: они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, ими достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и всякого рода механизмов, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталей мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления».

Гуигнгнмы — существа идеальные, с точки зрения Свифта, — народ отсталый даже в том, что касается элементарной механики. Им неведомы металлы, они никогда ничего не слыхали о кораблях, не ведут сельского хозяйства в строгом смысле этого понятия (как нам сообщают, овес,

которым они питаются, «растет сам собой») и, судя по всему, так и не изобрели колеса[4]. У них нет письменности, и они явно не проявляют особой любознательности в отношении материального мира. Они не верят, что существуют другие населенные живыми существами страны, кроме их собственной, и хотя отдают себе отчет в движении солнца, луны и в природе затмений, «… это предельное достижение их *астрономии*». В противоположность им философы летающего острова Лапута всегда настолько поглощены математическими расчетами, что, прежде чем заговорить с ними, нужно хлопнуть их по уху надутым пузырем, чтобы привлечь внимание. Они составили перечень десяти тысяч недвижимых звезд, установили периоды появления девяноста трех комет и, опередив европейских астрономов, обнаружили, что у Марса есть две луны. Все эти знания Свифт явно находит смехотворными, бесполезными и неинтересными. Как и следовало ожидать, он считает, что место ученого — если таковое вообще существует — лаборатория, и научное знание никоим образом не влияет на

[4] Примечания: 4

Гуигнгнмов, слишком старых, чтобы передвигаться самостоятельно, по описанию Свифта, возят на «санях», или в повозках, которые тащат, как сани. То есть, предположительно — не на колесах.*(Примеч. авт.)*

сферу политики.

«Но что меня более всего поразило и чего я никак не мог объяснить, так это замеченное мной у них пристрастие к новостям и политике; они вечно осведомляются насчет общественных дел, высказывают суждения о государственных вопросах и ожесточенно спорят из-за каждого вершка партийных мнений. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой: разве только, основываясь на том, что самый маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса».

Ничего знакомого не замечаете во фразе «никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой»? Это же в точности то, что говорят популярные католические проповедники, выражающие недоумение, когда какой-нибудь ученый высказывается по таким вопросам, как существование Бога или бессмертие души. Ученый, внушают нам, — это эксперт

лишь в какой-то ограниченной сфере; с какой стати признавать ценность его мнения в любой другой? Подразумевается, что теология есть такое же точное научное знание, как, к примеру, химия, а священник — такой же эксперт, чьи заключения по определенным вопросам должны приниматься безоговорочно. В сущности, Свифт требует того же и для политика, но идет еще дальше, не признавая за ученым — будь то представитель «чистой» науки или исследователь*ad hoc*[5] — права считаться личностью, полезной даже в своей области. Если бы Свифт и не написал Третью часть «Путешествий Гулливера», из всего остального текста можно было бы заключить, что ему, подобно Толстому и Блейку, ненавистна сама идея изучения процессов, происходящих в Природе. «Разум», который так восхищает его в гуигнгнмах, отнюдь не означает способность делать логические выводы из наблюдаемых фактов. Хоть он нигде не декларирует этого открыто, из многих эпизодов следует, что для него это понятие означает здравый смысл — то есть признание очевидного и презрительное отношение ко всякого рода софизмам и абстракциям — либо

[5] Примечания: 5
Произвольный, надуманный*(лат.)*

полную бесстрастность и непредубежденность. В целом он считает, что мы уже знаем все, что знать необходимо, и просто неправильно используем свои знания. Медицина, к примеру, является наукой бесполезной, потому что, веди мы более естественный образ жизни, никаких болезней не существовало бы вовсе. В то же время Свифт — не проповедник «простой жизни» и не поклонник Благородного дикаря. Он благосклонно относится к цивилизации и ее благам. Он не только высоко ценит хорошие манеры, искусство беседы и даже познания в области литературы и истории, он также понимает, что сельское хозяйство, навигацию и архитектуру следует изучать и развивать для всеобщей пользы. Но его предполагаемая цель — неизменная, равнодушная к познанию цивилизация, то есть, в сущности, современный ему мир, немного более чистый, немного более разумный, без радикальных перемен и попыток проникнуть в неведомое. Более чем можно было бы ожидать от человека, столь свободного от общепринятых заблуждений, он чтит прошлое, особенно классическую античность, и уверен, что современный человек резко деградировал за

последнее столетие[6]. Оказавшись на острове чародеев, где можно по своему желанию вызывать духов умерших,

«...я попросил вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов».

Хотя в этой главе Части третьей Свифт подвергает сокрушительной критике достоверность официальной истории, критический дух покидает его, как только речь заходит о греках и римлянах. Он, разумеется, не обходит молчанием коррупцию, царившую в Римской империи, но испытывает какое-то безрассудное восхищение выдающимися фигурами античного мира.

«При виде Брута я проникся глубоким благоговением: в каждой черте его лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель, вели-

---

[6] Примечания: 6

Физическое вырождение, которое Свифт, по его словам, наблюдал, могло в те времена быть фактом реальным. Он объясняет его распространением сифилиса, который был тогда для Европы болезнью новой и, вполне вероятно, проявлялся в более опасных формах, чем теперь. Спиртные напитки также были в семнадцатом веке новинкой и поначалу могли привести к широкому распространению пьянства.*(Примеч. авт.)*

чайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, далеко не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он между прочим сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон-младший, сэр Томас Мор и он сам всегда находятся вместе — секстумвират, к которому вся история человечества не в состоянии прибавить седьмого члена».

Следует отметить, что из этих шестерых только один является христианином. Это важный момент. Сложив вместе пессимизм Свифта, его почитание прошлого, нелюбознательность и ужас, который он испытывает перед человеческим телом, получим мировоззрение, характерное для клириков-реакционеров, то есть людей, защищающих несправедливое устройство общества на том основании, что сколько-нибудь существенно улучшить этот мир невозможно, а посему значение имеет лишь «мир иной». Однако Свифт не

проявляет никаких признаков того, что у него есть религиозные убеждения по крайней мере в общепринятом смысле этого понятия. Судя по всему, он сколько-нибудь серьезно не верит в жизнь после смерти, и его представления о добре связаны с республиканизмом, любовью к свободе, храбростью, «человеколюбием» (под которым он подразумевает общественную сознательность), «благоразумием» и иными языческими добродетелями. И это напоминает нам о другой стороне личности Свифта, плохо сочетающейся с его неверием в прогресс и огульной ненавистью к человечеству.

Начать с того, что временами он выступает с позиций «конструктивных» и даже «продвинутых». Допускаемая кое-где непоследовательность — почти знаковое свойство утопической литературы, и Свифт порой вставляет хвалебное слово в пассаж, призванный, казалось бы, быть чисто сатирическим. Так, свои мысли об образовании юношества он приписывает лилипутянам, взгляды которых на эту проблему почти совпадают со взглядами гуигнгнмов. У лилипутян также есть различные общественные и юридические установления (например, пенсионное обеспечение стариков, поощрение законопослушных граждан

и наказание за нарушение законов), которые он приветствовал бы в своей стране. Где-то в середине этого эпизода Свифт вспоминает о своем сатирическом замысле и добавляет: «Описывая как эти, так и другие законы империи, я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современной испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения»; но поскольку предполагается, что Лилипутия — это олицетворение Англии, а законы, о которых он говорит, в Англии никогда не имели аналогов, становится очевидным, что потребность выступить с конструктивным предложением просто оказалась для автора непреодолимой. Однако самым существенным вкладом Свифта в политическую мысль — в узком смысле этого понятия — является его критика, особенно в Части третьей, того, что теперь назвали бы тоталитаризмом. Он демонстрирует удивительно ясное предвидение наводненного шпионами «полицейского государства» с его бесконечной охотой на еретиков и судами над предателями — государства, где все это предназначено для нейтрализации общественного недовольства путем обращения его в

военную истерию. И заметьте, Свифт выводит целое из малой части, поскольку современные ему слабые правительства еще не предоставляли тому готовых иллюстраций. Например, вспомним профессора Школы политических прожектеров, который показал Гулливеру огромный свод «инструкций для открытия противоправительственных заговоров», утверждая при этом, что тайные мысли людей следует распознавать, исследуя их экскременты,

«…ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его был совсем другой, когда он думал только поднять восстание или поджечь столицу».

Существует мнение, что образ этого профессора и его теория были подсказаны Свифту не таким уж — с высоты нашего опыта — удивительным или отвратительным фактом: на одном из незадолго до того случившихся государственных судебных процессов в качестве улики были пред-

ставлены некие письма, найденные в отхожем месте. А чуть позже в той же главе мы словно бы попадаем в разгар политических чисток, впоследствии имевших место в России.

«…в королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден… большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных… Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в заговоре; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их собственников заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв… Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действенными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Так, N будет означать заговор; B — кавалерийский полк; L — флот на море… Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно

прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: "Наш брат Том нажил геморрой", искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод».

Другие профессора этой школы придумывают упрощенные языки общения и специальные механические устройства, которые сами пишут книги, учат своих студентов, заставляя их съедать облатки, на которых записаны тексты уроков, или предлагают разом устранять индивидуальные особенности, отрезая часть мозга у одного человека и вживляя ее в голову другого. Есть нечто странно знакомое в атмосфере, описанной в этих главах, потому что сквозь всю эту нарочитую буффонаду пробивается ощущение, что одной из целей тоталитаризма является не просто заставить людей мыслить*правильно,* но в сущности сделать так, чтобы они вообще *поменьше думали.* Да и то, как Свифт описывает Вождя, правящего племенем йеху, и «фаворита», которого сначала используют для грязной работы, а потом делают козлом отпущения, удивительно точно соответствует характерным особенностям

нашего времени. Но должны ли мы из всего этого сделать вывод, что Свифт в первую очередь и главным образом является врагом тирании и защитником свободомыслия? Нет, насколько можно понять, его взгляды отнюдь не отличаются либерализмом. Безусловно, он ненавидит лордов, королей, епископов, генералов, светских львиц, всевозможные ордена, титулы и вообще подобный вздор, но, похоже, и о простолюдинах думает не лучше, чем об их правителях, и едва ли он является сторонником большего социального равенства или у него вызывает восторг идея представительных органов. Общество гуигнгнмов организовано по кастовой системе, расовой по существу: масть лошадей, выполняющих обязанности прислуги, отличается от масти их хозяев, и никакое скрещивание между ними не допускается. Система образования, которая так восхитила Свифта в Лилипутии, здесь имеет безоговорочно наследственный сословный характер: дети из беднейших классов вообще не учатся в школах, потому что, раз «… они предназначены судьбой возделывать и обрабатывать землю… то их образование не имеет особого значения для общества». Не видно и чтобы Свифт, несмотря на терпимость, проявлявшуюся к его собственным

сочинениям, был пламенным приверженцем свободы слова и прессы. Король Бробдингнега поражен многочисленностью религиозных сект и политических фракций в Англии и считает, что те, «кто исповедуют мнения, пагубные для общества» (похоже, в данном контексте это означает просто еретические мнения), хоть и не обязаны их менять, скрывать обязаны, потому что, «если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости». Имеется и менее очевидное свидетельство собственных взглядов Свифта — оно состоит в описании того, каким образом Гулливер покидает страну гуигнгнмов. Время от времени Свифт выступает своего рода анархистом, и Четвертая часть «Путешествий Гулливера» представляет картину анархистского общества, управляемого не законом в обычном смысле слова, а диктатом «Разума», который все добровольно принимают. Генеральный совет гуигнгнмов «призывает» хозяина Гулливера избавиться от него, и соседи оказывают на него давление, чтобы он подчинился «призыву». Они выдвигают два соображения. Первое: присутствие необычного йеху может нарушить

покой племени; второе — дружеские отношения между гуигнгнмом и йеху «...противны разуму и природе и являются вещью, никогда прежде не слыханной у них». Хозяин Гулливера не очень хочет подчиняться, но игнорировать «призыв» (как нам сообщают, гуигнгнма никогда не *принуждают* делать что бы то ни было, ему лишь «советуют» или его «призывают») непозволительно. Этот эпизод ясно демонстрирует тоталитарную тенденцию, таящуюся в анархистской или пацифистской общественной системе. В обществе, где не существует закона и — теоретически — нет принуждения, единственным арбитром поведения остается общественное мнение. Но в силу чрезвычайно высокой у стадных животных тяги к конформизму это общественное мнение отличается куда меньшей терпимостью, нежели любая правовая система. Когда человеческими существами управляет императив «ты не должен», индивидуум может позволить себе некоторую долю эксцентрики; когда же ими, как предполагается, правят «любовь» и «разум», он испытывает постоянное давление, заставляющее его вести себя и думать точно так же, как все остальные. Гуигнгнмы, как нам сообщают, имели единое мнение почти по всем вопросам.

Единственным вопросом, который они когда-либо *дискутировали,* был вопрос: как поступить с йеху. Помимо этого между ними не было ни малейших разногласий, ибо истина всегда либо самоочевидна, либо непознаваема и, стало быть, неважна. В их языке, судя по всему, даже отсутствовало слово «мнение», и в разговорах никогда не возникало «разности чувств». В сущности, они достигли высшей стадии тоталитарного общества, стадии, на которой послушание стало настолько всеобщим, что отпала даже нужда в полицейских силах. Свифт подобное положение вещей одобряет, поскольку ни любознательность, ни добродушие среди его отличительных особенностей не числятся. Инакомыслие всегда представлялось ему абсолютным извращением. Он пишет, что разум для гуигнгнмов «…не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; наоборот, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом». Иными словами: мы уже все знаем, так в честь чего нам допускать иные мнения? Из этого естественным образом и вытекает тоталитарное

общество гуигнгнмов, в котором нет места ни свободе, ни развитию.

Можно с полным правом назвать Свифта бунтарем и иконоборцем, но, если не брать в расчет некоторые второстепенные моменты, такие как утверждение, что женщины не должны получать образование наравне с мужчинами, считать его «левым» нет оснований. Он консервативный анархист, презирающий власть, но не верящий в свободу и сохраняющий аристократическое мировоззрение при ясном понимании того, что существующая аристократия развращена и ничтожна. Когда Свифт произносит свои диатрибы против богатых и власть имущих, вероятно, как я уже говорил ранее, отчасти следует списывать их на тот факт, что сам он принадлежал к менее успешной партии и испытывал личное разочарование. По очевидным причинам, оппозиция

всегда более радикальна, чем власть[7]. Но самое существенное — это неспособность Свифта поверить в то, что жизнь — обычную жизнь, ту, что протекает здесь, на земле, а не умозрительную, стерилизованную ее версию — можно сделать пригодной для человека. Разумеется, никто, положа руку на сердце, не скажет, что счастье — нормальное состояние ныне живущих взрослых людей, но, вероятно, существуют способы сделать его таковым, и именно вокруг этого вопроса на самом деле вращаются все серьезные политические дискуссии. У Свифта много общего — думаю, больше, чем принято считать, — с Толстым, тоже не верившим в возможность счастья. У обоих одинаково анархическое мировоззрение, за которым кроется авторитарный склад ума; оба

---

[7] Примечания: 7

В конце книги в качестве типичных образцов человеческой глупости и порочности Свифт называет «… судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможу, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных». Нельзя не увидеть в этом яростную злобу человека, лишенного власти. В этом перечне свалены в кучу те, кто нарушает общественные установления, и те, кто их охраняет. К примеру, если вы осуждаете некоего полковника за то, что он полковник, то на каком основании можно осудить предателя? Или: если вы желаете искоренить воров, нужно иметь законы, а следовательно, и юристов. Но весь этот заключительный пассаж, дышащий ненавистью и неаргументированный, звучит неубедительно. Создается впечатление, что личная злоба водила пером автора.*(Примеч. авт.)*

враждебно настроены по отношению к науке, нетерпимы к оппонентам, одинаково неспособны признать важность каких бы то ни было проблем, которые неинтересны им самим; и оба испытывают ужас перед реальным течением жизни, хотя Толстой пришел к этому позднее и иным путем. Неудачно сложившаяся сексуальная жизнь обоих имеет разную природу, однако обоим им свойственно сочетание неподдельного отвращения с болезненным влечением к ней. Толстой был «раскаявшимся» повесой, пришедшим к проповеди полного воздержания, которую сам же и нарушал до весьма преклонных лет. Свифт — предположительно — страдал импотенцией и испытывал неестественный ужас перед человеческими экскрементами, при том что думал об этом, судя по его сочинениям, постоянно. Подобные люди, похоже, не способны радоваться даже той малой доле счастья, что выпадает большинству человеческих существ, и по вполне понятным причинам не желают признавать, что земная жизнь поддается значительному улучшению. Их нелюбопытство и их нетерпимость растут из одного и того же корня.

Льющееся из Свифта чувство отвращения, его злоба и пессимизм имели бы смысл, воспринимай

он здешний мир как прелюдию к «миру иному». Но поскольку он скорее всего ни во что подобное всерьез не верит, у него возникает потребность сконструировать рай, предположительно находящийся на земле, но решительно не похожий ни на что реально существующее, в котором полностью искоренено все, что ему ненавистно: ложь, глупость, перемены, воодушевление, удовольствие, любовь и грязь. В качестве идеального существа он выбирает лошадь, животное, чьи экскременты наименее отвратительны. Гуигнгнмы невыносимо скучны — этот факт настолько общепризнан, что не требует никаких доказательств. Гений Свифта сумел сделать их правдоподобными, но мало найдется таких читателей, в ком они вызовут иное чувство, кроме неприязни. И дело вовсе не в уязвленном самолюбии человека, которому предпочли лошадь, ибо, если сравнивать гуигнгнмов и йеху, первые имеют гораздо больше общего с человеческими существами; и в ужасе перед йеху Гулливера, понимающего, что они создания той же породы, что и он сам, есть некий логический абсурд. Этот ужас охватывает его при первой же встрече с йеху. «… я никогда еще, во все мои путешествия, не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызы-

вало к себе такое отвращение», — говорит он. Но в сравнении с кем так отвратительны йеху? Не с гуигнгнмами, потому что гуингнмов Гулливер к тому времени еще не видел. Он мог сравнивать их только с собой, то есть с человеком. Впоследствии мы узнаем, что йеху*и есть* человеческие существа, и человеческое общество становится для Гулливера невыносимым, потому что все люди — йеху. Почему же в таком случае отвращение к человечеству не настигло его раньше? Нам объясняют: хоть йеху фантастически отличаются от людей, оказывается, что они — точно такие же, как люди, и это приводит автора в ужас. Не помня себя от ярости, Свифт кричит своим соплеменникам: «Вы еще грязнее, чем кажетесь!» Впрочем, испытывать симпатию к йеху и впрямь невозможно, и гуигнгнмы кажутся нам непривлекательными не потому, что угнетают йеху, а потому, что «Разум», который правит ими, на самом деле является хладнокровным схождением к смерти. Они свободны от любви, дружбы, любознательности, страха, печали и — если не считать чувств, которые они испытывают по отношению к йеху, занимающим в их сообществе то же место, что евреи в нацистской Германии, — от гнева и ненависти. «Они не балуют своих жеребят, но

заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно *Разумом*». Они обладают огромным запасом «дружелюбия» и «благожелательности», но эти чувства не направлены ни на кого персонально, они изливаются лишь на весь их род в целом. Они ценят искусство беседы, но в их разговорах нет разности мнений и «… говорится только о деле, и речи выражаются в очень немногих, но полновесных Словах». У них действует строгий контроль над рождаемостью, каждой паре позволено произвести на свет двух отпрысков, после чего она должна воздерживаться от половой жизни. Брачные пары подбирают старшие, руководствуясь принципами евгеники, и в языке у них слово «любовь» не имеет физиологического значения. Когда кто-нибудь умирает, они живут дальше как прежде, не испытывая ни малейшей скорби. Очевидно, что их цель, продолжая физическое существование, быть насколько возможно похожими на трупы. Надо признать, что есть несколько особенностей их жизни, которые не представляются «разумными» даже в их понимании этого слова. Так, они чрезвычайно высоко ценят не только физическую выносливость, но и атлетизм, а кроме того любят предаваться поэзии.

Однако эти исключения, вероятно, не так случайны, как может показаться. Вполне вероятно, что Свифт подчеркивает физическую силу гуигнгнмов, чтобы сделать очевидным для читателя, что ненавистной человеческой расе никогда их не победить, а вкусом к поэзии он наделяет их потому, что поэзия — антитеза науки, самого, с его точки зрения, бесполезного из всех занятий. В Третьей части он называет «воображение, фантазию и изобретательность» необходимыми способностями, коих (несмотря на их любовь к музыке) лапутянским математикам решительно недостает. Следует помнить, что, хотя Свифт был талантливейшим сочинителем комических стихов, ценил он по-настоящему скорее всего лишь дидактическую поэзию. Гуигнгнмы, по его словам:

«…в поэзии… превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют обоими качествами, и темой их является либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или в других телесных упражнениях».

Увы, даже гений Свифта оказался бессилен

создать образец, по которому можно было бы судить о величии поэзии гуигнгнмов. Однако, судя по описанию, это было нечто чопорное (предположительно рифмованные стихи героического содержания), не противоречащее принципам «Разума».

Печально известно, что описать состояние счастья чрезвычайно трудно, и картина справедливого и хорошо организованного общества редко получается привлекательной или убедительной. Большинство создателей «позитивных» утопий, тем не менее, стараются показать, какой могла бы быть жизнь, если бы мы имели возможности проживать ее с большей полнотой. Свифт же выступает за отказ от радостей жизни, обосновывая это тем, что «Разум» противоречит человеческим инстинктам. Гуигнгнмы, существа, не имеющие истории, из поколения в поколение ведут благоразумную жизнь, поддерживая численность своего населения строго на одном и том же уровне, избегая каких бы то ни было страстей, не страдая ни от каких болезней, встречая смерть с полным безразличием и воспитывая потомство на тех же принципах, — и все это ради чего? Ради того, чтобы процесс длился бесконечно. Им никогда не пришло бы в голову, что жизнь здесь

и сейчас сто́ит того, чтобы ее прожить, что ее можно сделать более сто́ящей или что ею можно пожертвовать ради будущего блага. Унылый мир гуигнгнмов — это утопия, которую только и мог сконструировать Свифт, учитывая, что он не верил в «мир иной», а равно не был способен извлечь ни малейшего удовольствия из какой бы то ни было нормальной человеческой деятельности. Но сочинил он его не как нечто желанное само по себе, а как повод для очередной атаки на человечество. Его цель, как обычно, унизить человека, напомнив ему, что он слаб и смешон, а прежде всего, что он смердит; но главный, быть может, мотив состоит в своего рода зависти — зависти призрака к живому, человека, знающего, что он не способен быть счастливым, к другим, которые, как он опасается, могут быть чуточку счастливее его. В политической сфере подобное мировоззрение оборачивается либо реакционными, либо нигилистическими взглядами, ибо человек, его исповедующий, хочет предотвратить всякое развитие общества, чтобы не обмануться в своем пессимизме. И делать это он может, либо разнося всё в щепки, либо отпугивая от любых перемен. Свифт в конце концов выбрал первое: он взорвал мир к чертям единственным спосо-

бом, какой был доступен до изобретения атомной бомбы, — погрузился в безумие, но, как я попытался показать, его политические цели были в общем реакционными.

По тому, что я написал, может возникнуть впечатление, будто я *против* Свифта и моя задача — доказать несостоятельность его взглядов или даже принизить его. В политическом и моральном смысле — да, я против Свифта, насколько я его понимаю. И тем не менее, как ни парадоксально, он — один из тех писателей, которыми я восхищаюсь безмерно, а «Путешествия Гулливера», с моей точки зрения, — книга, которой невозможно пресытиться. Впервые я прочел ее в восьмилетнем возрасте, чтобы быть точным, за день до восьмилетия: стащил экземпляр, который был приготовлен мне в подарок ко дню рождения, и тайком вмиг проглотил его; с тех пор я перечитывал эту книгу не менее шести раз. Ее очарование для меня неиссякаемо. Если бы мне предложили составить список из шести книг, которые будет разрешено сохранить, когда все остальные подвергнут уничтожению, я бы несомненно включил в него «Путешествия Гулливера». И тут-то встает вопрос: каково взаимоотношение между согласием со взглядами

автора и наслаждением от чтения его книги?

Человек, способный интеллектуально отрешиться от взглядов автора, даже если он глубоко не согласен с ними, в состоянии *оценить* достоинства его письма, но *наслаждение* — дело иное. Предположим, что существует хорошее и плохое искусство, тогда хорошее и плохое должно быть заложено в самом произведении — не то чтобы совсем независимо от того, кто его воспринимает, но независимо от расположения его духа. В этом смысле стихотворение не может казаться хорошим в понедельник и плохим во вторник. Но если читатель судит о стихотворении по тому отклику, который оно в нем вызывало, это может оказаться именно так, потому что отклик, или наслаждение, — реакция сугубо субъективная, не поддающаяся управлению извне. Даже человек с чрезвычайно высоким уровнем культурного развития отнюдь не постоянно испытывает эстетические чувства, и разрушить их очень легко. Когда вы испуганы или голодны, у вас болит зуб или вы страдаете от морской болезни, «Король Лир» представляется вам ничуть не лучше «Питера Пена». Умом вы понимаете, что «Король Лир» лучше, но это просто факт, хранящийся в вашей памяти; вы не *прочувствуете* его до тех

пор, пока не вернетесь в нормальное состояние. Так же катастрофически — даже еще более катастрофически, поскольку причину здесь осознать труднее, — эстетическое восприятие разрушается из-за политического или нравственного несогласия с автором. Если книга злит, ранит или вызывает у вас тревогу, она не доставит вам наслаждения, каковы бы ни были ее художественные достоинства. А если она кажется вам по-настоящему вредной, способной оказать на других нежелательное влияние, вы, возможно, даже подведете под нее некую эстетическую теорию, чтобы доказать, что никакими художественными достоинствами она *не обладает*. Современная литературная критика в значительной мере и состоит из метаний то в ту, то в другую сторону между двумя этими системами критериев. Но все же вероятен и противоположный процесс: наслаждение может пересилить неодобрение даже тогда, когда сознаешь, что наслаждаешься чем-то совершенно чуждым и даже враждебным. Свифт, чье мировоззрение в высшей степени неприемлемо, но который, тем не менее, является чрезвычайно популярным писателем, — прекрасный тому пример. Что позволяет нам не сердиться, что нас называют

йеху, при том что мы твердо убеждены: никакие мы не йеху?

Разумеется, обычного ответа — мол, конечно же, Свифт неправ, и вообще он был сумасшедшим, но он «хороший писатель» — здесь недостаточно. Да, литературные достоинства книги в какой-то незначительной степени можно отделить от ее содержания. Есть люди, обладающие врожденным даром слова, так же как некоторые наделены «игровым чутьем». В большой мере это вопрос правильного выбора времени и интуитивного понимания, на что сделать основной упор. Первый приходящий на память пример: перечитайте приведенный выше фрагмент, начинающийся со слов: «В королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден…» В очень большой степени впечатление, которое он производит, зависит от последней фразы: «Это и есть анаграмматический метод». Строго говоря, фраза ненужная, потому что мы уже видели, как расшифровываются анаграммы, но этот издевательски-торжественный повтор, в котором словно бы слышится голос самого Свифта, забивает последний гвоздь в картину идиотизма описанной деятельности. Однако ни мощь и простота прозы Свифта, ни сила его воображения, сделавшая, казалось бы, неверо-

ятное нагромождение слов более убедительным, нежели большинство исторических трудов, не могли бы заставить нас наслаждаться Свифтом, если бы его ви́дение мира действительно было оскорбительным или шокирующим. Миллионы людей по всему свету наслаждаются «Путешествиями Гулливера», более-менее сознавая при этом антигуманную подоплеку книги; и даже ребенок, который воспринимает части первую и вторую просто как приключенческую историю, чует некую абсурдность человечков шести дюймов росту, мнящих себя людьми. Объяснение, вероятно, можно найти в том, что свифтовское видение мира воспринимается не как полностью ложное, или, точнее было бы сказать, не всегда ложное. Свифт — больной писатель. Он постоянно пребывает в депрессивном состоянии, которое у нормальных людей случается лишь изредка, — это как если бы кому-то, страдающему желтухой или не оправившемуся от гриппа, достало бы сил писать книги. Но всем нам это состояние знакомо, и что-то внутри нас откликается, когда мы встречаемся с его выражением в литературе. Возьмем, к примеру, одно из самых типичных произведений Свифта, стихотворение «Дамский будуар» или близкое к нему по духу «На отход ко сну

прелестной юной нимфы». Что правдивей: точка зрения, выраженная в этих стихах, или представление Блейка, вложенное в строку: «Божественно ее нагое тело»? Нет сомнений, что Блейк ближе к истине, и все же кто не испытает своего рода удовольствие при виде этой фальшивой женской хрупкости, внезапно представшей взору? Свифт искажает картину мира, отказываясь видеть в человеческой жизни что-либо, кроме грязи, глупости и порочности, но фрагмент, извлекаемый им из целого, действительно существует, и мы это знаем, хоть и избегаем упоминать об этом. Какой-то частью своего сознания — а у любого нормального человека эта часть преобладает — мы верим, что человек благородное животное и жизнь стоит того, чтобы ее прожить, но есть в каждом из нас некое внутреннее «я», которое, по крайней мере иногда, в ужасе отшатывается от окружающей действительности. Самым странным образом удовольствие и отвращение связаны между собой. Человеческое тело прекрасно, но оно же омерзительно и смешно — в этом нетрудно убедиться в любом плавательном бассейне. Половые органы — объект вожделения и одновременно отвращения, недаром во многих, если не во всех, языках их названия использу-

ются как ругательства. Мясо вкусно, но в лавке мясника начинает мутить; да и вся наша еда в конечном счете происходит из навоза и мертвой плоти — двух вещей, которые кажутся нам самыми ужасными из всего. Ребенок, когда он выходит из младенческого возраста, но все еще видит мир свежим взглядом, испытывает ужас так же часто, как удивление — ужас и отвращение к соплям и плевкам, к собачьим экскрементам на тротуаре, к мертвой жабе, в которой копошатся черви, к запаху пота взрослых, к безобразности стариков с лысыми головами и шишковатыми носами. Не переставая твердить о болезнях, грязи и уродствах, Свифт в сущности ничего не придумывает, он просто кое-что оставляет за скобками. Человеческое поведение тоже, особенно в политических кругах, — именно таково, каким он его описывает, хотя оно включает в себя и другие, более важные факторы, коих он не желает признавать. Насколько известно, и боль, и ужас необходимы для продолжения жизни на этой планете, поэтому пессимисты вроде Свифта имеют все основания вопрошать: «Если боль и ужас неотвратимы, как можно сделать жизнь существенно лучше?» По существу, его позиция — это позиция христианская, за вычетом обеща-

ния «мира иного», которое, впрочем, наверняка меньше владеет умами верующих, чем убеждение, что этот мир — юдоль слез, а могила — место упокоения. Я уверен, что это неправильная позиция и она может оказывать пагубное влияние на поведение человека, но что-то внутри нас отзывается на нее, как на мрачные слова заупокойной службы и сладковатый запах мертвого тела в деревенской церкви.

Часто говорят — во всяком случае, те, кто придают первостепенное значение содержанию, — что книга не может быть «хорошей», если она проповедует откровенно ложное представление о жизни. В наши времена, например, считается, что книга, обладающая подлинными художественными достоинствами, непременно должна быть более или менее «прогрессивной» по своей направленности. При этом не учитывается тот факт, что на протяжении всей человеческой истории шла такая же ожесточенная борьба между прогрессом и реакцией и что во все века лучшие книги были написаны с самых разных позиций, иные из них — с заведомо более ложных, чем другие. Поскольку писатель — это пропагандист, самое большее, чего можно от него требовать, это чтобы он искренне верил в то, что пишет,

и чтобы это не было явной глупостью. Сегодня, например, легко представить себе хорошую книгу, написанную католиком, коммунистом, фашистом, пацифистом, анархистом, быть может, старомодным либералом или заурядным консерватором, однако невозможно вообразить хорошую книгу, написанную спиритуалистом, бухманитом[8] или куклукскла новцем. Взгляды, исповедуемые автором, должны быть совместимы со здравомыслием — в медицинском понятии этого слова — и с энергией непрерывного движения мысли. Кроме этого мы вправе требовать от автора только таланта, который, вероятно, является другим названием убедительности. Свифт не обладал житейской мудростью, но был наделен гигантской силой прови́дения, позволявшей ему извлечь на свет одиночную потаенную правду, укрупнить ее и тем самым деформировать. Долгая жизнь «Путешествий Гулливера» показывает: если за текстом стоит подлинная сила убежденности, даже мировоззрение, которое с трудом выдерживает испытание на здравомыс-

[8] Примечания: 8

Бухманиты — последователи Фрэнка Бухмана (Букмена), американского пастора (1878–1961), основателя движения «Моральное перевооружение», а также анонимных алкоголиков. Доктрина Бухмана состоит из нескольких тезисов, вроде «Мы все виноваты во всем», «Начни с себя», «Будь искренен и чист»…*(Примеч. пер.)*

лие, способно породить великое произведение искусства.

Сентябрь – октябрь 1946 г.

Уэллс, Гитлер и Всемирное государство

«В марте или апреле, утверждают любители пророчеств, по Англии будет нанесен сокрушительный удар… Трудно сказать, каким способом Гитлер намерен его нанести. Его ослабленные и распыленные военные части в настоящее время, по-видимому, не намного превосходят силы итальянцев, перед тем как их проверили делом в Греции и в Африке».

«Воздушное могущество немцев почти иссякло. Их авиация не отвечает современному уровню, а лучшие летчики либо погибли, либо вымотались и утратили боевой дух».

«В 1914 году за Гогенцоллернами была лучшая армия в мире. А за этим крикливым берлинским пигмеем нет ничего, с ней сопоставимого… И все равно наши военные «эксперты» твердят об ожидаемом наступлении, хотя это только фантом. Им грезится, будто немецкие войска великолепно оснащены и безупречно выучены. То нам говорят, что будет осуществлен решающий «удар» через Испанию и Северную Африку, то рассуждают о броске через Балканы, о наступлении от Дуная к Анкаре и дальше — на Персию, на Индию, — то

об «уничтожении» России, то о «лавине», которая обрушится на Италию через перевал Бреннер. Проходит неделя за неделей, а фантом все остается фантомом, и ни одно из этих предсказаний не сбывается — по очень простой причине. А причина та, что ничего этого немцы осуществить не могут. Их пушки, их снаряжение слишком несовершенны, да и то, что у них было, большей частью бессмысленно потеряно из-за глупых попыток Гитлера вторгнуться на Британские острова. А вся их примитивная выучка наспех идет прахом, едва появилось понимание, что блицкриг провалился и что война — дело долгое».

Приведенные цитаты заимствованы не из кавалерийского журнала, а из серии газетных статей Герберта Уэллса, написанных в начале этого года, а теперь изданных книгой под заглавием «Путеводитель по новому миру». С тех пор как они были напечатаны, немецкая армия оккупировала Балканы и снова заняла Киренаику, она может, как только сочтет это целесообразным, двинуться и через Турцию, и через Испанию, она вторглась в Россию. Чем закончится эта последняя ее кампания, сказать не берусь, но все-таки замечу, что германский Генеральный штаб, чьи расчеты следует принимать всерьез, не начал бы операцию

без твердой уверенности, что ее можно успешно завершить месяца за три. Вот так обстоит дело с немецкой армией, которой всего лишь пугают, не сообразив, как плохо она оснащена, как ослабела боевым духом и прочее. А что может Уэллс противопоставить «крикливому берлинскому пигмею»? Лишь обычное пустословие насчет Всемирного государства да еще декларацию Сэнки, которая представляет собой попытку определить основные права человека, сопровождаясь антивоенными высказываниями. За вычетом того, что Уэллса ныне особенно заботит, чтобы мир договорился о контроле над военными операциями в воздухе, это все те же самые мысли, которые он вот уже лет сорок непрерывно преподносит с видом проповедника, возмущенного глупостью слушателей, — подумать только, они не способны усвоить столь очевидные истины!

Но много ли проку утверждать, что необходим международный контроль над военными действиями в воздухе? Весь вопрос в том, как его добиться. Какой смысл разъяснять, до чего желательно было бы Всемирное государство? Главное, что ни одна из пяти крупнейших военных держав не допускает и мысли о подобном единении. Всякий разумный человек и прежде в основном

соглашался с идеями Уэллса; но, на беду, власть не принадлежит разумным людям, и сами они слишком часто не выказывают готовности приносить себя в жертву. Гитлер — сумасшедший и преступник, однако же у Гитлера армия в миллионы солдат, у него тысячи самолетов и десятки тысяч танков. Ради его целей великий народ охотно пошел на то, чтобы пять лет работать с превышением сил, а вслед за тем еще два года воевать, тогда как ради разумных и в общем-то гедонистических взглядов, излагаемых Уэллсом, вряд ли кто-то согласится пролить хоть каплю крови. И прежде чем заводить речь о переустройстве жизни, даже просто о мире, надо покончить с Гитлером, а для этого потребуется пробуждение энергии, которая не обязательно будет столь же слепой, как у нацистов, однако не исключено, что она окажется столь же неприемлемой для «просвещенных» гедонистов. Что позволило Англии устоять в последний год? Отчасти, бесспорно, некое смутное представление о лучшем будущем, но прежде всего атавистическое чувство патриотизма, врожденное у тех, чей родной язык английский, — ощущение, что они превосходят всех остальных. Двадцать предвоенных лет главная цель английских левых интеллигентов

состояла в том, чтобы подавить это ощущение, и, если бы им удалось добиться своего, мы бы уже видели сейчас эсэсовские патрули на улицах Лондона. А отчего русские с такой яростью сопротивляются немецкому вторжению? Отчасти, видимо, их воодушевляет еще не до конца забытый идеал социалистической утопии, но прежде всего — необходимость защищать Святую Русь («священную землю отечества» и т. п.), о которой теперь вспомнил и говорит почти этими именно словами Сталин. Энергия, действительно делающая мир тем, что он есть, порождается чувствами — национальной гордости, преклонением перед вождем, религиозной верой, воинственным пылом, словом, эмоциями, от которых либерально настроенные интеллигенты отмахиваются бездумно, как от пережитка, искоренив этот пережиток в самих себе настолько, что ими утрачена всякая способность к действию.

Те, кто называет Гитлера Антихристом или, наоборот, святым, ближе к истине, нежели интеллектуалы, десять кошмарных лет утверждавшие, что это просто паяц из комической оперы, о котором нечего всерьез говорить. На поверку подобные настроения свидетельствуют лишь об изоляции, ставшей состоянием англий-

ской жизни. Книжный клуб левых, по существу, порождение Скотленд-Ярда, точно так же как Союз обета мира — порождение военного флота. Одной из примет последнего десятилетия стал статус серьезной литературы, который приобрела «политическая книга» — некий расширенный памфлет, сочетающий сведения по истории с критическими высказываниями о политике. Но даже самые заметные авторы таких книг — Троцкий, Раушнинг, Розенберг, Силоне, Боркенау, Кёстлер и другие — не были англичанами, и, кроме того, почти все они были отступниками, то есть отреклись от экстремизма партий, к которым прежде принадлежали, познакомившись с тоталитаризмом накоротке, испытав преследования и пережив изгнание. Лишь в англоязычных странах вплоть до начала войны было принято считать, что Гитлер — не заслуживающий внимания фанатик, а немецкие танки сделаны из картона. По цитируемым мною высказываниям Уэллса видно, что он и сегодня думает примерно так же. Вряд ли его мнения переменились ввиду бомбардировок или успехов немцев в Греции. Чтобы понять, в чем сила Гитлера, он должен был бы отказаться от образа мыслей, которого придерживался всю жизнь.

Подобно Диккенсу, Уэллс происходит из среднего класса, которому чуждо все военное. Его оставляют абсолютно бесстрастным гром пушек, звяканье шпор и проносимое по улицам боевое знамя, при виде которого у других перехватывает дыхание. Сражения, преследования, схватки — эта сторона жизни внушает ему глубочайшее отвращение, что выразилось во всех его ранних книгах яростными выпадами против любителей лошадей. Главный злодей в его «Историческом очерке» — Наполеон, искатель приключений на поле брани. Полистайте любую книгу Уэллса из написанных за последние сорок лет, и вы в ней обнаружите одну и ту же бесконечно повторяющуюся мысль: человек науки, который, как предполагается, творит во имя разумного Всемирного государства, и реакционер, стремящийся реставрировать прошлое во всем его хаосе, — антиподы. Это противопоставление — постоянная линия в его романах, утопиях, эссе, сценариях, памфлетах. С одной стороны — наука, порядок, прогресс, интернационализм, аэропланы, сталь, бетон, гигиена; с другой — война, националистические страсти, религия, монархия, крестьяне, профессура древнегреческого, поэты, лошади. История в понимании Уэллса — это победа за

победой, которые ученый одерживает над романтиком. Что же, Уэллс, вероятно, прав, полагая, что «разумное», плановое общество, где у руля будут ученые, а не шарлатаны, рано или поздно станет реальностью, но допускать это как перспективу вовсе не то же самое, что думать, будто такое общество возникнет со дня на день. Где-то должны отыскаться следы полемики Уэллса с Черчиллем, происходившей во время русской революции. Уэллс упрекает Черчилля в том, что тот сам не верит собственным пропагандистским заявлениям, будто большевики — это чудовища, утопающие в пролитой ими крови, и т. д.; просто Черчилля страшит, что большевики возвещают наступление эры здравого смысла и научного контроля, когда для охотников помахать жупелами — таких, как Черчилль, — не останется места. Но в действительности Черчилль судил о большевиках вернее, чем Уэллс. Возможно, первые большевики были чистыми ангелами или сущими дьяволами — это не так уж важно, — но разумными людьми их никак не назовешь. И тот порядок, который они вводили, был не утопией уэллсовского образца, а правлением избранных, представлявшим собой, подобно английскому правлению избранных, военную деспотию, под-

крепленную процессами в духе «охоты на ведьм». То же непонимание сути дела сказалось в иной форме, когда Уэллс взялся судить о нацистах. Гитлер — это соединившиеся в одном лице агрессоры и шарлатаны, какие только известны из истории. А стало быть, рассуждает Уэллс, это абсурд, тень давнего прошлого, выродок, которому суждено стремительно исчезнуть. Увы, нельзя поставить знак равенства между наукой и здравым смыслом. Наглядным подтверждением этого служит аэроплан, которого так нетерпеливо ждали, видя в нем символ цивилизации; на деле он почти не используется, кроме как для сбрасывания бомб. Современная Германия продвинулась по пути науки куда дальше, чем Англия, но стала куда более варварской страной. Многое из того, во что верил и ради чего трудился Уэллс, материально осуществлено в нацистской Германии. Там порядок, планирование, наука, поощряемая государством, сталь, бетон, аэропланы — и все это поставлено на службу идеям, подобающим каменному веку. Наука сражается на стороне предрассудка. Но Уэллс, само собой, не может этого принять. Ведь это противоречит мировоззрению, изложенному в его собственных книгах. Агрессоры и шарлатаны *должны быть* обречены, а идея Все-

мирного государства, каким его мыслит либерал прошлого столетия, чье сердце не забьется при звуке боевой трубы, *должна* восторжествовать. Если не принимать во внимание изменников и малодушных, Гитлер ни для кого *не должен* выглядеть как опасность. Его конечная победа означала бы невозможное возвращение истории вспять — вроде реставрации Якова II.

Впрочем, не становится ли отцеубийцей человек моего возраста (а мне тридцать восемь), посягнувший на авторитет Уэллса? Интеллигенты, родившиеся примерно в начале века, — в каком-то смысле уэллсовское творение. Можно спорить о степени влияния любого писателя, в особенности «популярного», чьи книги находят быстрый отзвук, но, на мой взгляд, из писавших, во всяком случае, по-английски, между 1900 и 1920 годами никто не повлиял на молодежь так сильно, как Уэллс. Все мы думали бы совсем иначе, если бы его не существовало, а значит, иным был бы и мир вокруг нас. Но дело в том, что как раз целенаправленная сосредоточенность и одностороннее воображение, которые придавали ему вид вдохновенного пророка в эдвардианский век, превращают его теперь в мелкого мыслителя, отставшего от времени. Когда Уэллс был

молод, антитеза науки и реакции не выглядела ложной. Обществом управляли недалекие, редкостно банальные люди — алчные бизнесмены, тупые сквайры, епископы, политики, способные цитировать Горация, но слыхом не слыхавшие об алгебре. Наука почиталась несколько безнравственной, а религия была незыблемой. Казалось, что все эти вещи одного ряда — страсть к традициям, скудоумие, снобизм, патриотические восторги, предрассудки, поклонение войне; требовался кто-то способный выразить противоположный взгляд. На заре столетия подросток впадал в экстаз, открывая для себя Уэллса. Этот подросток жил среди педантов, святош, игроков в гольф. Будущие его работодатели помыкали им: «Не смей! Нельзя!» — родители изо всех сил старались уродовать его половое развитие, безмозглые учителя издевались, вдалбливая в него мертвую латынь, — и вдруг являлся этот чудесный человек, который мог рассказать о жизни на других планетах или на дне морей и твердо*знал*, что будущее предстанет вовсе не таким, как полагали респектабельные господа. Лет за десять или даже больше до того, как инженеры сумели построить аэропланы, Уэллс знал, что человек вскоре сможет летать. А знал он это, оттого что

сам *хотел* научиться летать и верил: исследования в данной области будут продолжаться. Но с другой стороны, в годы, когда я был мальчишкой и братья Райт все-таки подняли с земли машину, продержавшуюся в воздухе пятьдесят девять секунд, общественным мнением было: если бы Всевышнему угодно было, чтобы мы летали, Он бы снабдил нас крыльями. До 1914 года Уэллс был истинным пророком. Что касается материальных подробностей, его предвидение сбылось с удивительной точностью.

Однако он принадлежал девятнадцатому веку, а также народу и сословию, не любящим воевать, и поэтому для него осталась тайной огромная сила старого мира, олицетворением которого он видел тори, занятых лисьей охотой. Он не смог, да и сейчас не в состоянии понять, что национализм, религиозное исступление и феодальная верность знамени — факторы куда более могущественные, чем то, что сам он называл ясным умом. Детища темных столетий чеканным шагом двинулись в нашу эпоху, и если это призраки, то такие, которые требуют очень сильной магии, чтобы совладать с ними. Фашизм лучше всего поняли либо те, кто пострадал от него, либо сами наделенные чем-то родственным фашизму.

Незатейливая книга вроде «Железной пяты», написанная тридцать с небольшим лет назад, содержит куда более верное пророчество будущего, чем «О дивный новый мир» или «Образ надвигающегося мира». Если искать среди современников Уэллса писателя, который мог бы явиться в отношении его необходимым коррективом, следует упомянуть Киплинга, отнюдь не безразличного к понятиям силы и воинской «славы». Киплинг понял бы, чем притягивает Гитлер или, раз на то пошло, Сталин, хотя трудно сказать, как бы он к ним отнесся. А Уэллс слишком благоразумен, чтобы постичь современный мир. Серия романов о нижнем слое среднего класса — они его высшее достижение — прекратилась с началом той первой войны и уже не была возобновлена, а с 1920 года Уэллс растрачивает свой талант, сражая бумажных драконов. Но как это прекрасно, когда есть что растрачивать!

Август 1941 г.

Заметки о национализме

Байрон где-то употребляет французское слово *longueur*[9] и замечает мимоходом, что хотя в Англии у нас слова для этого нет, но обозначаемое им имеется в избытке. Подобным же образом есть умонастроение, настолько сейчас распространенное, что влияет на наши мысли чуть ли не о каждом предмете, но все еще безымянное. В качестве ближайшего эквивалента я выбрал слово «национализм», но, как вскоре станет ясно, я употребляю его не совсем в обычном смысле — хотя бы потому, что чувства, о которых пойдет речь, не обязательно направлены на нацию, то есть на какой-то один народ и географическую область. Оно может быть связано с какой-то церковью или классом, а может и действовать всего лишь негативно, *против* чего-то, без всякой потребности в позитивном объекте.

Под национализмом я подразумеваю прежде всего привычку думать, что людей можно классифицировать как насекомых и что к целым группам людей численностью в миллионы

---

[9] Примечания: 9
Здесь приблизительно: «неясное томление».

и десятки миллионов, можно с уверенностью прикрепить ярлык «хорошие» или «плохие»[10]. А во-вторых, — и это еще важнее, — я понимаю под ним привычку отождествлять себя с нацией или другой группой, ставя ее выше добра и зла и не признавая другого долга, кроме защиты ее интересов. Национализм не надо путать с патриотизмом. Оба слова употребляются настолько свободно, что любое определение будет спорным, однако между ними надо проводить различие, поскольку заключены в них две разные и даже противоположные идеи. Под патриотизмом я понимаю преданность определенному месту и определенному образу жизни, который ты считаешь наилучшим, но не желаешь навязывать другим. Патриотизм по своей природе оборонителен — и в военном, и в культурном смысле. Национализм же неотделим от стремления к власти. Неизменная цель всякого национали-

[10] Примечания: 10

О нациях и даже о еще более неопределенных совокупностях, таких, как католическая церковь или пролетариат, принято думать как об индивидуумах. В любой газете встречаешь явно абсурдные высказывания типа: «Германия по природе своей вероломна». А безответственные обобщения касательно национального характера («Испанец — прирожденный аристократ» или «Все англичане — лицемеры») слышишь чуть ли не от каждого. Время от времени жизнь наглядно показывает, что эти обобщения безосновательны, но привычка к ним сохраняется, и грешат этим даже люди явно интернационалистических взглядов, например Толстой и Бернард Шоу.*(Примеч. авт.)*

ста — больше власти и больше престижа, не для себя, а для нации или иной группы, в которой он растворил свою индивидуальность.

Пока речь идет о легко опознаваемых и стяжавших дурную славу националистических движениях в Германии, Японии и других странах, все это достаточно очевидно. Столкнувшись с таким явлением, как нацизм, который мы можем наблюдать извне, почти все отзовутся о нем одинаково. Но тут я должен повторить то, что сказал выше: я использую слово «национализм» лишь за неимением лучшего. В широком смысле, как я его понимаю, национализм включает в себя такие движения и тенденции, как коммунизм, политический католицизм, сионизм, антисемитизм, троцкизм и пацифизм. Он не обязательно означает верность правительству или стране, тем более своей стране, и даже не совсем обязательно, чтобы реально существовала группа, к которой он тяготеет. Вот несколько очевидных примеров. Еврейство, ислам, христианский мир, пролетариат и белая раса — все объекты страстных националистических чувств; но в существовании их вполне можно усомниться, и ни для одного из них нет такого определения, которое устроило бы всех.

Стоит еще раз подчеркнуть, что националистическое чувство может быть чисто негативным. Есть, например, троцкисты, которые стали просто врагами СССР, но определенного объекта лояльности не имеют. Если понять вытекающие из этого следствия, природа того, что я подразумеваю под национализмом, станет гораздо яснее. Националист — это тот, кто мыслит исключительно или главным образом понятиями соперничества и престижа. Он может быть позитивным или негативным националистом — то есть может направить свою психическую энергию либо на возвышение, либо на очернение чего-то, — но в любом случае его мысли вращаются вокруг побед, поражений, триумфов и унижений. Историю, в особенности современную историю, он видит как беспрестанное возвышение или упадок каких-то могущественных сообществ, и всякое событие представляется ему доказательством того, что его сторона на подъеме, а какой-то ненавистный противник катится под уклон. Но важно не путать национализм с простым культом успеха. Националист не руководствуется принципом: примазаться к сильнейшей стороне. Наоборот, выбрав сторону, он убеждает себя, что она и есть сильнейшая, и способен держаться этого убежде-

ния, даже когда все факты говорят об обратном. Национализм — жажда могущества, умеряемая самообманом. Каждый националист способен на самую вопиющую бесчестность, но, поскольку он сознательно служит чему-то большему себя, всегда непоколебимо уверен в своей правоте.

Теперь, когда я дал это пространное определение, мне кажется, можно утверждать, что умонастроение, о котором идет речь, весьма распространено среди английской интеллигенции и больше среди нее, чем среди остального народа. Ибо для тех, кого волнует современная политика, некоторые темы настолько увязаны с соображениями престижа, что вполне рациональный подход к ним почти невозможен. Из сотен примеров, имеющихся в нашем распоряжении, возьмем такой вопрос: кто из трех союзников — СССР, Британия или США — сделал больше для разгрома Германии? Теоретически на него можно было бы дать обоснованный и даже бесспорный ответ. На деле, однако, необходимых выкладок сделать нельзя, ибо всякий, кто захочет поломать над этим вопросом голову, неизбежно будет рассматривать его в плане престижа. Поэтому он*сначала* решит его в пользу России, Британии или Америки и только *потом* станет подыски-

вать доводы, подтверждающие его мнение. И есть огромное множество подобных вопросов, на которые честный ответ можно получить лишь от того, кому вообще безразлична тема и чье мнение, по всей вероятности, ничего не будет стоить. Этим отчасти объясняется поразительная близорукость сегодняшних политических и военных предсказаний. Любопытно, что из всех «экспертов» независимо от школы не нашлось ни одного, который предвидел бы такое вероятное событие, как русско-германский пакт 1939 года[11], а когда о пакте стало известно, стали даваться самые разнообразные объяснения и предсказания, чуть ли не сразу опровергавшиеся событиями, поскольку основывались они почти всякий раз не на исследовании вероятностей, а на желании представить СССР хорошим или плохим, сильным или слабым. Политические и военные комментаторы, подобно астрологам, могут пережить без ущерба для себя любую ошибку, потому что их верные поклонники ждут от них не оценки фактов, а подогрева своих национали-

[11] Примечания: 11

Некоторые авторы консервативного направления, такие как Питер Дракер, предсказывали соглашение между Германией и Россией, но ожидали настоящего долговременного союза или слияния. Ни марксисты, ни другие левые писатели какой бы то ни было окраски даже не задумались о возможности такого пакта.*(Примеч. авт.)*

стических чувств[12], и эстетические суждения, особенно литературные суждения, часто бывают искажены так же, как политические. Индийскому националисту трудно получать удовольствие от Киплинга, а консерватору — разглядеть достоинства в Маяковском: всегда есть искушение сказать, что книга, чье направление тебе не нравится, должна быть плохой в литературном отношении. Люди с националистическим мировоззрением часто совершают эту подтасовку, не сознавая своей нечестности.

В Англии, если брать в чисто количественном отношении, преобладающей формой национализма, вероятно, будет старорежимный британский джингоизм. Он, безусловно, еще распространен и гораздо шире распространен, чем полагало большинство наблюдателей лет

---

[12] Примечания: 12

Военных комментаторов в популярной прессе можно подразделить на пророссийских и антироссийских, поклонников старозаветной английской военщины и противников. Такие ошибки, как вера в непреодолимость линии Мажино, или предсказание, что Россия завоюет Германию за три месяца, не поколебали их репутации, ибо эти люди всегда говорят то, что хочет услышать их аудитория. Два военных критика, наиболее ценимых интеллигенцией, — капитан Лиддел Гарт и генерал-майор Фуллер; первый учит, что оборона сильнее наступления, второй — что наступление сильнее обороны. Это противоречие не помешало им обоим считаться признанными теоретиками у одной и той же публики. Истинная причина моды на них в левых кругах — та, что оба не в ладах с военным министерством. (*Примеч. авт.)*

десять назад. Однако в этой статье меня занимают главным образом реакции интеллигентов, среди которых джингоизм и даже патриотизм старого закала почти умерли, хотя сейчас, кажется, возрождаются у меньшинства. Среди интеллигенции (об этом, наверное, излишне говорить) преобладающей формой национализма является коммунизм — если использовать это слово в очень широком смысле, подразумевая под ним не только членов коммунистической партии, но и «попутчиков», и русофилов вообще. Коммунистом я буду называть здесь того, кто видит в СССР свое Отечество и считает своим долгом оправдывать русскую политику и любой ценой отстаивать интересы России. Сегодня таких людей в Англии множество, их прямое и косвенное влияние очень сильно, но процветают и другие формы национализма, и, отмечая их общие черты, при всем несходстве и даже видимой противоположности разных течений мысли, мы лучше всего увидим проблему в целом.

Десять или двадцать лет назад формой национализма, наиболее соответствующей сегодняшнему коммунизму, был политический католицизм. Самым выдающимся его представителем — хотя это скорее крайний случай, чем типичный,

— был Г. К. Честертон. Честертон, писатель незаурядного таланта, принес свое эстетическое чувство и свою интеллектуальную честность в жертву пропаганде католичества. В последние двадцать лет жизни все им написанное было, по существу, бесконечным повторением одной и той же мысли, под вымученной элегантностью простой и унылой, как «Велика Диана Ефесская». Каждая книжка, каждый абзац, каждая фраза, каждое происшествие в каждом рассказе, каждый обрывок диалога должен был недвусмысленно продемонстрировать превосходство католика над протестантом или язычником. Но Честертону мало было превосходства только интеллектуального или духовного: его надо было перевести на язык национального престижа и военной мощи, результатом чего явилась невежественная идеализация латинских стран, особенно Франции. Во Франции Честертон жил недолго, и изображаемая им картина страны, где католические крестьяне беспрестанно поют «Марсельезу», сидя за красным вином, имеет такое же отношение к действительности, как «Чу Чин Чао»[13] — к повседневной жизни Багдада.

---

[13] Примечания: 13

Мюзикл 1916 г. по мотивам «Али-Бабы и сорока разбойников».

И сопутствует этому не только колоссальная переоценка французской военной мощи (и до, и после Первой мировой войны он утверждал, что Франция сильнее Германии), но и глупое, пошлое восхваление самого процесса войны. По сравнению с его военными стихотворениями, такими как «Лепанто» или «Баллада о святой Барбаре», «Атака легкой бригады» выглядит как пацифистский трактат: это, наверное, самые безвкусные образчики ходульности из всего, что написано на нашем языке. И вот что интересно: если бы эта романтическая чепуха, которую он обычно писал о Франции и французской армии, была написана кем-то о Британии и британской армии, он первый высмеял бы ее. Во внутренней политике он был сторонником «малой Англии», настоящим врагом джингоизма и империализма и, в своем понимании, другом демократии. Но стоило ему выглянуть во внешний мир, он забывал свои принципы, даже не замечая этого. Так, его почти мистическая вера в достоинство демократии не мешала ему восхищаться Муссолини. Муссолини уничтожил представительную власть и свободу слова, за которую Честертон так упорно сражался дома, но Муссолини был итальянец, он сделал Италию сильной, и это

решало дело. Ни одного плохого слова не сказал Честертон о покорении итальянцами и французами цветных народов, об их империализме. Чувство реальности, литературный вкус и даже в какой-то степени нравственное чувство тут же отказывали ему, как только в игру вступал его национализм. Очевидно, что есть существенное сходство между политическим католицизмом, ярким представителем которого был Честертон, и коммунизмом. А также между ними и, например, шотландским национализмом, сионизмом, антисемитизмом или троцкизмом. Сказать, что все формы национализма одинаковы, даже по духу, было бы чрезмерным упрощением, но есть черты, для всех них общие. Вот главные характеристики националистического мышления.

Одержимость. Насколько это вообще возможно, националист не думает, не говорит, не пишет ни о чем, кроме как о превосходстве своей группы. Для любого националиста трудно и даже невозможно скрыть свою ангажированность. Малейшее неуважение к его группе или подразумеваемая похвала соперничающей организации вызывают у него беспокойство, освободиться от которого он может, только дав резкую отповедь. Если объект его чувств — страна, например Ир-

ландия или Индия, он будет настаивать на ее превосходстве не только в военной силе и политическом устройстве, но и в искусстве, литературе, спорте, строении языка, физической красоте ее обитателей и, может быть, даже в климате, ландшафтах и кухне. Он весьма чувствителен к таким вещам, как правильное вывешивание флагов, относительный размер заголовков и порядок наименования стран[14]. В националистической мысли всякого рода наименования играют очень важную роль. Страны, завоевавшие независимость или пережившие националистическую революцию, обычно меняют свое название, и всякая страна или иное объединение, являющееся объектом сильных чувств, скорее всего будут иметь несколько названий, нагруженных разными смыслами. У двух сторон в Гражданской войне в Испании было девять или десять названий, выражающих разные степени любви и ненависти. Некоторые из этих названий («патриоты» у сторонников Франко или «лоялисты» у сторонников правительства) явно были сомнительными, и ни одно из них обе враждующие стороны не

[14] Примечания: 14

Некоторые американцы выражали недовольство принятым сочетанием «англо-американский», предлагали заменить его на «американо-британский».*(Примеч. авт.)*

устраивало. Все националисты считают своим долгом распространять свой язык в противовес языкам «соперников»; среди англоязычных эта борьба выливается в более тонкие формы — в соперничество диалектов. Американец-англофоб не употребит жаргонной фразы, если знает, что она британского происхождения, а за конфликтом «латинизаторов» и «германизаторов» часто кроются националистические мотивы. Шотландские националисты доказывают превосходство жителей низменной Шотландии, а социалистов, чей национализм принял форму классовой ненависти, бесит произношение дикторов Би-би-си и даже открытое «а». Примеры можно множить. Часто кажется, что мышление националистов окрашено верой в симпатическую магию — проявляется это в распространенном обычае сжигать чучело политических врагов или использовать их изображения как мишени в тирах.

Неустойчивость. Напряженность националистических чувств не препятствует их переносу. Как я уже говорил, они могут быть и часто бывают направлены на какую-нибудь зарубежную страну. Это вполне обычное дело, что великие национальные лидеры или основатели националистических движений не уроженцы страны,

которую они прославили. Иногда они просто иностранцы, но чаще являются с периферии, где национальность сомнительна. Примеры — Сталин, Гитлер, Наполеон, Де Валера, Дизраэли, Пуанкаре, Бивербрук. Пангерманизм — отчасти создание англичанина, Хаустона Чемберлена[15]. В последние 50–100 лет перенесенный национализм был обычным явлением среди литераторов. Для Лавкадио Сёрна центром притяжения была Япония[16], для Карлейля и многих его современников — Германия, а в наше время это обычно Россия. Но любопытно, что возможен и обратный перенос. Страна или иная группа, которую боготворили годами, внезапно может стать отвратительной, и ее место чуть ли не мгновенно может занять другой объект любви. В первом варианте «Очерка истории» и других работах того времени Г. Дж. Уэллс восхваляет Соединенные Штаты почти так же неумеренно, как коммунисты в наши дни — Россию; но через несколько лет это безграничное восхищение сменилось

[15] Примечания: 15

Хаустон (Хьюстон) Чемберлен (1855–1927) — англичанин, немецкий писатель. Один из первых нацистских расовых теоретиков.

[16] Примечания: 16

Лавкадио Сёрн (1850–1904) — английский писатель и журналист греко-ирландского происхождения, натурализовался в Японии.

враждебностью. Фанатичный коммунист, за несколько недель или даже дней превратившийся в столь же фанатичного троцкиста, — обычное явление. В континентальной Европе фашистское движение сильно пополнялось коммунистами, но в ближайшие несколько лет процесс может смениться на обратный. Постоянным у националиста остается лишь состояние ума: объект привязанности меняется и может быть воображаемым.

А у интеллектуала перенос выполняет важную функцию, о которой я кратко упомянул в связи с Честертоном. Перенос позволяет ему быть гораздо большим националистом — более вульгарным, более глупым, более злобным, более нечестным, — чем если бы объектом была родная страна или объединение, которое человек знает по-настоящему. Когда видишь раболепную или хвастливую чепуху, написанную довольно умными и чувствительными людьми, о Сталине, Красной армии и т. д., становится ясно, что в сознании произошел какой-то вывих. В обществах, подобных нашему, не часто бывает, чтобы человек, имеющий право называться интеллектуалом, испытывал очень сильную привязанность к своей стране. Ему не позволит этого общественное мнение — то есть

та часть общественного мнения, к которой он как интеллектуал восприимчив. Его окружение в большинстве своем недовольно и настроено скептически, и он может усвоить это отношение из подражательности или чистой трусости; в этом случае он избегнет рядом лежащей формы национализма, ничуть не приблизившись к подлинно интернационалистскому мировоззрению. Он все равно ощущает потребность в Отечестве и, естественно, обращает взгляд за границу. Обретя искомое, он может необузданно предаваться тем самым чувствам, от которых, ему кажется, он освободился. Бог, король, империя, Юнион Джек — все свергнутые идолы восстанут вновь в другом обличье, и он, поскольку не признал их за таковых, может поклоняться им с чистой совестью. Перенесенный национализм, так же, как маневр с козлом отпущения, — это способ обрести спасение, не меняя дурных привычек.

Безразличие к реальности. Все националисты обладают способностью не видеть сходства между аналогичными рядами фактов. Британский тори будет защищать самоопределение в Европе и противиться самоопределению Индии, не осознавая своей непоследовательности. Действия оцениваются как хорошие или плохие не в со-

ответствии с их характером, а соответственно тому, кто их осуществляет, и, наверное, нет такого безобразия — пытки, взятие заложников, принудительный труд, массовые депортации, тюремное заключение без суда, фальсификации, убийства, бомбардировка гражданского населения, — которое не меняло бы своего морального знака, будучи совершено «нашими». Либеральная «Ньюс кроникл» опубликовала как пример неслыханного варварства фотографии повешенных немцами русских, а спустя год или два — с горячим одобрением — почти такие же фотографии немцев, повешенных русскими[17]. То же самое с историческими событиями. Историю часто оценивают с националистических позиций: инквизиция, пытки, Звездная палата, дела английских пиратов (сэр Фрэнсис Дрейк, например, любил топить испанских пленников), якобинский террор, сотни сипаев, расстрелянных из пушек после восстания, солдаты Кромвеля, резавшие лица ирландкам бритвами, — все это

[17] Примечания: 17

«Ньюс кроникл» советовала читателям посмотреть кинохронику, где казнь была заснята полностью, крупным планом. «Стар», также с одобрением, напечатала фотографии почти голых коллаборационисток, преследуемых парижской толпой. Эти фотографии весьма напоминали нацистские фотографии евреев, над которыми издевалась берлинская толпа.*(Примеч. авт.)*

морально не квалифицировалось или даже считалось похвальным, когда служило «правому» делу. Если вспомнить прошедшую четверть столетия, окажется, что не проходило и года без того, чтобы из какой-нибудь части света не сообщали о зверствах. Однако ни в одном случае — будь то зверства в Испании, России, Китае, Венгрии, Мексике, Амритсаре или в Смирне — английская интеллигенция в целом не поверила в эти зверства и не осудила их. Достойны ли они осуждения, да и вообще, совершались ли — всегда решалось в соответствии с политическими пристрастиями.

Националист не только не осуждает зверств, совершенных его стороной, — он обладает замечательной способностью даже не слышать о них. Целых шесть лет английские поклонники Гитлера умудрялись не знать о существовании Дахау и Бухенвальда, а те, кто громче всех возмущается немецкими концлагерями, совсем не знают или почти ничего не знают о концлагерях в России. Колоссальные события вроде голода на Украине в 1933 году, унесшего миллионы жизней, ускользнули от внимания большинства английских русофилов. Многие англичане почти ничего не слышали об истреблении немецких и польских евреев во время нынешней войны.

Из-за их собственного антисемитизма известия об этом ужасном преступлении отскакивают от их сознания. Для националистического сознания есть факты, одновременно истинные и ложные, известные и неизвестные. Известный факт может быть настолько невыносим, что его отодвигают от себя, не включают в логические процессы, или же, наоборот, он может учитываться в каждом расчете, но фактом при этом не признаваться, даже когда человек остается наедине с собой.

Каждый националист живет с убеждением, что прошлое можно изменить. Часть времени он проводит в мире фантазий, где все происходит как должно, — где, например, Великая армада достигает цели, а русская революция подавлена в 1918 году, — и фрагменты этого мира он при всякой возможности переносит в книги по истории. Большая часть пропагандистских писаний в наше время — чистый подлог. Физические факты утаиваются, даты изменяются, цитаты изымаются из контекста и препарируются так, что меняют смысл. События, которым не надо было бы произойти, не упоминаются и в конеч-

ном счете отрицаются[18]. В 1927 году Чан Кайши живьем сварил сотни коммунистов, а через десять лет стал у левых героем. Из-за перегруппировки в мировой политике он оказался в стане антифашистов, и решено поэтому, что варка коммунистов «не в счет» — или ее вообще не было. Первая цель пропаганды, конечно, — повлиять на мнение современников, но те, кто переписывает историю, вероятно, отчасти верят, что действительно вводят в прошлое факты. Когда присмотришься к старательно изготовленным подлогам, цель которых доказать, что Троцкий не играл важной роли в Гражданской войне, трудно представить себе, что авторы просто лгут. Скорее всего им кажется, что их версия и есть то, что видел сверху Бог, и они вправе отредактировать документы соответственно.

Равнодушию к объективной истине способствует разгороженность мира, из-за которой все труднее и труднее становится выяснить, что было на самом деле. Самые масштабные события — и те зачастую вызывают сомнения. Например, невоз-

[18] Примечания: 18

Пример — русско-германский пакт, который стирают из сознания публики со всей возможной быстротой. Русский корреспондент сообщает мне, что пакт уже не упоминается в русских ежегодниках со сводками последних политических событий.*(Примеч. авт.)*

можно подсчитать с точностью до миллионов или даже десятков миллионов число погибших в нынешней войне. Бедствия, о которых сообщают то и дело — сражение, резня, голод, революция, — вызывают у обывателя ощущение нереальности. Нет возможности проверить факты, человек даже не вполне уверен, что они имели место, и разные источники всегда предлагают ему совершенно разные истолкования. Что было правильного и неправильного в варшавском восстании в августе 1944 года? Правду ли говорят о немецких газовых камерах в Польше? Кто был виновником голода в Бенгалии? Правду, вероятно, можно установить, но почти все газеты подавали факты так нечестно, что обыкновенному читателю можно простить и веру в вымыслы, и неспособность вообще составить какое-то мнение. Достоверной картины того, что происходит на самом деле, нет, и от этого легче держаться безумных убеждений. Поскольку ничто окончательно не доказано и не опровергнуто, самый несомненный факт можно бесстыдно отрицать. Кроме того, без конца размышляя о силе, победе, поражении, мести, националист зачастую не очень-то интересуется тем, что происходит в реальном мире. Нужно ему другое — ощущение, что его группа одерживает

верх над какой-то другой, а ощутить это легче, срезав оппонента, нежели изучая факты, дабы выяснить, подтверждают ли они твою правоту. Вся националистическая полемика ведется на уровне клубных дискуссий. Она не приводит ни к какому результату, поскольку каждый диспутант неизменно считает себя победителем. Некоторые националисты недалеки от шизофрении — они живут в блаженных грезах о могуществе и завоеваниях, в полном отрыве от реального мира.

Я описал, как мог, склад ума, характерный для всех форм национализма. Теперь надо классифицировать эти формы, хотя исчерпывающей классификации дать нельзя. Национализм — необъятная тема.

Человечество страдает бесчисленными иллюзиями и ненавистями, которые переплетаются самым сложным образом, причем некоторые из самых зловещих еще не внедрились в европейское сознание. В этой статье меня занимает тот национализм, который встречается среди английской интеллигенции. У нее гораздо чаще, чем у простых англичан, он существует без примеси патриотизма, и потому его можно изучать в чистом виде. Ниже перечислены с необходимыми пояснениями разновидности национализма,

распространенные сегодня среди английской интеллигенции. Их удобнее разделить на три категории: позитивный, перенесенный и негативный национализм, хотя некоторые разновидности не подпадают ни под одну категорию.

Позитивный национализм

1. Неоторизм. Он представлен такими людьми, как лорд Элтон, А. П. Герберт, Дж. М. Янг[19], профессор Пикторн, а также литературой Комитета тори за реформы и журналами «Нью инглиш ревью», «Найнтинс сенчури энд афтер». Подлинной движущей силой неоторизма, придающей ему националистический характер и отличающей его от обычного консерватизма, является нежелание признать, что британская мощь и влияние уменьшились. Даже те, у кого хватает трезвости понять, что военное положение Британии теперь не такое, как прежде, утверждают порой, что в мире должны господствовать «английские идеи» (не давая им обычно определения). Все неотори настроены против России, но иногда главный

[19] Примечания: 19

Годфри Элтон (1892–1973) — английский биограф и поэт. Джордж Малколм Янг (1882–1959) — английский политолог.

упор делается на антиамериканизме. Знаменательно в этом течении то, что оно приобретает популярность среди более молодых интеллектуалов, иногда бывших коммунистов, переживших обычную утрату иллюзий и потому разочаровавшихся в этом учении. Англофоб, внезапно превратившийся в яростного пробританца, — довольно обычная фигура. Это можно было наблюдать на Ф. Войте, Малколме Маггериджe, Ивлине Во, Хью Кингсмилле[20]; подобную психологическую эволюцию переживали Т. С. Элиот, Уиндем Льюис и разные их последователи.

2. Кельтский национализм. Валлийский, ирландский и шотландский национализм кое в чем отличаются, но их роднит антианглийская ориентация. Участники этих трех движений были против войны, в то же время характеризуя себя как сторонников России, а наиболее оголтелые умудрялись быть одновременно и русофилами, и пронацистами. Но кельтский национализм не тождествен англофобии. Он движим верой в прошлое и будущее величие кельтских народов и сильно отдает расизмом. Считается, что кельт духовно превосходит англосакса — он

[20] Примечания: 20

Хью Кингсмилл (1889–1949) — английский романист, биограф, критик.

непосредственнее, больше одарен творчески, менее вульгарен, меньший сноб и т. д., — но под этим все та же жажда могущества. Один из ее симптомов — иллюзия, будто Эйре, Шотландия и даже Уэльс могли бы сохранить независимость без посторонней помощи и ничем не обязаны британской защите. Типичные писатели этого направления — Хью Макдайармид и Шон О'Кейси. Ни один современный ирландский писатель, даже такого калибра, как Йейтс или Джойс, не вполне свободен от националистических настроений.

3. Сионизм. Он обладает всеми обычными чертами националистического движения, но американский вариант его кажется более горячим и зловредным, чем британский. Я отношу его к прямому, а не к перенесенному национализму потому, что он распространен почти исключительно среди самих евреев. В Англии по нескольким весьма разнородным причинам интеллигенция в палестинском вопросе большей частью поддерживает евреев, хотя и не слишком горячо. В Англии все люди доброй воли настроены проеврейски в том смысле, что осуждают нацистские гонения. Но настоящий еврейский национализм или вера в природное

превосходство евреев у людей нееврейской национальности едва ли встречаются.

Перенесенный национализм

1. Коммунизм.
2. Политический католицизм.
3. Расовые предрассудки.

Презрительное отношение к «туземцам» в Англии по большей части забыто, и разные псевдонаучные теории, настаивавшие на превосходстве белой расы, хождения не имеют[21]. Среди интеллигенции этот предрассудок существует только с обратным знаком — как вера в превосходство цветных рас. У английских интеллектуалов он встречается все чаще — и объясняется скорее мазохизмом и сексуальными разочарованиями, чем контактами с восточными и негритянскими националистическими

[21] Примечания: 21

Хороший пример — предрассудок касательно солнечного удара. До последнего времени считалось, что белые более подвержены солнечному удару, чем цветные, и что белому небезопасно ходить под южным солнцем без тропического шлема. Никаких свидетельств в пользу этой теории нет, но она подчеркивала разницу между «туземцами» и европейцами. В ходе нынешней войны теорию благополучно забыли, и целые армии передвигаются без тропических шлемов. Пока этот предрассудок существовал, английские врачи в Индии верили в него так же твердо, как все прочие.*(Примеч. авт.)*

движениями. Но даже у тех, кого вопрос цвета кожи не сильно волнует, большую роль играет снобизм и подражательство. Чуть ли не каждый английский интеллектуал будет шокирован утверждением, что белая раса превосходит цветные, зато в противоположном утверждении он не усмотрит ничего возмутительного, даже если с ним не согласен. Националистической привязанности к цветным расам обычно сопутствует представление, будто у них богаче сексуальная жизнь, и существует целая негласная мифология насчет сексуальной одаренности негров.

4. Классовое чувство. Среди интеллектуалов из среднего и высшего класса встречается только в форме перенесенного — то есть как вера в превосходство пролетариата. И здесь на интеллигенцию сильнейшим образом влияет общественное мнение. Националистическая преданность пролетариату и самая жгучая теоретическая ненависть к буржуазии часто совмещаются с обычным снобизмом в повседневной жизни.

5. Пацифизм. Большинство пацифистов либо принадлежат к малозначительным религиозным сектам, либо это просто гуманисты, которые возражают против того, чтобы людей лишали жизни, и дальше этой мысли не идут. Но среди

пацифистов-интеллектуалов есть меньшинство, у которого в подоплеке пацифизма — ненависть к западной демократии и преклонение перед тоталитаризмом. Пацифистская пропаганда обычно сводится к тезису, что одна сторона ничем не лучше другой, но если присмотреться к писаниям более молодых пацифистов, оказывается, что они не беспристрастны в осуждении обеих систем, а настроены против Британии и Соединенных Штатов. Больше того, как правило, они не осуждают насилие как таковое, а только насилие, используемое для обороны западных стран. Русских в отличие от британцев не винят за то, что они защищаются военными средствами, да и вообще пацифистская пропаганда этого толка избегает упоминания о России и Китае. Опять-таки, не говорится, что индийцы должны отказаться от насилия в своей борьбе с британцами. Пацифистская литература изобилует туманными заявлениями, в которых если и есть какой-то смысл, то только тот, что государственные деятели, подобные Гитлеру, предпочтительнее таких, как Черчилль, а насилие, пожалуй, извинительно, если оно достаточно жестокое. После падения Франции французские пацифисты, очутившись перед выбором, которого их английским еди-

новерцам удалось избежать, по большей части перешли к нацистам, а в Англии некоторое количество людей состояло одновременно в Союзе обета мира и в Британском союзе фашистов. Пацифистские авторы восхваляли Карлейля, одного из интеллектуальных родоначальников фашизма. В целом трудно отделаться от мысли, что в основе пацифизма, присущего определенной части интеллигенции, лежит преклонение перед силой и победительной жестокостью. Ошибкой было сфокусировать эту эмоцию на Гитлере, но всегда можно переориентироваться.

Негативный национализм

1. Англофобия. Среди интеллигенции презрительное и слегка враждебное отношение к Британии более или менее обязательно, но во многих случаях это и потребность души. Во время войны это проявилось в пораженческих настроениях интеллигенции, сохранявшихся и тогда, когда давно было ясно, что державы оси победить не могут. Многие откровенно радовались, когда пал Сингапур или когда британцев вытеснили из Греции; удивляло нежелание верить хорошим известиям — например, об Эль-Аламейне или

о числе немецких самолетов, уничтоженных в битве над Англией. Конечно, английские левые интеллектуалы не хотели, чтобы войну выиграли Германия или Япония, но многие испытывали некоторое удовольствие при виде унижения своей страны и хотели бы думать, что окончательная победа одержана благодаря России или, скажем, Америке, а не Британии. В международной политике многие интеллигенты руководствуются принципом, что любая группировка, поддерживаемая Британией, заведомо не права. В результате «просвещенное» мнение в большой своей части оказывается зеркальным отражением консервативной политики. Англофобия всегда может обернуться своей противоположностью; отсюда — довольно обычное перевоплощение: противник одной войны становится поборником следующей.

2. Антисемитизм. Сейчас он мало заметен, потому что нацистские преследования заставляют каждого мыслящего человека занять сторону евреев. Всякий более или менее образованный человек, слышавший слово «антисемитизм», утверждает, что непричастен к нему, а в литературу всякого рода антиеврейские высказывания стараются не пропустить. На самом деле антисе-

митизм, по-видимому, распространен даже среди интеллигенции, и всеобщий заговор молчания, вероятно, его обостряет. Ему подвержены и люди левых убеждений; на их позиции сказывается то, что троцкисты и анархисты — чаще всего евреи. Но более склонны к антисемитизму люди консервативных взглядов, подозревающие евреев в том, что они ослабляют моральный дух нации и разжижают ее культуру. Всегда готовы впасть в антисемитизм — по крайней мере на какое-то время — неотори и политизированные католики.

3. Троцкизм. Этот термин употребляется расширенно, так что под него подпадают анархисты, социал-демократы и даже либералы. Я же обозначаю им здесь марксиста-доктринера, движимого в основном враждебностью к сталинскому режиму. С троцкизмом лучше знакомиться по малоупотребительным брошюрам или газетам вроде «Соушалист апил», чем по работам самого Троцкого, который отнюдь не был человеком одной идеи. Хотя в некоторых странах, например в США, троцкизм способен привлечь изрядное количество последователей и превратиться в организованное движение со своим мелким фюрером, вдохновляющая идея его — по существу,

отрицательная. Троцкист против Сталина так же, как коммунист — за него, и, подобно большинству коммунистов, он хочет не столько изменить внешний мир, сколько чувствовать, что сражение за престиж развивается в его пользу. В обоих случаях имеет место одинаковая фиксация на единственном предмете, одинаковая неспособность сформировать вполне рациональное мнение, основанное на фактах. Из-за того, что троцкисты повсюду — преследуемое меньшинство, и обычное обвинение против них — в сотрудничестве с фашистами — вполне ложно, создается впечатление, будто троцкизм интеллектуально и морально стоит выше коммунизма; но большую разницу между ними увидеть трудно. Типичные троцкисты в любом случае — бывшие коммунисты и к троцкизму не приходят иначе, как через одно из левых движений. Ни один коммунист, если он не привязан к партии многолетней привычкой, не застрахован от внезапного впадения в троцкизм. Обратный процесс наблюдается не так часто, хотя определенного объяснения этому нет.

Из приведенной классификации видно, что во многих случаях я преувеличивал, чрезмерно упрощал вопрос, делал необоснованные допу-

щения и вовсе игнорировал существование обыкновенных, приличных мотивов. Это было неизбежно, потому что в данной статье я пытаюсь выделить и обозначить тенденции, которые существуют в нашем сознании и извращают наше мышление, хотя не обязательно проявляются в чистом виде и действуют непрерывно. Теперь пора подправить эту по необходимости упрощенную картину. Прежде всего мы не имеем права предполагать, что *каждый* — или хотя бы каждый интеллектуал — заражен национализмом. Во-вторых, национализм может быть ограниченным и непостоянным. Мыслящий человек может наполовину уверовать в привлекательную идею, понимая при этом ее абсурдность, и может надолго выбрасывать ее из головы, возвращаясь к ней только под влиянием гнева или сентиментальности, — или же будучи уверен, что в эту минуту не затронут серьезный вопрос. В-третьих, к националистической идее можно прийти чистосердечно, из ненационалистических побуждений. В-четвертых, в одном человеке могут сосуществовать несколько видов национализма, даже взаимоисключающих.

Я все время говорил: «националист делает то», «националист делает это», используя для

иллюстрации крайний, едва ли вменяемый тип националиста, у которого нет нейтральных зон в сознании и нет интереса к чему-либо, кроме борьбы за власть. На самом деле таких людей сколько угодно, но на них не стоило бы тратить порох. В жизни с лордом Элтоном, Д. Н. Приттом, с леди Хаустон, Эзрой Паундом, лордом Ванситтартом, отцом Коглином[22] и всем их умытым племенем надо бороться, но останавливаться на их умственных изъянах едва ли стоит. Мономания неинтересна, и то, что ни один националист фанатичного склада не способен написать книжку, которую стоило бы прочесть через несколько лет, само по себе производит определенный дезодорирующий эффект. Даже признав, что национализм восторжествовал не везде, что еще есть люди, чьи суждения не вполне подвластны страстям, мы никуда не уйдем от того факта, что важнейшие проблемы: Индия, Польша, Палестина, гражданская война в Испании, московские процессы, американские негры, русско-германский пакт — какую ни возьми — невозможно обсуждать (по крайней мере никогда не обсуждают) на уровне

[22] Примечания: 22

Роберт Ванситтарт (1881–1957) — английский дипломат и писатель. Чарльз Коглин (1891–1979) — американский католический священник, радиопроповедник, издатель.

разума. Элтоны, Притты и Коглины, каждый из них — просто огромный рот, снова и снова изрыгающий одну и ту же ложь, и это, очевидно, — крайние случаи, но мы обманываем себя, если не осознаем, что можем стать похожими на них, когда теряем над собой контроль. Прозвучит не та нота, наступят на ту или иную мозоль, а мозоль может оказаться такой, о существовании которой до сих пор не подозревали, — и самый здравомыслящий, добродушный человек может превратиться в неистового фанатика, одержимого одним желанием — победить оппонента, — и безразличного к тому, сколько он будет при этом лгать и сколько совершит логических ошибок. Когда Ллойд Джордж, противник бурской войны, объявил в палате общин, что если сложить британские сводки, то буров убито больше, чем жило в стране, Артур Бальфур вскочил с криком: «Невежа!» Очень немногие застрахованы от подобных оплошностей. Негр, униженный белой женщиной, англичанин, в чьем присутствии американец поносит Англию, апологет католичества, которому напомнили о Великой армаде, отреагируют примерно таким же образом. Стоит задеть националистический нерв, и куда-то деваются интеллектуальные приличия, меняется

прошлое, отрицаются самые очевидные факты.

Если где-то в сознании сидит националистическая привязанность или ненависть, заведомо истинные факты могут стать неприемлемыми. Вот несколько примеров. Я перечислю пять типов националистов и против каждого поставлю факт, которого этот националист признать не может, даже втайне:

Британский тори. После этой войны могущество и престиж Британии уменьшатся.

Коммунист. Если бы не помощь Британии и Америки, Германия победила бы Россию.

Ирландский националист. Эйре может сохранять независимость только благодаря британской защите.

Троцкист. Сталинский режим устраивает русских.

Пацифист. Тот, кто «отказывается» от насилия, имеет такую возможность только потому, что другие совершают насилие ради него.

Все эти факты совершенно очевидны, пока в игру не вступают эмоции: но для названных персонажей они *непереносимы,* поэтому их надо отрицать и на отрицании строить ложные теории. Вернусь к поразительной беспомощности военных предсказаний в этой войне. Думаю, пра-

вильно будет сказать, что интеллигенция хуже оценивала ход военных действий, чем простой народ, и больше руководствовалась пристрастиями. Левые интеллигенты в массе своей верили, например, в 1940 году, что война проиграна, в 1942-м — что немцы захватят Египет, что японцев никогда не прогонят с захваченных территорий, что англо-американские бомбардировки не производят впечатления на немцев. Верили они в это потому, что ненависть к британскому правящему классу не позволяла им поверить в осуществимость британских планов. Нет такой глупости, в которую не уверовал бы человек под влиянием подобных эмоций. Например, мне сообщали по секрету, что американские войска прибыли в Европу не для того, чтобы сражаться с немцами, а для того, чтобы подавить английскую революцию. Чтобы поверить в нечто подобное, надо быть интеллектуалом: простой человек не может быть таким дураком. Когда Гитлер вторгся в Россию, чиновники министерства информации «в порядке справки» выдали предупреждение, что Россия может рухнуть через шесть недель. С другой стороны, коммунисты рассматривали каждую фазу войны как русскую победу, даже когда русские отступили почти к Каспийскому

морю и потеряли несколько миллионов пленными. Нет нужды множить примеры. Суть в том, что как только в игру вступают страх, ненависть, зависть и культ силы, сразу отказывает чувство реальности. И, как я уже говорил, утрачиваются представления о праведном и неправедном. Нет такого преступления — то есть вообще нет, — которое не прощалось бы, если его совершают «наши». Даже если это преступление нельзя отрицать, даже если известно, что точно такое же осуждалось в каком-то другом случае, даже если ум говорит, что оно неоправданно, — *чувство* не признает его неправедным. Когда говорит приверженность, жалость молчит.

Причины роста и распространения национализма — слишком обширный вопрос, и здесь не место его рассматривать. Достаточно сказать, что в тех формах, в каких он проявляется у английской интеллигенции, это — прямое отражение ужасных битв, происходящих во внешнем мире, и что причиной худших его безумств стал упадок патриотизма и религиозной веры. Если развивать эту мысль дальше, есть опасность дойти до некоего консерватизма или до политического квиетизма. Например, можно утверждать, и, по всей вероятности, даже справедливо, что патри-

отизм — прививка против национализма, что монархия предохраняет от диктатуры, а организованная религия — от суеверий. Или же можно доказывать, что непредвзятого взгляда на жизнь не бывает, что все верования и политические устремления одинаково чреваты ложью, глупостями и варварством, и это часто используется как довод против любого участия в политике. Я не принимаю этот довод хотя бы потому, что в современном мире ни один человек, причисляемый к интеллигентам, не может быть вне политики — в том смысле, что не может быть к ней безразличен. Я думаю, что в политике надо участвовать — понимая ее в широком смысле — и что предпочтения надо иметь: то есть надо осознавать, что одни цели объективно лучше других, даже если они достигаются такими же плохими средствами. Что же касается националистических пристрастий и ненавистей, то, нравится нам это или нет, большинство из нас от них не свободны. Можно ли избавиться от них, я не знаю, но уверен, что бороться с ними можно и что требуется тут, в сущности,*нравственное* усилие. Необходимо прежде всего разобраться в себе, разобраться в своих чувствах, а затем учитывать неизбежную свою предвзятость. Если вы нена-

видите Россию и боитесь ее, если вы завидуете богатству и мощи Америки, если вы презираете евреев, если ощущаете свою неполноценность, сравнивая себя с британским правящим классом, вы не избавитесь от этих чувств просто путем размышлений. Но по крайней мере вы можете отдать себе в них отчет и не допустить, чтобы они искажали ваши мыслительные процессы. Эмоциональные побуждения, которые неизбежны и, наверное, даже необходимы для политического действия, не должны препятствовать восприятию действительности. Но для этого, повторяю, требуется нравственное усилие, а современная английская литература, в той мере, в какой она откликается на главнейшие проблемы нашего времени, показывает, как мало среди нас людей, готовых его сделать.

Май 1945 г.

Рецензия на книгу Юджина Лайонса «Командировка в утопию»

Чтобы понять всю меру нашей неосведомленности относительно того, что на самом деле происходит в СССР, попробуем перевести на язык английских реалий самое сенсационное российское событие последних двух лет — троцкистские процессы. Введем необходимые поправки, поменяем местами правых и левых и получим примерно следующее.

Мистер Уинстон Черчилль, высланный в Португалию, лелеет планы разрушения Британской империи и установления в Англии коммунистического строя. Пользуясь неограниченной денежной поддержкой русских, он сумел построить разветвленную черчиллистскую организацию, в которую входят члены парламента, директора фабрик, католические епископы и практически вся «Лига подснежника»[23]. Почти ежедневно вскрываются чудовищные акты вредительства — то подготовка к взрыву палаты лордов, то заражение ящуром королевских конюшен. Восемьдесят

---

[23] Примечания: 23
Primrose League — политическая организация консерваторов.

процентов стражников Тауэра разоблачены как агенты Коминтерна. Один из руководителей министерства почт нагло признался в хищении почтовых переводов на сумму в 5 миллионов фунтов, а также в оскорблении его величества путем подрисовывания на почтовых марках усов. В ходе семичасового допроса у мистера Нормана Биркетта лорд Наффилд[24] признался, что с 1920 года подстрекает к забастовкам на собственных заводах. Газетная хроника пестрит сообщениями о еще пятидесяти черчиллистах-овцекрадах, застреленных в Вестморленде, о хозяйке деревенской лавки в Котсволлских холмах, сосланной в Австралию за то, что обсасывала леденцы и клала их обратно в баночку. Между тем черчиллисты (или черчиллисты-хармсвортовцы[25], как их стали именовать после казни лорда Ротермира) продолжают твердить, что именно они являются истинными защитниками капитализма и что Чемберлен и его банда — не что иное, как пере-

[24] Примечания: 24

Норман Биркетт — английский юрист, дважды — член парламента от либеральной партии, лорд-судья по апелляциям. Участвовал в составлении приговоров на Нюрнбергском процессе. Виконт Наффилд (Уильям Моррис) — английский промышленник и филантроп, глава автомобильной компании «Моррис моторс лимитед».

[25] Примечания: 25

Гарольд Хармсворт, первый виконт Ротермир, — английский издатель и политик.

одетые большевики.

Всякий, кто следил за русскими процессами, поймет, что это — едва ли пародия. Возникает вопрос: могло ли произойти что-либо подобное в Англии? Очевидно, не могло. С нашей точки зрения, вся эта история невероятна не только как заговор, но и как оговор. Это просто мрачная тайна, из которой можно извлечь лишь один достоверный факт, тоже вполне зловещий: что здешние коммунисты считают это хорошей рекламой коммунизма.

Между тем правда о сталинском режиме, если бы мы могли до нее добраться, имеет первостепенное значение. Социализм это или особо отвратительная форма государственного капитализма? Все политические споры, которые последние два года отравляли жизнь, вращаются вокруг этого вопроса, хотя сам он по нескольким причинам редко выносится на передний план. Поехать в Россию трудно, а там провести сколько-нибудь тщательное расследование невозможно, и все свои соображения об этом предмете ты вынужден строить на книгах, которые либо безоглядно «за», либо столь же яростно «против», так что и от тех и от других за километр разит предвзятостью. Книга мистера Лайонса — опре-

деленно из категории «против», но производит впечатление более достоверной, чем большинство остальных. По манере его письма видно, что он не вульгарный пропагандист, и в качестве корреспондента агентства «Юнайтед пресс» он долго жил в России (1928–1934), будучи послан туда по рекомендации коммунистов. Как многие другие, отправившиеся в Россию с надеждой, он постепенно разочаровался, но в отличие от некоторых решил в конце концов рассказать о ней правду. Жаль, что всякую враждебную критику нынешнего русского режима склонны рассматривать как пропаганду*против социализма*; все социалисты это осознают, и это не способствует честной дискуссии.

Годы, проведенные мистером Лайонсом в России, были годами ужасных лишений, апогеем которых стал в 1933 году голод на Украине, где, по некоторым оценкам, от него умерли не менее трех миллионов людей. Теперь, после успешного завершения второй пятилетки, физические условия наверняка улучшились, но нет никаких оснований думать, что сильно изменилась общественная атмосфера. Система, которую описывает мистер Лайонс, судя по всему, мало отличается от фашизма. Вся реальная власть сосредоточена

в руках двух или трех миллионов людей, у городского пролетариата — теоретически, наследника революции — отнято даже элементарное право на забастовку; а совсем недавно, с введением паспортной системы, он низведен до статуса почти крепостных. ГПУ повсюду, все живут в постоянном страхе преследования, свобода речи и печати подавлена до такой степени, которую нам трудно вообразить. Террор идет волнами — то «ликвидация» кулаков или нэпманов, то какой-то чудовищный государственный процесс, когда людей, просидевших месяцы или годы в тюрьме, вдруг вытаскивают в суд для невероятных признаний, а их дети пишут в газеты: «Я отрекаюсь от моего отца как от троцкистской гадины». Тем временем невидимого Сталина восхваляют в словах, которые заставили бы покраснеть Нерона. Такую — пространную и полную деталей — картину рисует мистер Лайонс, и я не думаю, что он искажает факты. Заметны, правда, признаки того, что его озлобило пережитое и увиденное, и мне кажется, что он, возможно, преувеличивает размеры недовольства в среде самих русских.

Однажды ему удалось проинтервьюировать Сталина, и тот показался ему человечным, простым и приятным. Стоит отметить, что то же самое говорил Г. Дж. Уэллс, и в кино по крайней мере у Сталина действительно приятное лицо. Но разве не известно также, что Аль Капоне был примернейшим мужем и отцом, а Джозефа Смита (топившего в ванне жен после свадьбы) искренне любила первая из семи жен, и он всегда возвращался к ней после очередного убийства?

Июнь 1938 г.

Рецензия на книгу Ф. Дж. Шида «Коммунизм и человек»

Эта книга — опровержение марксистского социализма с католических позиций — замечательна своим благожелательным тоном. Она свободна от оскорбительных передержек, ныне обычных во всякой важной дискуссии, и честнее излагает идеологию марксизма и коммунизма, чем большинство марксистов — католическую идеологию. Если она не вполне удалась или по крайней мере не так интересна к концу, как в начале, то, вероятно, потому, что автор менее склонен следовать ходу собственных мыслей, чем ходу мыслей оппонентов. Коренное различие между христианином и коммунистом он верно усматривает в вопросе о личном бессмертии. Либо эта жизнь — подготовка к другой, в каковом случае самое важное — индивидуальная душа, либо загробной жизни нет, и в этом случае индивид — всего лишь заменяемая клетка в общем теле. Эти две теории непримиримы, и основанные на них политические и экономические системы неизбежно будут антагонистами.

Однако мистер Шид не склонен признать, что католическая позиция предполагает определенное согласие с нынешними несправедливостями общества. Он готов утверждать, что подлинно католическое общество будет содержать в себе большую часть того, к чему стремится социалист, — а это уже напоминает попытку усидеть на двух стульях.

Индивидуальное спасение предполагает свободу, для католических писателей всегда распространяющуюся на право частной собственности. Но на нынешней стадии промышленного развития право частной собственности означает право эксплуатировать и мучить миллионы ближних. Социалист поэтому возразит, что собственность можно защищать, только если ты более или менее безразличен к экономической справедливости.

Ответ католика на это не слишком убедителен. Не в том дело, что церковь смотрит сквозь пальцы на несправедливости капитализма, — наоборот. Мистер Шид справедливо замечает, что некоторые папы осуждали капиталистическую систему очень решительно и что социалисты об этом обычно забывают. Но в то же время церковь отказывается от единственного решения, которое

позволит действительно все изменить. Частная собственность должна сохраниться, отношения наниматель — нанимаемый должны сохраниться, даже категории «богатые» и «бедные» должны сохраниться, но должны быть справедливость и честное распределение. Другими словами, богатого не экспроприируют, ему только скажут, чтобы вел себя хорошо.

«[Церковь] не видит в людях прежде всего эксплуататоров и эксплуатируемых, а в эксплуататорах — людей, которых она обязана ниспровергнуть… с ее точки зрения богач, как грешник, есть предмет ее самой нежной заботы. Там, где другие видят сильного человека на вершине успеха, она видит бедную душу, которой грозит ад… Христос сказал ей [церкви], что душам богатых грозит особая опасность, а забота о душах — ее первый долг».

Возразить ему можно тем, что *на практике* это ничего не меняет. Богатого призывают к покаянию, но он никогда не кается. В этом плане капиталист-католик не отличается заметно от остальных.

Ясно, что любая экономическая система работала бы справедливо, если бы можно было рассчитывать на хорошее поведение людей,

но долгий опыт показывает, что в вопросах собственности лишь ничтожное меньшинство людей будут вести себя лучше, чем их к тому принудят. Это не значит, что позиция католиков в вопросах собственности несостоятельна, но означает, что ее очень трудно совместить с экономической справедливостью. На практике принять католическую точку зрения — значит принять эксплуатацию, бедность, голод, войну и болезнь как часть естественного порядка вещей.

Представляется поэтому, что если католическая церковь желает восстановить свое духовное влияние, ей придется определить свою позицию более четко. Либо она изменит свое отношение к частной собственности, либо ясно скажет, что царство ее не от мира сего и что питание тел очень мало значит по сравнению со спасением душ. На самом деле нечто подобное она и говорит, но смущенно, поскольку не такой вести ждет от нее современный человек. В результате церковь уже не первый день находится в двусмысленном положении, символом которого может послужить тот факт, что папа почти одновременно осуждает капиталистическую систему и награждает генерала Франко.

А в общем это интересная книга, написанная просто и на редкость свободная от злобы и дешевого остроумия. Если бы все апологеты католичества были такими, как мистер Шид, врагов у церкви было бы меньше.

27 января 1939 г.

Рецензия на книгу Франца Боркенау «Тоталитарный враг»[26]

Хотя эта книга не лучшая у доктора Боркенау, содержащееся в ней исследование природы тоталитаризма заслуживает и даже требует того, чтобы ее прочло сейчас как можно больше народа. Мы не сможем бороться с фашизмом, если не хотим его понять, а этим грешны и левые, и правые — прежде всего потому, что не осмеливаются.

До русско-германского пакта и те и другие полагали, что нацистский режим нисколько не революционен. Национал-социализм считали просто разнуздавшимся капитализмом; Гитлер — марионетка, а Тиссен — кукловод, такова была официальная теория, проповедовавшаяся в брошюрах мистера Джона Стрейчи и молчаливо признанная газетой «Таймс». И твердолобые, и члены Клуба левой книги приняли ее целиком, будучи кровно заинтересованы в игнорировании реальных фактов. Имущие классы, естественно, желали верить, что Гитлер защитит их от боль-

---

[26] Примечания: 26

Франц Боркенау (1900–1957) — немецкий социолог и политолог.

шевизма, а социалистам была непереносима мысль, что человек, истребивший их товарищей, сам социалист. Отсюда неистовые усилия с обеих сторон замазать все более очевидное сходство между немецким и русским режимами. Наконец, пакт между Гитлером и Сталиным открывает нам глаза. И тут отбросы человечества и кровавый палач рабочих (ибо так они характеризуют друг друга) шагают рука об руку, их дружба «скреплена кровью», как радостно выражается Сталин. Тезис Стрейчи и твердолобых оказался несостоятельным. Национал-социализм — действительно форма социализма, подчеркнуто революционная, действительно давит собственника так же, как рабочего. Два режима, начавшие с противоположных концов, стремительно перерастают в одну и ту же систему — некий олигархический коллективизм. И в данный момент, как указывает доктор Боркенау, Германия движется в сторону России, а не наоборот. Поэтому нелепо говорить о том, что, если падет Гитлер, Германия «станет большевистской». Германия становится большевистской*благодаря* Гитлеру, а не вопреки ему.

Вопрос заключается не столько в том, как нацисты станут спасать мир от большевизма и в итоге сделаются большевиками, сколько в том,

как они могут сделать это, не утратив силы или уверенности в себе. Доктор Боркенау называет две причины — экономическую и психологическую. В соответствии с первой целью нацистов было превратить Германию в военную машину, подчинив этой цели все остальное. Но страна, особенно бедная страна, которая ведет «тотальную» войну или готовится к ней, должна быть в каком-то смысле социалистической. Когда государство полностью берет под свой контроль промышленность, так называемый капиталист низводится до положения управляющего, и когда потребительские товары в дефиците или строго нормируются, так что, даже получая большой доход, вы не можете его истратить, тогда вы имеете, по существу, сложившуюся структуру социализма плюс некомфортное равенство военного коммунизма. В погоне за военной эффективностью нацисты экспроприировали и устраняли тех самых людей, которых намеревались спасать. Это их не волновало, потому что их целью была просто власть, а не какая-то особая форма общества. Они готовы быть хоть красными, хоть белыми, лишь бы остаться наверху. Если первый шаг — разгромить социалистов под шум антимарксистских лозунгов — отлично, громи

социалистов. Если следующий шаг — разгромить капиталистов под шум марксистских лозунгов — отлично, громи капиталистов. Это борьба без правил, единственное правило — победить. Россия с 1928 года демонстрирует точно такие же повороты в политике при неизменном стремлении правящей клики удержаться у власти. Что касается кампаний ненависти, беспрестанно разжигаемых тоталитарными режимами, они вполне реальны, пока длятся, но каждый раз продиктованы потребностями момента. Евреи, поляки, троцкисты, англичане, французы, чехи, демократы, фашисты, марксисты — кто угодно может оказаться Врагом Общества номер один. Ненависть можно обратить в любом направлении по первому знаку, как огонь паяльной лампы.

Рассуждая о стратегических аспектах войны, доктор Боркенау не так убедителен. Он слишком оптимистически оценивает возможную позицию Италии, возможные военные последствия русско-германского пакта, солидарность внутри нашей страны и, самое главное, способность нынешнего правительства выиграть войну и выиграть мир. В принципе он понимает — и говорит об этом, — что нам надо навести порядок дома: проти-

вопоставить более гуманную, более свободную форму коллективизма варианту, основанному на чистках и цензуре. Мы можем сделать это быстро, почти без труда, но только наивный глаз увидит такую способность у нынешнего правительства.

Я надеюсь, что доктор Боркенау напишет на ту же тему более пространную и более хорошую книгу. Эта же, несмотря на некоторые блестящие куски, кажется написанной наспех и неудачно организованной. Тем не менее доктор Боркенау — один из самых ценных подарков, преподнесенных Англии Гитлером. Сегодня, когда чуть ли не все книги о современной политике начинены ложью и глупостью или и тем и другим, его голос — один из немногих трезвых у нас, и пусть он звучит подольше.

4 мая 1940 г.

Рецензия на книгу Уинстона Черчилля «Их самый славный час»

Государственному деятелю, у которого еще есть политическое будущее, трудно обнародовать все, что он знает; а в профессии, где в пятьдесят лет ты младенец и в семьдесят пять — человек средних лет, естественно, что всякий, кто явно не опозорен, должен думать, что у него еще есть будущее. Книга, подобная дневникам Чиано[27], например, не была бы опубликована, если бы к ее автору относились с уважением. Но надо отдать должное Уинстону Черчиллю: политические мемуары, которые он время от времени публиковал, всегда были много выше среднего уровня, как по откровенности, так и по литературным достоинствам. Черчилль, среди прочего, журналист — с подлинным, хотя и не выдающимся литературным чутьем; кроме того, у него беспокойный пытливый ум, он интересуется и конкретными фактами, и анализом мотивов, в том числе и

[27] Примечания: 27

Галеаццо Чиано — министр иностранных дел Италии (1936–1943). В 1944 году казнен по приговору фашистского суда как изменник. Его дневники были опубликованы в США в 1945 году.

своих собственных. Вообще о его произведениях можно сказать, что они написаны скорее просто человеком, чем государственным лицом. В этой его книге, конечно, есть куски, как будто залетевшие из предвыборных речей, но вместе с тем видна и готовность признать свои ошибки.

Этот том мемуаров, второй по счету, охватывает период от начала немецкого наступления на Францию и до конца 1940 года, поэтому главные события в нем — падение Франции, немецкие воздушные налеты на Британию, постепенное вовлечение в войну Соединенных Штатов, расширение подводной войны и начало долгой схватки за Северную Африку. Книга обильно документирована, с отрывками речей и донесений на каждом этапе; это приводит к многочисленным повторам, но позволяет сравнить то, что говорилось и думалось, с тем, что на самом деле происходило. По его собственному признанию, Черчилль недооценил важность недавних перемен в методах войны, но в 1940 году, когда разразилась гроза, отреагировал быстро. К великой чести его, он понял еще во время Дюнкерка, что Франция побеждена, а Британия, несмотря на все внешние признаки, — нет, и этот последний вывод продиктован был не просто природной

драчливостью, а трезвой оценкой ситуации.

Быстро победить в войне немцы могли только одним способом — захватив Британские острова, а чтобы захватить Британские острова, им надо было туда попасть, а для этого — получить господство в Ла-Манше. Поэтому Черчилль упорно отказывался бросить всю авиацию метрополии в битву за Францию. Это было суровое решение, естественно, встреченное с горечью и, возможно, ослабившее позиции Рейно в его противостоянии с пораженцами во французском правительстве; но оно было стратегически верным. Двадцать пять эскадрилий истребителей, считавшиеся необходимыми, оставались в Британии, и угроза вторжения миновала. Задолго до конца года опасность его уменьшилась настолько, что артиллерия, танки и пехота были переброшены из Британии на египетский фронт. Немцы еще могли задушить Британию с помощью подводных лодок или воздушных налетов, но это отняло бы несколько лет, а тем временем в войну наверняка вступили бы другие страны.

Черчилль знал, конечно, что Соединенные Штаты рано или поздно вступят в войну; но на этом этапе, по-видимому, не ожидал, что в Европу когда-то прибудут миллионы американских солдат.

Еще в 1940 году он предвидел, что немцы могут напасть на Россию, и правильно рассчитал, что Франко, несмотря на все свои обещания, не вступит в войну на стороне Оси. Он понял, как важно вооружить палестинских евреев и подтолкнуть к восстанию Абиссинию. Если проницательность отказывала ему, то потому главным образом, что он не делал никаких различий в своей ненависти к «большевизму». Показательно в этом смысле его признание, что, отправляя послом в Москву сэра Стаффорда Криппса, он не понимал, что коммунисты ненавидят социалистов больше, чем консерваторов. До прихода к власти лейбористов в 1945 году этого простого факта не понимал, кажется, никто из британских консерваторов, чем объясняется отчасти и ошибочная политика Британии во время испанской гражданской войны. Отношение Черчилля к Муссолини, хотя оно, вероятно, не повлияло на ход событий в 1940 году, тоже основывалось на неверной оценке. В прошлом он приветствовал Муссолини как «борца против большевизма» и принадлежал к числу тех, кто верил в возможность оторвать Италию от Оси с помощью подкупа. Он откровенно говорил, что никогда не поссорился бы с Муссолини из-за такого дела, как война с Абиссинией. Когда Ита-

лия вступила в мировую войну, Черчилль с ней, конечно, не церемонился, но общая ситуация была бы лучше, если бы британские тори за десять лет до этого поняли, что итальянский фашизм не какая-то разновидность консерватизма, а сила, по природе враждебная Британии.

Одна из самых интересных глав в «Их самом славном часе» посвящена обмену баз в британской Вест-Индии на американские эсминцы. Переписка Черчилля с Рузвельтом — своего рода комментарий к демократической политике. Рузвельт понимал, что дать Британии эсминцы — в американских интересах, а Черчилль понимал, что для Британии будут не потерей, а подспорьем американские базы в Вест-Индии. Тем не менее, помимо юридических и конституционных трудностей, невозможно было просто отдать корабли, без препирательств. Впереди у Рузвельта были выборы, и, имея в виду изоляционистов, он вынужден был создать видимость упорной торговли. Он вынужден был, кроме того, потребовать гарантий, что если даже Британия проиграет войну, ее флот ни при каких обстоятельствах не будет передан немцам. Условие это было, конечно, бессмысленным. Ясно было, что Черчилль ни в коем случае не отдаст флота; но, с другой стороны, если

бы немцам удалось оккупировать Британию, они поставили бы марионеточное правительство, за действия которого Черчилль отвечать не мог. Поэтому он не мог дать и требуемых гарантий, и торговля затянулась. Проще всего было бы заручиться обещанием всего британского народа, включая экипажи кораблей. Но Черчилль, как ни странно, не захотел обнародовать факты. Было бы опасно, говорит он, признаться в том, как близка Британия к поражению, — и это, возможно, единственный случай за весь описываемый период, когда он недооценил моральный дух народа.

Книга заканчивается темной зимой 1940 года, когда неожиданные победы в пустыне, с громадным количеством итальянских пленных, заслонены были бомбардировками Лондона и увеличившимися потерями флота. Во время чтения то и дело возникает в голове неизбежный вопрос: «Насколько свободно позволяет себе говорить Черчилль?» Ибо самое интересное в мемуарах Черчилля придет позже, когда он расскажет нам (если решил рассказать), что на самом деле случилось в Тегеране и Ялте и была ли им одобрена выработанная там политика или ее навязал ему Рузвельт. Но в любом случае тон этой и предыдущей книг позволяет думать, что,

когда настанет время, он откроет нам больше правды, чем открыл до сих пор.

Если и был 1940 год чьим-то самым славным часом, то уж точно Черчилля. С ним можно сколько угодно не соглашаться и сколько угодно быть благодарным ему за то, что его партия не победила на выборах 1945 года, но он заслуживает восхищения не только своей храбростью, но и определенным великодушием и веселостью, которые сквозят даже в этих официальных мемуарах, гораздо менее личных, чем книга «Мои ранние годы». Британцы в общем отвергли его политику, но он им всегда нравился, как можно судить по тону историй, сопровождавших его почти всю жизнь. Многие из них, конечно, апокрифы, иногда и непечатные, но знаменателен сам факт их хождения. Например, во время эвакуации Дюнкерка, когда Черчилль произнес свою часто цитируемую боевую речь, ходили слухи, что на самом деле, записывая ее для радио, он сказал: «Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на улицах… мы будем бросать бутылки в этих сук, кроме бутылок, у нас мало чего осталось», — но студийный цензор на Би-би-си вовремя нажал на клавишу. Можно думать, что эта история вымышленная, но в то время казалось,

что она должна быть правдой. Это была заслуженная дань простых людей крутому и веселому старому человеку, которого они не приняли как руководителя в мирное время, но в час катастрофы видели в нем своего представителя.

Май 1949 г.